

МОСКОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ Р. К. П. (б).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС.

ФИЛОСОФИЯ.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ.
СОЦИАЛИЗМ.

(АНТИ-ДЮРИНГ).

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО.

Исправленное и проверенное по подлиннику издание.

ОПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ“.

МОСКВА □ 1922.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

От редакции	Стр. V
Из переписки К. Маркса и Ф. Энгельса	—
Предисловие к трем изданиям	XIII

Введение.

I. Общие положения	1
II. Что обещает г. Дюринг	7

ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ.

Философия.

I. Введение	10
II. Мировая схематика	14
III. Натурфилософия. Время и пространство	17
IV. „ „ Космогония. Физика. Химия	23
V. „ „ Органический мир	29
VI. „ „ „ (заключение)	35
VII. Нравственность и право. Вечные истины	39
VIII. „ „ „ Равенство	46
IX. „ „ „ Свобода и необходимость	54
X. Диалектика. Количество и качество	61
XI. „ „ „ Отрицание отрицания	67
XII. Заключение	75

ВТОРОЙ ОТДЕЛ.

Политическая экономия.

I. Предмет науки и метод	77
II. Теория насилия	84
III. „ „ (продолжение)	88
IV. „ „ (окончание)	94
V. „ „ ценности	100
VI. Простой и сложный труд	107
VII. Капитал и прибавочная ценность	111
VIII. „ „ „ „ (окончание)	116
IX. Естественные законы хозяйства. Земельная рента	122
X. Из „Критических очерков“	126

ТРЕТИЙ ОТДЕЛ.

Социализм.

I. Исторический очерк	143
II. Очерк теории	149
III. Производство	159
IV. Распределение	168
V. Государство, семья, воспитание	177

От редакции.

Говорят, — книги имеют свою судьбу. Когда в 1877 году в лейпцигском партийном органе *Vorwärts's*, (преемнике центрального органа с.-д. партии *Volksstaat*), появилась серия статей Энгельса, составивших впоследствии отдельную книгу — «Анти-Дюринг», — эти статьи встретили резкие протесты со стороны части партийных работников.

А между тем человек, близкий марксизму, когда впервые начнет читать Анти-Дюринга, — мало того, что немедленно освоится с мыслями Анти-Дюринга, но и с большим удовлетворением увидит, что мысли Анти-Дюринга — его мысли, что метод построения мыслей Анти-Дюринга — его способ мышления, что чтение Анти-Дюринга совершает в его голове незаменимую работу приведения в порядок знаний, ставших уже давно его собственностью. Причина этого — та, что и метод и мысли Анти-Дюринга давным-давно пропитали собой марксистскую массу.

Существующие переводы Анти-Дюринга на русском языке более или менее неудовлетворительны. Неудовлетворителен перевод и настоящего издания. Редакция предприняла переговоры с партийными переводчиками о новом переводе Анти-Дюринга на русский язык. Дело с новым переводом несколько затягивалось, тогда как со стороны партийных организаций предъявлялись все более категорические и настойчивые требования о срочном издании книги «Анти-Дюринг». Редакция остановилась на решении перепечатать лучший из имеющихся переводов Анти-Дюринга, не отказываясь от плана дать в будущем новый перевод.

Вместо предисловия редакция сопровождает книгу перепечаткой заметки т-ща Г. З. и переписки Маркса и Энгельса, — касающихся Анти-Дюринга и в свое время напечатанных в нашем органе «Просвещение».

Ред.

21 июля 1922 г.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ КАРЛА МАРКСА С ФР. ЭНГЕЛЬСОМ.

Вокруг „Анти - Дюринга“.

В 4 томе переписки Маркса с Энгельсом находим несколько крайне интересных писем, писанных как раз в то время, когда Фр. Энгельс работал над своей известной книгой «*Herrn Dührings Umwälzung*» и т. д., для краткости называемой «Анти-Дюрингом». Когда вышел 1-й том «Капитала», молодой Дюринг выступил с рецензией, очень благоприятной для Маркса. Но Маркс уже тогда скептически отнесся

к Дюрингу. В письме от 8 января 1868 года он пишет Энгельсу в том смысле, что нельзя брать всерьез присоединение Дюринга к научному социализму. «Он еще молод — замечает Маркс. К тому же он еще только приват-доцент и поэтому не несчастен от того, что профессор Рошер, который всем им стоит поперек пути, получил соответствующее количество тумаков».

Но вот прошло несколько лет. Дюринг ближе подошел к социалистическим кругам Германии. Но вместе с тем он выработал свою «собственную», якобы «научную социалистическую систему». В своей истории политической экономики и социализма он выступает с пространной «критикой» Марксова учения. Эклектический, мелкобуржуазный «социализм» Дюринга начинает находить сторонников среди германских социалистов. Он становится до известной степени модой. Он проникает отчасти даже в рабочие круги. Достаточно сказать, что такой светлый ум, как покойный Август Бебель, и тот в течение короткого времени отдал дань Дюрингианству. Маркс и Энгельс видят, что партии угрожает полоса «теоретического измельчания». Они бьют тревогу. Они открывают поход против Дюринга.

Когда в «Volksstaat'e» появились первые выступления Энгельса против Дюринга, некоторые из тогдашних германских «практиков» стали протестовать против того, что столбцы издания заполняются «ненужными» отвлеченными спорами «оторванных от жизни кабинетных теоретиков». Лишь впоследствии стало ясно современникам Маркса и Энгельса, какое огромное принципиальное значение имело очищение партии от «Дюрингианства».

Отрывки из писем, которые мы печатаем ниже, показывают нам, как зародился поход Энгельса против Дюринга и как постепенно выросла из его работы целая книга, столь много сделавшая для блестящего выяснения теоретических основ философии Маркса. Отдельные места в этой книге, сохранившей всю свою научную ценность и теперь после 4½ десятилетий, принадлежат перу Маркса. Как известно, у Маркса и Энгельса было в обычае писать друг для друга по предметам специальности каждого из них.

«Анти-Дюринг» пользуется особенной известностью среди русских читателей — марксистов. Они — мы надеемся — с интересом прочтут те ценные замечания, которые разбросаны в письмах Маркса и Энгельса в самом процессе их работы над «Анти-Дюрингом».

Г. З.

ИЗ ПИСЬМА ФР. ЭНГЕЛЬСА К К. МАРКСУ

от 24 мая 1876 года.

Дорогой Мавр! Только что я получил прилагаемые два письма. На нашей германской партии тяготеет проклятие этих полуобразованных агитаторов, находящихся у нее на службе. Если дело и дальше пойдет так, то лассальянцы скоро окажутся самыми ясными головами, — потому что они меньше воспринимают нелепости. Я хотел бы знать, чего собственно хочет от нас этот Мост и как мы должны были бы поступать, чтобы ему потрафить. Дело ясное: в представлении этих господ Дюринг своими жалкими нападка на тебя приобрел себе особую неприкосновенность; если мы высмеи-

ваем его теоретические благоглупости, то это—мол мечь и личные счеы! Чем более груб Дюринг, тем смиреннее и благодушнее должны быть мы. Только по доброте душевной господин Мост не требует от нас, чтобы мы еще кланялись в ножки Дюрингу, а не только частным образом указали ему его ошибки (как будто дело идет только о частных ошибках!), дабы он мог их исправить в следующем издании. Этот человек, т.-е. Мост, ухитрился проглотить весь «Капитал» и ничегошеньки из него не понять. Это яснее ясного из его письма, и это достаточно характеризует сего молодца. Все эти нелепости были бы немислимы, еслибы во главе стоял человек со сколько-нибудь достаточным теоретическим пониманием, который не стал бы печатать всякого вздора—чем глупее, тем лучше — и рекомендовать его рабочим именем и авторитетом «Volkstaat'a» (с.-д. журнал «Народное Государство». Перев.). История эта приводит меня в бешенство, и я спрашиваю себя, не пора ли нам, наконец, выяснить нашу позицию по отношению к этим господам...

ИЗ ПИСЬМА К. МАРКСА К ФР. ЭНГЕЛЬСУ

от 25 мая 1876 г.

Дорогой Фред! Мое мнение, что «нашу позицию по отношению к этим господам» можно выяснить только тем, что подвергнуть Дюринга обстоятельной и безжалостной критике. Ясное дело, что он через преданных ему литературных карьеристов старался воспрепятствовать такой критике; эти же последние рассчитывали на хорошо им известную слабость Либкнехта. Либкнехт обязан был — и это надо ему поставить на вид — сказать этим молодцам, что он много раз приглашал нас дать такую критику (история эта тянется со времени моего первого возвращения из Карлсбада), а мы отклоняли это, как слишком малопродуктивную работу. Как он отлично знает и как показывают его письма к нам, работа эта показалась нам стоящей труда только после того, как он нам несколько раз прислал письма рабочих, указывающие на опасность измелчания и опошления, которую несет с собой для партии эта пропаганда...

ИЗ ПИСЬМА ФР. ЭНГЕЛЬСА К К. МАРКСУ

от 28 мая 1876 года.

Дорогой Мавр! Ты это здорово придумал. Ты можешь лежать в теплой постели, штудировать вопрос о русских земельных отношениях в частности и вопрос о земельной репте вообще, и ничто тебе не мешает. Я же, горемычный, должен сесть на жесткий стул, прервать все остальные работы, и, попивая холодное винцо, заниматься скучнейшим Дюрингом. Однако, ничего не поделаешь, придется заняться полемикой, которой я не предвижу конца, иначе у меня не будет покоя. К тому же, дружище Мост своим панегириком по поводу Дюринговского «Курса философии» ясно показал мне, с какой стороны надо вести атаку. Придется остановиться и на этой книге, ибо во многих решающих пунктах она лучше всего раскрывает слабые стороны и фальшивые

основы «Экономии». Немедленно займусь этим. Действительной философии — формальная логика, диалектика, метафизика и т. д. — там нет в помине. Книжка должна скорее представлять общее учение о науках, в котором природа, история, общество, государство, право и т. д. рассматриваются в мнимой внутренней связи. Так мы имеем там целую главу, в которой описывается общество будущего или так называемое «свободное» общество, в его наименее экономических сторонах. Между прочим, там со всей подробностью разработан уже учебный план для первоначальных школ общества будущего. Шаблонность выступает еще грубее, чем в экономическом сочинении. Взяв обе книги вместе, можно его еще лучше разоблачить. Его философия истории: все не стоило ни гроша, пока не явился Дюринг. К тому же новая книга имеет то преимущество, что здесь легче его цитировать его собственными словами. Во всяком случае, теперь я возьму его за бока. Мой план готов — j'ai mon plan (я имею мой план). В начале я пишу в чисто деловом тоне и с внешней «серьезностью»; я становлюсь резче, по мере того, как для читателя выясняются нелепость Дюринга, с одной стороны, и его шаблонные общие места — с другой. И к концу я начинаю его тузить во всю. Таким манером я лучше всего пишу Моста и К^о возможности болтать о предубежденном отношении и «недружелюбии», а Дюринг получит то, что ему полагается. Пусть убедятся эти господа, что для таких молодчиков мы имеем в своем распоряжении не одну манеру расправы...

...Для Дюринга (т.-е. для «Анти-Дюринга». Перев.) мне оказывают большие услуги повторение древней истории и мои естественно-научные занятия. В особенности в последней области я чувствую себя теперь значительно более подкованным, здесь я могу передвигаться с полной свободой и уверенностью — хотя я и соблюдаю большую осторожность. Я начинаю видеть конец этой работы. В голове моей начинает складываться нечто цельное. Праздношатание здесь на берегу моря, во время которого отдельные детали все время блуждали в мыслях — не мало этому содействовали. В этой обширной области абсолютно необходимо время от времени прервать регулярную лямку и переварить все собранное.

ИЗ ПИСЬМА ФР. ЭНГЕЛЬСА К К. МАРКСУ

от 25 июля 1876 года.

...Наслаждаюсь философией Дюринга. Такого поверхностного вздора еще не писал никто. Напыщенный шаблон и отъявленная чепуха — ничего более. Местами — невероятные нелепости. Но все подано с известным искусством и рассчитано на хорошо знакомую автору публику, которая не любит учиться и ищет такой широковетательной нищенской похлебки, где можно нахвататься всего и потом получить возможность поговорить обо всем. Господин этот специально рожден для социализма и философии эпохи миллиардов.

ИЗ ПИСЬМА ФР. ЭНГЕЛЬСА К К. МАРКСУ

от 25 августа 1876 года.

...При все более одуряющем влиянии морских купаний, — соответствующим чтением, конечно, была философия действительности г-на Дюринга. Чего-нибудь более натурального никогда не встречал... Все время он оперирует натуральными явлениями, при чем натуральным объявляется все то, что кажется натуральным г-ну Дюрингу, почему он все время и исходит из «аксиоматических» положений, ибо то, что натурально, не нуждается в доказательствах. Эта вещь превосходит по плоскости все прежнее. Как ни плох отдел о природе, это, однако, еще лучшее из всей книги. Здесь еще заметны жалкие остатки диалектических рассуждений. Но как только он переходит к общественным отношениям, так сейчас воцаряется старая метафизика в форме морали, и он безнадежно запутывается в трех соснах... Каковы те вечные истины, которые он проповедует, ты можешь видеть из того, что его три bêtes noires это: табак, кошки и евреи. Им достается не мало.

ИЗ ПИСЬМА К. МАРКСА К ФР. ЭНГЕЛЬСУ

от 3 марта 1877 года.

...Лавров (т.-е. наш соотечественник, известный социалист Петр Лаврович Лавров. Перев.), которому, в скобках сказать, живется чертовски плохо, хвалит твои статьи против Дюринга. Но, — заметил он, — «такая мягкость в полемике у Энгельса как-то непривычна». Idest он (т.-е. в этих словах — весь Лавров, это так похоже на него. Перев.).

В течение ближайшего месяца ты получишь от меня большое послание. Не рассматривай этого, как маневр à la Дюринг, который все обещает, чтобы никогда не исполнить. Факт, что пришло.

ИЗ ПИСЬМА К. МАРКСА К ФР. ЭНГЕЛЬСУ

от 5 марта 1877 года.

Дорогой Фред! Прилагаю дюрингианщину (повидимому, рукописи о Дюринге. Перев.). Я не в состоянии был читать этого господина без того, чтобы тут же подробнее не дать ему по башке.

Теперь, после того, как я в него вчитался (та часть, которая посвящена Рикардо и которой я еще не читал, должна содержать еще больше перлов) — для чего требуется терпение, но также и палка в руках — теперь я способен в будущем читать его спокойно. Когда вчитаешься в этого господина и привыкнешь к его «методу», он становится довольно забавным. Сверх всего прочего, «принятие» его в известных дозах оказало мне большие услуги при моем теперешнем катарре желудка.

ИЗ ПИСЬМА ФР. ЭНГЕЛЬСА К К. МАРКСУ.

от 6 марта 1877 года.

Дорогой Мавр! Большое спасибо за длинную работу по поводу «критической истории». Это — больше того, что мне нужно, чтобы расправиться с этим джентльменом и в этой области. Лавров в самом деле прав, что до сих пор с этим господином обходились еще чересчур прилично. Когда я теперь вновь перечитываю курс политической экономии, теперь, когда я уже знаю манеру этого господина и все его надутое важничанье, я нахожу, что немножко больше презрения было бы вполне у места. Добрый Лавров, конечно, руководится собственными чувствами, и в своих проповедях (слово: «проповеди» написано Энгельсом по-русски. Он часто вставлял в письмах к Марксу русские слова. Перев.) он не обязан считаться с нашими соображениями о нарастании тона полемики, необходимом в такой скучной истории. Впрочем, при заключении отдела о философии ему уже не придется жаловаться на мягкость тона, а в отделе об экономии — тем менее.

ИЗ ПИСЬМА ФР. ЭНГЕЛЬСА К К. МАРКСУ.

от 24 июля 1877 года.

...Из прилагаемого письма Либкнехта ты увидишь, как господин Дюринг «konnt es nicht erwarten, bis das Glöcklein zwölfte schlug» (не мог дожидаться, пока часы пробили 12) и сам себе все испортил. Впрочем, подождем, — не преждевременно ли все изне торжество по поводу провала Дюринга.

ФИЛОСОФИЯ.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ.

СОЦИАЛИЗМ.

Предисловия к трем изданиям.

I.

Предлагаемый труд предпринят нами вовсе не по какому-либо особому «внутреннему побуждению». Напротив, когда три года тому назад г. Дюринг внезапно выступил адептом и одновременно реформатором социализма, пытаясь поставить пределы развитию своего века, — мои друзья в Германии неоднократно обращались ко мне с пожеланием, чтоб я подверг критике, в центральном органе партии «Volksstaat», «новую социалистическую теорию». Они считали это крайне необходимым, чтобы пресечь в корне всякие поводы к разногласиям в молодой и только что окончательно объединенной тогда партии. Они имели более возможности, чем я, правильно судить о германских условиях; поэтому я был обязан верить им. При этом оказалось, что новый адепт социализма был припят одной частью социалистической печати с такой сердечностью, которая, хотя собственно и относилась только к «доброй воле» г. Дюринга, но в то же время давала повод думать, что, пожалуй, незаметно будет принята, вместо доброй воли г. Дюринга, и сама его доктрина. К тому же находились люди, которые уже готовились распространять эту доктрину в популярной форме между рабочими. И, наконец, г. Дюринг и его маленькая секта применяли все ухищрения рекламы и интриги, чтобы принудить «Volksstaat» занять решительное положение по отношению к выступающему с такими громадными претензиями новому учению.

Несмотря на все это, прошел целый год, пока я мог решиться пренебречь другими работами и заняться разбором сочинений г. Дюринга. Это был плод творчества, который, раз попробовав, необходимо было проглотить до конца. Новая социалистическая теория выступила, как конечный практический результат новой философской системы. Приходилось, следовательно, исследовать ее в связи с этой системой, а вместе с тем и эту систему; приходилось следовать за г. Дюрингом в ту обширную область, где он толкует о всевозможных вещах. Так возник ряд статей, появившихся сначала в 1877 г. в Лейпцигском «Vorwärts'e», явившемся преемником «Volksstaat'a». Эти статьи и предлагаются здесь в связанном виде.

Таким образом, характер объекта критики принудил ее к такой обстоятельности, которая крайне непропорциональна научности содержания самих сочинений г. Дюринга. Впрочем, еще два соображения могут оправдать эту обстоятельность. С одной стороны, она дала мне возможность развить с положительной стороны мое понимание разных спорных вопросов, имеющих в настоящее время более общий теоретический или

практический интерес. Это имело место в каждой отдельной главе и, как бы мало это сочинение не преследовало цель противопоставить «системе» г. Дюринга другую систему, все же, надо надеяться, от читателя не укроется внутренняя связь между представленными мною воззрениями. Что мой труд в этом отношении не был совершенно бесплодным, я уже и теперь имею достаточно доказательств.

С другой стороны, «творец новых систем», г. Дюринг, представляет не единичное явление в современной Германии. С некоторых пор в Германии системы космогонии, натурфилософии вообще, политики, экономики и т. д. растут, как грибы. Самый ничтожный доктор философии, даже студент, непременно вырабатывает целую «систему». Как в современном государстве предполагается, что каждый гражданин способен судить обо всех тех вопросах, о которых ему приходится подавать голос, как в политической экономике принимается, что каждый потребитель является основательным знатоком всех тех товаров, которые ему приходится покупать для своего жизненного обихода, — точно так же, повидимому, обстоит дело с наукой. Свобода науки понимается как право писать обо всем, чего не изучили, и это выдается за единственно научный метод. Г-н же Дюринг представляет один из характернейших типов этой пресловутой псевдо-науки, которая в наши дни повсюду в Германии выступает на первый план и все заглушает громом своего металла звенящего. Металл, звенящий в поэзии, в философии, в политике, в экономике, в исторической науке, металл, звенящий с кафедры и трибуны, металл, звенящий повсюду, металл, звенящий с претензией на превосходство и глубину мысли в отличие от простого, плоско-вульгарного металла других наций, — металл звенящий есть характернейший и самый распространенный продукт германской интеллектуальной индустрии с девизом: дешево, по скверно, совсем как другие германские фабрикаты, рядом с которыми он, к сожалению, не был представлен на филладельфийской выставке. Даже немецкий социализм, особенно после выступления на сцену г. Дюринга, с успехом занимается в наши дни производством металла звенящего и создает субъектов, кичащихся «наукой», в области которой они «действительно ничему не научились». В данном случае мы имеем в виду детскую болезнь, характерную для немецких студентов, присоединяющихся к социал-демократии, и неотделимую от этого брожения, но которая при замечательно здоровой природе наших рабочих, мы надеемся, будет благополучно пережита.

Не по моей вине я был вынужден последовать за г. Дюрингом в такие области, в которых я могу выступать, в лучшем случае, в качестве дилетанта. В таких случаях я, по большей части, ограничивался противопоставлением ложным или сомнительным утверждениям своего противника — верных и неоспоримых фактов. Так было в юридической области и в некоторых вопросах естествознания. В других случаях дело шло об общих воззрениях из области теоретического естествознания, следовательно, о такой сфере, в которой и цеховой естествоиспытатель должен выйти из рамок своей специальности и коснуться вопросов, в которых он, по словам г. Вирхова, является таким же «полузайкой», как и мы грешные. Надеюсь, что мне будет оказано снисхождение за маленькие неточности и неловкости в выражениях, которые в таких случаях являются прямо неизбежными.

Когда я заканчивал это предисловие, мне попалось на глаза об'явление об издании нового «решающего» сочинения г. Дюринга: «Новые основные законы рациональ-

ной физики и химии». Вполне сознавая недостаточность своих познаний в физике и химии, все же я думаю, что знаю достаточно г. Дюринга, чтобы, не видя названного сочинения, предсказать, что и эти «законы», по их туманности и шаблонности, достойны занять место рядом с прежде открытыми г. Дюрингом и исследованными в моем сочинении законами политической экономии, мировой схематики и т. д., и что изобретенный г. Дюрингом «ригометр», или инструмент для измерения очень низких температур, послужит не для измерения температуры, высокой или низкой, но только для измерения невежественной дерзости г. Дюринга.

Лондон. 11 июня, 1878 г.

II.

Для меня было неожиданностью, что настоящему сочинению пришлось появиться новым изданием. Повод, его вызывающий, в настоящее время уже совершенно забыт; само оно не только печаталось по частям для многих тысяч читателей в лейпцигском «Worwärts» за 1877 — 78 гг., но появилось и отдельным изданием в большом количестве экземпляров. Какой же еще может быть интерес в том, что я несколько лет назад писал о г. Дюринге?

Прежде всего я этим обязан тому обстоятельству, что это сочинение, как и вообще все мои в то время сочинения, было довольно популярно в Германии, как за-прещенный плод.

К этому присоединяется еще и то, что критикуемая здесь теоретическая «система» г. Дюринга, охватывая очень широкую теоретическую область, вынудила и меня следовать за ним повсюду и противопоставлять его взглядам свои собственные. Отрицательная критика поэтому стала положительной; полемика превратилась в более или менее связанное изложение представляемого Марксом и мною диалектического метода и коммунистического мировоззрения, — изложение, охватывающее очень много областей знания. Этот метод, впервые примененный в «Нищете философии» Маркса и в «Коммунистическом манифесте», пережил двадцатилетний инкубационный период; с появлением «Капитала», он стал захватывать с растущей быстротой все более широкие сферы и в настоящее время приобрел последователей во всех странах (даже за пределами Европы), где, с одной стороны, имеются пролетарии, а с другой — добросовестные научные исследователи. Таким образом, повидимому, существует публика, достаточно заинтересованная в этом вопросе, для того, чтобы примириться с отставшей теперь во многих отношениях неинтересной полемикой против г. Дюринга, ради положительной части книги. Замечу мимоходом, что излагаемое в настоящей книге мировоззрение в главной своей части обосновано и развито Марксом и только в самой незначительной степени мною, и, само собою разумеется, что это мое сочинение не могло появиться без ведома последнего. Я прочел ему всю рукопись перед тем, как отдать ее в печать, а десятая глава второй части («из критической истории») написана Марксом, и только по внешним соображениям ее пришлось, к сожалению, несколько укоротить. Таков уж издавна был наш обычай — помогать друг другу в специальных областях.

Настоящее новое издание представляет, за исключением одной главы, перепечатку первого издания без существенных изменений. С одной стороны, у меня не

было времени для всестороннего пересмотра, как бы я сам не желал изменить изложение в некоторых отношениях, так как на мне лежит долг подготовить к печати оставшиеся от Маркса рукописи, и это гораздо важнее, чем все прочее. Кроме того, еще и совесть удерживает меня от всяких изменений. Мое сочинение носит полемический характер, и я думаю, что обязан пред своим противником воздержаться от новых нападков, раз для этого нет особых поводов. Я мог бы только претендовать на право возражать на ответ г. Дюринга, но того, что г. Дюринг писал против моей полемики, я не читал и не стану читать, если для этого не явится особой надобности: теоретические счеты с ним я покончил. Впрочем, я тем более должен соблюсти по отношению к нему все правила чести в литературной борьбе, в виду того, что берлинский университет поступил с ним позорно несправедливо. Конечно, он за это достаточно наказан. Университет, который соглашается при известных обстоятельствах лишить г. Дюринга свободы преподавания, не может удивляться, если ему при столь же известных обстоятельствах навязывают г. Швенингера.

Единственная глава, в которой я себе позволил сделать добавление, — вторая глава третьей части: «из области теории». Здесь, где речь идет только об изложении моих воззрений, мой противник не сможет пожаловаться на то, что я старался писать популярнее и более систематично. К тому бы внешний повод. Три главы книги (первую главу введения и I и II главы третьей части) я переработал в самостоятельную брошюру для своего друга Лафарга, для издания во французском переводе, и после того как французское издание послужило образцом для итальянского и польского, последовало немецкое издание под названием: «Развитие социализма от утопии к науке». Эта брошюра в несколько месяцев выдержала три издания и появилась также в русском и датском переводах. Во всех этих изданиях дополнена была только одна из названных глав, и было бы педантизмом с моей стороны, при новом издании оригинала, связать себя первоначальным текстом в виду позднейшего, ставшего международным.

Что я мог бы еще пожелать изменить, относится, главным образом, к двум пунктам. Во-первых, к первобытной истории человечества, ключ к пониманию которой Морган открыл только в 1877 г. Но так как, однако, я с тех пор имел случай, в своем сочинении «Происхождение семьи и т. д.», обработать оказавшийся налицо за это время материал, то достаточно будет указания на названный мой труд по этому предмету.

Во-вторых, та часть, которая трактует о теоретическом естествознании. Тут царит большая неопределенность в изложении, и многое в настоящее время можно было бы выразить более ясно и точно. И если я не считаю себя в праве ввести соответственные изменения, то тем самым я обязан подвергнуть критике в этом отношении свое изложение.

Маркс и я были единственными, которые перенесли из германской идеалистической философии сознательную диалектику в материалистическое понимание природы и истории. Но для диалектического и вместе с тем материалистического понимания природы необходимо знакомство с математикой и естествознанием. Маркс был основательный математик, но естественными науками мы могли заниматься только урывками, спорадически. Поэтому, когда я, покинув коммерческое дело и возвратившись в Лондон, приобрел свободное время, я подверг себя, поскольку это было возможно, в сфере

математики и естествознания процессу «линияния» (как выражается Либих) и употребил на это большую часть времени восьми лет. Я еще переживал этот процесс, когда мне пришлось заняться, так называемой, натурфилософией г. Дюринга. Поэтому, если мне иногда не удастся подобрать надлежащее техническое выражение и если я вообще довольно плохо подвизаюсь на пути теоретического естествознания, то это вполне понятно. Но, с другой стороны, сознание неполной своей подготовленности сделало меня осторожным; действительных прегрешений против известных в то время фактов и неверного изложения принятой в то время теории никто не сможет указать у меня. В этом отношении только один не признанный великий математик жаловался Марксу, будто бы я дерзновенно затронул честь $\sqrt{-1}$. Само собой разумеется, что в моем кратком обзоре математики и естественных наук речь шла о том, чтоб убедиться и на частностях в том, в чем вообще у меня не было никаких сомнений, — именно, что в природе сквозь хаос бесчисленных изменений проявляются те же диалектические законы, которые господствуют и в истории над кажущейся случайностью явлений; те самые законы, которые, проходя красною нитью в истории человеческого мышления, постепенно уясняются сознанию мыслящего человека, которые впервые были развиты широко, но в мистической форме, Гегелем, и которые извлечь из этой мистической формы и ясно представить во всей их простоте и всеобщности было одним из наших стремлений. Было само собой очевидно, что старая натурфилософия — как бы много действительно хорошего и сколько бы плодотворных зародышей она не содержала¹⁾ в себе — не могла нас удовлетворять. Как более или менее подробно доказывается в нашей книге, недостатком натурфилософии, особенно в гегелевской форме, было то, что она не приписывала природе никакого развития во времени, никакой «последовательности», а только «существование». Это, с одной стороны, вытекало из самой системы Гегеля, которая приписывала

¹⁾ Гораздо легче, вместе с бессмысленной чернью, топтать в грязь, а la Карл Фохт, старую натурфилософию, чем оценить ее историческое значение. Она содержит много нелепостей, но фантастична не более, чем современные ей не философские теории эмпириков-естествоиспытателей, а что она заключала в себе много разумного, это начинают понимать с распространением теории развития. Так, Геккель с полным правом признал заслуги Тревирануса и Окена. Что касается специально Гегеля, то он во многих отношениях стоит гораздо выше современных ему эмпириков, которые думали объяснить всякое непонятное явление тем, что приписывали ему какую-нибудь силу — силу тяжести, силу плавления, электрическую силу и т. д., или же, где это не шло, измышляли какое-то неизвестное вещество: световое, тепловое, электрическое и т. д. Эти воображаемые вещества в настоящее время совершенно устранены, но игра с силами, против которой боролся Гегель, процветает еще в Инсбругской речи *Гельмгольца*. В противовес унаследованному от французов XVIII в. обожествлению Ньютона, которого Англия засыпала почетом и богатствами, Гегель утверждал, что Кеплер, которого Германия допустила умирать с голоду, является настоящим обоснователем современной механики мировых тел и что Ньютонов закон тяготения уже содержится во всех трех законах Кеплера, а в третьем даже буквально выражен. То, что Гегель в своей натурфилософии (§ 270) и в дополнениях (соч. Гегеля 1842 г. т. VII) доказывает несколькими простыми уравнениями, встречается снова как результат математической механики у Густава Кирхгофа (Лекция по математической физике, 2-е издание, Лейпциг, 77 г., стр. 10), и по существу в той же, впервые развитой Гегелем, простой математической форме. Натурфилософы относятся к сознательно диалектическому естествознанию так же, как утописты к современному коммунизму.

историческое развитие только «духу»; с другой же стороны, из общего тогдашнего состояния естествознания. Таким образом, Гегель в этом случае оказался значительно позади Канта, «теория туманных масс» которого уже провозгласила возникновение солнечной системы, а открытие влияния морских приливов на вращение земли указало на необходимость гибели солнечной системы. И, наконец, для меня речь шла не о том, чтобы применить к природе диалектические законы, но чтобы в ней их отыскать и из нее их вывести.

Но выполнить это систематически, и в каждой отдельной области, представляет гигантский труд. Не только почти необъятная сфера, которую приходится исследовать, но по отношению к ней само естествознание находится еще в таком быстром процессе преобразования, что за ним с трудом мог бы уследить даже тот, кто употребляет на это все свое свободное время. Кроме того, со времени смерти Карла Маркса, мое время было занято более настоятельными обязанностями, а потому я должен был прервать свою работу по естествознанию. В данный момент я должен довольствоваться указаниями, собранными в предлагаемом сочинении, и ждать в будущем случая для более обстоятельного изложения результатов своих исследований, быть может, вместе с оставшимися после Маркса крайне важными рукописями по математике.

Но, может быть, прогресс теоретического естествознания сделает мой труд большею частью или вполне излишним, так как революция, навязываемая теоретическому естествознанию простой необходимостью систематизировать накапливающиеся в массовых размерах чисто эмпирические открытия, — эта революция такова, что должна довести до признания диалектического характера естественных процессов даже самого упорного эмпирика. Старые абсолютные противоположности и резкие непреходимые пограничные линии исчезают все более и более. С тех пор, как превращен в жидкость последний «истинный» газ, с тех пор, как доказано, что каждое тело может быть приведено в такое состояние, в котором жидкая и газообразная формы неразличимы, — агрегатные состояния потеряли последний остаток своего прежнего абсолютного характера. С установлением того положения кинетической теории газов, согласно которому в газах квадраты скоростей, с которыми движутся отдельные газовые молекулы, обратно пропорциональны (при равной температуре) молекулярному весу, теплота попала прямо в разряд непосредственно измеримых, как таковые, форм движения. Если, еще десять лет назад, только что открытый, великий основной закон движения понимался, как простой закон сохранения энергии, как простое выражение того, что движение не может быть уничтожено или создано, т.-е. понимался только с количественной стороны, то затем это узкое отрицательное выражение все более заменялось положительным выражением превращения энергии, чем впервые подчеркнут качественный характер процесса и устраняется последнее воспоминание о внемировой силе. Что количество движения (так называемой энергии) не изменяется, если оно из кинетической энергии (так называемой механической силы) переходит в электричество, теплоту, потенциальную энергию покоя и проч., — это теперь не приходится доказывать, как нечто новое; эта мысль служит раз навсегда данной основой более богатого содержанием исследования самого процесса превращения, того великого основного процесса, к усвоению которого сводится все познание природы. И с тех пор, как биология, руководствуясь эволюционной теорией, упразднила в

области органической природы резкие пограничные линии классификации, одну за другой, — почти не поддающиеся классификации промежуточные члены умножаются с каждым днем, и более точное исследование перебрасывает организмы из одного класса в другой. Отличительные признаки, бывшие почти символами веры, потеряли свое безусловное значение; мы знаем теперь млекопитающих, кладущих яйца, и, если подтвердится известное, то и четвероногих птиц. Если, уже много лет назад, Вирхов был вынужден, вследствие открытия клетки, признать (не столько с естественно-исторической и диалектической точки зрения, сколько с точки зрения прогрессиста), вместо единства животного индивидуума, федерацию клеточных государств, то понятие животной (следов., также и человеческой) индивидуальности стало еще более сложным, особенно после открытия амебообразно-движущихся в организме высших животных белых кровяных клеток. Между тем, именно полярные противоположности, представлявшиеся непримеримыми, — резко определенные пограничные линии и отличительные признаки классов, — придавали современному теоретическому естествознанию его ограниченный метафизический характер. Признание того, что эти противоположности и различия, хотя существуют в природе, но имеют только относительное значение, и что, напротив, эта их воображаемая резкость и абсолютное значение только привнесены в природу нашей рефлексией, — признание этого составляет центральный пункт диалектического понимания природы. К этому признанию можно прийти, будучи к тому вынужденным накапливающимся фактическим материалом естествознания; но его можно легче достигнуть, неся навстречу диалектическому характеру этого материала понимание законов диалектического мышления. Во всяком случае, естествознание подвинулось так далеко, что оно не может уже ускользнуть от диалектического обобщения. Но оно облегчит себе этот процесс, если не будет забывать, что результаты, которыми обобщаются данные его опыта, суть понятия, и что искусство оперировать с понятиями не врожденно и не дается обыденным, повседневным сознанием, но требует действительного мышления, которое также имеет за собой долгую эмпирическую историю, ни более ни менее, чем эмпирическое естествознание. Усвоивши себе результаты длящегося три с половиной тысячелетия развития философии, оно, с одной стороны, избавится от всякой особой, вне его и над ним стоящей, натурфилософии, с другой — от свойственного ему, заимствованного от английского эмпиризма, ограниченного метода мышления.

Лондон. 23 сентября, 1885 г.

III.

Третье издание, за исключением некоторых очень незначительных стилистических изменений, является воспроизведением предыдущего. Только в одной главе, именно десятой главе II части: «Из критической истории», я позволил себе существенные дополнения, в силу следующих соображений.

Как уже упомянуто в предисловии ко второму изданию, эта глава в существенных своих частях принадлежит Марксу. В первой редакции, предназначенной для журнальной статьи, я был вынужден значительно сократить рукопись Маркса и как раз в тех частях, где критика Дюринговых положений отстает на задний план, сравнительно с самостоятельным изложением истории экономической науки. Между тем,

эти-то части представляют еще и в настоящее время величайший интерес. Я считаю себя обязанным возможно полнее и буквальнее привести те места, в которых Маркс отводит подобающее им место в развитии классической экономической науки таким людям, как Петти, Норт, Локк, Юм; еще более считаю нужным воспроизвести данное им раз'яснение «экономической таблицы» Кенэ, этой загадки сфинкса, оставшейся неразрешимой для всей экономической науки. Напротив, то, что исключительно относилось к произведениям г. Дюринга, я, насколько это позволяла общая связь, решил выпустить.

Затем, я могу выразить полное удовлетворение по поводу того распространения, которое, со времени последнего издания, получили в науке, в среде рабочих классов и вообще в общественном сознании, — идеи, отстаиваемые в этом сочинении, во всех цивилизованных государствах.

Лондон. 23 мая, 1894 г.

Ф. Энгельс.

Введение.

I. Общие положения.

По своему содержанию, современный социализм прежде всего является результатом наблюдения, с одной стороны, над господствующими в современном обществе классовыми противоречиями между имущими и неимущими, между наемными рабочими и буржуа, с другой стороны, над царящей в производстве анархией. Но, по своей теоретической форме, он первоначально выступает, как более логичное, повидимому, более последовательное, развитие положений, выставленных великими французскими просветителями XVIII века. Как всякая новая теория, он должен был сначала примкнуть к тому идейному материалу, который он застал при своем появлении, хотя его собственные корни и таились в экономических фактах.

Великие люди, просветившие умы Франции и подготовившие их к великой революции, сами выступили в качестве крайних революционеров. Они не признавали никакого внешнего авторитета, какого бы рода он ни был. Религия, концепция природы, общество, государственный строй, — все было подвергнуто беспощадной критике, все должно было оправдать свое существование перед судом Разума или отказаться от дальнейшего существования. Разумность была сделана единственным мерилom всего сущего. То было время, когда, по выражению Гегеля, мир был поставлен на голову. Сначала, в том смысле, что человеческий ум и открытые им идеи предъявили притязание лечь в основу всех человеческих деяний и всякой общественности, а позднее уже и в том более широком смысле, что действительность, противоречащая этим идеям, должна фактически измениться сверху до низу. Все, доселе существовавшее, формы общества и государства, как неразумные, были сданы в архив: до сих пор мир попросту управлялся предрассудками. Все прошедшее заслуживало лишь сострадания и презрения. Только теперь забрезжил дневной свет; отныне место суеверия, несправедливости, привилегии и угнетения должны занять: вечная истина, вечная справедливость, основанное на законах природы равенство и неотчуждаемые права человека. Теперь мы знаем, что это царство разума было не более, как идеализированное царство буржуазии, что вечная справедливость воплотилась в буржуазной юстиции, что равенство свелось к гражданскому равенству перед законом, что одним из существеннейших прав человека была объявлена... буржуазная собственность и что разумное государство — общественный договор Руссо — оказалось, да только и могло оказаться, буржуазно-демократической республикой. Столь же мало, как и все их предшественники, великие мыслители XVIII в. могли перейти границы, поставленные современной им эпохой.

Но, на ряду с антагонизмом между феодальной аристократией и буржуазией, существовал общий антагонизм между эксплуататорами и эксплуатируемыми, между богатыми туеядцами и трудящимися бедняками. Ведь, это-то обстоятельство и дало возможность представителям буржуазии выступить вожаками не одного особого класса,

но всего страдающего человечества. Более того, с самого своего возникновения буржуазия была обременена связью с своим антиподом: капиталисты не могут существовать без наемных рабочих, и по мере того, как средневековый цеховой бюргер развивался в современного буржуа, цеховой подмастерье и стоящий вне цеха поденщик превращались в пролетария, и если даже в общем и в целом буржуазия могла претендовать на то, чтобы в борьбе с аристократией одновременно представлять интересы различных трудящихся классов того времени, то все же при каждом крупном историческом движении буржуазии выступали самостоятельные течения того класса, который представлял собой более или менее развитого предшественника современного пролетариата. Это сказалось в эпоху немецкой реформации и крестьянских войн в учении Фомы Мюнцера, во время великой английской революции — в движении Левеллеров и в период великой французской революции — в деятельности Бабефа. Рядом с этим движениями еще незрелого класса идут соответствующие теоретические проявления; в XVI и XVII вв. появляются утопические изображения идеального общественного строя, в XVIII в. прямо уже коммунистические теории (Морелли и Мабли). Требование равенства, при этом, не ограничивается политическими правами, но оно должно распространиться и на общественное положение отдельных личностей; требуется не только отмена классовых привилегий, но и классовых различий. Аскетический, тяготеющий к спартанству, коммунизм был первой формой проявления новой идеи. Затем, последовательно на сцену выступили три великих утописта: Сен-Симон, у которого до известной степени, рядом с пролетарским направлением, сохраняется еще буржуазное, Фурье и, наконец, Оуэн, который, живя в стране наиболее развитого капиталистического производства и под влиянием создаваемых им противоречий, систематически развил свои проекты устранения классовых различий, непосредственно примыкая к французскому материализму.

Характерно, что все они одинаково еще не являются представителями интересов исторически развившегося к тому времени пролетариата. Как и просветители, они желают освободить не один определенный класс, но и все человечество. Как и просветители, утописты хотят утвердить Царство Разума и вечной справедливости. Но их царство, как небо от земли, далеко от царства просветителей. В их представлении созданный этими просветителями буржуазный мир является неразумным и несправедливым и поэтому подлежит упразднению так же, как и феодализм и все прочее, существовавшие ранее, формы общественного строя. Если истинный разум и истинная справедливость доселе не господствовали в мире, то лишь потому, что они еще не были правильно познаны. Недоставало гениальной личности, которая бы познала истину; но в их лице теперь эта личность явилась и, благодаря ей, истина познана. Такое событие объяснялось не результатом процесса исторического развития, как нечто неизбежное, а просто чисто случайной случайностью. Гениальная личность могла точно так же родиться пятьюстами годами раньше, чем они, и в таком случае человечество избавилось бы от лишних пятисот лет ошибок, борьбы и страданий. Подобного рода воззрения приущи всем французским, английским и первым немецким социалистам, включая и Вейтлинга. Социализм есть выражение абсолютной истины, разума и справедливости, и ему нужно лишь быть открытым, чтобы собственной силой завоевать мир; в виду же того, что абсолютная истина независима от времени, пространства и человеческого исторического развития, то делом случая является и самое время и место ее открытия. Но так как абсолютная истина, разум и справедливость имеют особый вид у каждого основателя школы, в зависимости от их субъективного понимания условий жизни и степени их знаний и научной дисциплины, то возникающий конфликт между абсолютными истинами разных гениев должен был разрешиться не иначе, как путем их взаимного сглаживания. Отсюда и ведет свое начало известный эклектический средний социализм, господствующий в действительности до сих пор над умами большинства мыслящих рабочих во Франции и Англии и представляющий собой крайне разнообразный конгломерат из немногих характерных кри-

тических замечаний, экономических положений и представлений о будущем социальном строе, принадлежащих различным основателям сект, смесь, которая тем легче составляется, чем более в потоке дебатов в отдельных составных частях сглаживаются острые углы определенности, как это бывает с валунами в ручье. Чтобы социализм стал наукой, его следовало поставить сначала на реальную почву.

Между тем, рядом с французской философией XVIII в. и на смену ей возникла новейшая германская философия, нашедшая свое завершение в Гегеле. Ее величайшей заслугой было восстановление диалектики, как высшей формы мышления. Древние греческие философы все были прирожденными, естественными диалектиками, и самый универсальный ум среди них — Аристотель — уже исследовал существеннейшие формы диалектического мышления. Напротив того, философия нового времени, хотя и в ней диалектика имела своих блестящих представителей (например, Декарта и Спинозу), все более и более утверждалась (благодаря особенно английскому влиянию) в так называемом метафизическом образе мышления, который также почти исключительно царил и у французов XVIII в., по крайней мере, в их специальных философских трудах. Вне области специально философской и они также были в состоянии давать мастерские образцы диалектики; напомним только о «Племяннике Рамо» Дидро и о «Рассуждении о причинах неравенства между людьми» Руссо. Здесь мы вкратце укажем существенные черты обоих образов мышления; ниже же мы займемся этим вопросом более подробно.

Если мы мысленно взглянем в природу, человеческую историю или нашу собственную духовную деятельность, то на первый взгляд представится картина бесконечного сплетения соединений и взаимодействия, в котором ничто не сохраняет своего первоначального характера, места и положения, но все движется, изменяется, возникает и исчезает. Это первоначальное, наивное, но по существу правильное, воззрение на мир есть воззрение древне-греческой философии, впервые ясно выраженное Гераклитом: все существует и в то же время не существует, ибо все течет, все находится в вечном изменении, возникновении и уничтожении. Но это воззрение, как бы ясно оно не схватывало общий характер всей картины явлений, оказывается недостаточным, чтобы объяснить отдельные частности, из которых эта картина складывается, а пока мы их не знаем, нам не ясна и вся картина. Чтобы познать эти частности, мы должны их извлечь из естественной или исторической связи и исследовать каждую порознь в ее свойствах, в ее специальных причинах и следствиях и проч. Такова прежде всего, задача естественных наук и исторического исследования тех отраслей знания, которые, по вполне понятным причинам, занимали лишь подчиненное место у греков классической эпохи, так как им прежде всего необходимо было собрать материал. Начала точного исследования природы были развиты впервые греками александрийской эпохи, а позднее, в средние века, арабами; однако, действительная естественная наука возникает только со второй половины XV в. и с этих пор прогрессирует со все растущей быстротой. Разложение природы на ее составные элементы, выделение различных естественных явлений и предметов в определенные классы, внутреннее исследование органических тел в их разнообразных анатомических формах, — все это было основным условием того гигантского прогресса, который принесли последние четыре столетия в деле познания природы; но это исследование в то же время завещало нам привычку рассматривать явления природы в их обособленности, вне великой общей их связи, — не в их движении, но в покое, не как по существу изменяющиеся, но как неизменные, не в процессе их жизни, но в состоянии их смерти. Затем, перенесенный Бэконом и Локком из области естествознания в философию, этот метод исследования привел последующие века к специфической ограниченности, к метафизическому образу мышления.

Для метафизика вещи и их отражения в уме — понятия, представляющие собой отдельные, прочные, неподвижные, раз навсегда данные объекты исследования. Его мышление вращается исключительно в непосредственных противоположениях: да —

да, нет — нет, а что сверх того, то от лукавого. Для него данная вещь либо существует, либо не существует; данная вещь точно так же не может быть само собой и в то же время иной. Положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга; причина и следствие находятся в таком же постоянном противоречии между собою. Этот метод мышления кажется нам на первый взгляд весьма подходящим, потому что он практикуется так называемым здравым человеческим рассудком. Но здравый человеческий рассудок — вполне почтенная особа в интимной области частной жизни — переживает самые чудесные приключения, когда отваживается пуститься в далекий мир исследования, и метафизический образ мышления, как бы ни был уместен и необходим в сферах более или менее широких, смотря по природе объекта исследования, каждый раз, рано или поздно, наталкивается на препятствия, за пределами которых он становится односторонним, ограниченным, абстрактным и запутывается в неразрешимых противоречиях, ибо за отдельными вещами он забывает их связь, за их бытием — их возникновение и уничтожение, за их покоем — их движение, за деревьями не видит леса. Так, например, в повседневной жизни мы знаем и можем с определенностью сказать, живет ли известное животное или нет, однако, при более точном исследовании, мы находим, что это подчас крайне запутанный вопрос, как это хорошо известно юристам, которые напрасно бились, чтобы открыть ту рациональную границу, за которой умерщвление ребенка во чреве матери является убийством; равным образом невозможно твердо установить момент смерти, поскольку физиология доказывает, что смерть не есть мгновенное событие, но очень медленный процесс. Точно так же каждое органическое существо в каждый момент является тем же самым и чем-то иным; в каждый момент оно перерабатывает вводимые извне вещества и извергает другие; в каждый момент умирают одни клетки его тела и образуются новые; по истечении более или менее долгого времени, вещество этого тела совершенно обновляется, замещается другими материальными атомами так, что организованное существо постоянно представляет собой то же самое и в то же время нечто иное. Далее, при более точном наблюдении, мы находим, что оба полюса известного противоположения, как, например, положительный и отрицательный, столь же неотделимы один от другого, как и противоположны, и что, несмотря на свою противоположность, они проникают друг друга; что причины и следствия суть представления, которые, как таковые, имеют значение только в применении к отдельному случаю, но что, как только мы этот отдельный случай станем рассматривать в его общей связи с мировым целым, эти представления совпадают, исчезают в картине всемирного взаимодействия, где причины и следствия постоянно меняются местами так, что то, что теперь или здесь является следствием, в другом месте или в другое время было причиной, и наоборот.

Все эти процессы и методы мышления не выходят из рамки метафизики. Напротив того, для диалектики, которая по существу рассматривает вещи и их образы — понятие в их связи, в их сплетении, в их движении, возникновении и уничтожении, — для нее явления, подобные вышеупомянутым, представляют как раз довод в пользу ее метода. Природа служит пробным камнем для диалектики, и мы должны быть благодарны естествознанию за то, что оно доставляет для ее испытания с каждым днем все возрастающий материал и тем самым доказывает, что в природе, в конечном счете, все совершается диалектически, а не метафизически. К сожалению, до сих пор можно по пальцам пересчитать естествоиспытателей, мыслящих диалектически; вследствие этого происходят постоянные противоречия между данными опыта и принятым методом мышления, которыми и объясняется бесграничная путаница, господствующая в настоящее время в теоретическом естествознании и приводящая в отчаяние как учителей, так и учеников, как писателей, так и читателей.

Точное представление о вселенной и ее развитии и о развитии человечества, равно как и об отражении этого развития в нашем мышлении, может быть достигнуто только путем диалектического исследования, постоянно считаясь со всеобщим взаимодействием между возникновением и уничтожением, между прогрессивными и регрес-

свивными изменениями. В этом именно смысле стала работать новая германская философия. Кант начал свою деятельность тем, что устойчивую солнечную систему Ньютона, с ее вечным существованием с момента пресловутого первого толчка, разложил в исторический процесс образования солнца и всех планет из вращающихся туманных масс. При этом он сделал тот вывод, что это образование подразумевает и неизбежное в будущем уничтожение солнечной системы. Его взгляд полвека спустя был математически обоснован Лапласом, а еще через полстолетие спектроскоп показал существование в мировом пространстве раскаленных газовых масс на разных ступенях сгущения.

Эта новейшая германская философия нашла свое завершение в системе Гегеля, в которой впервые — и в этом ее великая заслуга — весь мир природы, истории и духовной жизни был представлен, как процесс, т.-е. в состоянии вечного движения, изменения, преобразования и развития, и она же сделала попытку указать на внутреннюю связь в этом движении и развитии. С этой точки зрения, история человечества уже не представлялась диким хаосом бессмысленных насилий, которые перед судом пыне созревшего философского разума все являются одинаково достойными осуждения и которые лучше всего, как можно скорей, предать забвению; история оказалась процессом развития самого человечества, и задачей мыслителя теперь стало — среди всех уклонений проследить последовательный ход развития и в кажущихся случайностях установить внутреннюю законосообразность процесса.

Для нас безразлично, что Гегель не разрешил этой задачи. Его исторической заслугой было поставить задачу, а разрешить ее никогда не сможет отдельный человек. Хотя Гегель, на ряду с Сен-Симоном, и был самым универсальным умом своего времени, все же он был ограничен, во-первых, запасом своих собственных знаний, а во-вторых, объемом и глубиной знаний и воззрений современной ему эпохи. К этому еще присоединялось третье обстоятельство. Гегель был идеалист, т.-е. для него его собственные идеи представлялись ему не как более или менее абстрактные отражения существующих вещей и явлений, но, наоборот, вещи и их развитие казались ему лишь отражением в действительности «идей», где-то существовавшей до сотворения мира. Тем самым все ставилось у него вверх ногами, и действительная связь явлений была совершенно извращена. Если Гегель правильно и даже гениально понял некоторые взаимоотношения явлений, то, по указанным причинам, даже и в подробностях многое в его построении должно было оказаться сшитым белыми нитками, искусственным, натянутым, короче — извращенным. Гегелевская система, как таковая, была колоссальным недонеском, но и последним в своем роде. Она страдала, сверх того, неразрешимым внутренним противоречием: с одной стороны, основной предпосылкой системы является историческое воззрение, признающее человеческую историю развивающимся процессом, который, по самой своей природе, не может завершиться в интеллектуальной сфере открытием так называемой абсолютной истины, но, с другой стороны, сама система претендует, что в ней содержится эта истина. Всеобъемлющая, раз навсегда установленная, система познания природы и истории противоречит основным законам диалектического мышления, хотя она отнюдь не исключает, но, напротив того, подразумевает, что систематическое познание всего внешнего мира может делать гигантские шаги от поколения к поколению. Сознание полной несостоятельности германского идеализма необходимо привело к возрождению материализма, но, разумеется, не чисто метафизического, исключительно механического материализма XVIII века. Вместо наивно-революционного простого отрицания всей прежней истории, современный материализм видит в истории процесс развития человечества и своей задачей ставит познание законов его движения. Вместо господствующего, как у французов XVIII века, так и у Гегеля, представления о природе, как о неизменном, движущемся в тесных пределах, целом с вечными мировыми телами, как учил Ньютон, и с неизменными видами органических существ, как учил Линней, — современный материализм признает все главные выводы естествознания, согласно которым природа

имеет свою историю во времени и мировые тела, как и виды организмов, которыми они населены, при благоприятных условиях, одинаково возникают и исчезают, а сферы мирового круговорота, поскольку представление о нем вообще допустимо, принимают бесконечно большие размеры. В обоих случаях (в понимании истории и природы) современный материализм по существу диалектичен и не нуждается уже ни в какой, стоящей над прочими науками, философии.

Поскольку в каждой отдельной науке пред'является требование выяснить свое положение по отношению к общей связи явлений и в сфере их познания, всякая особая наука об этой связи становится излишней. От всей прежней философии остается еще, в качестве самостоятельной науки, учение о мышлении и его законах — формальная логика и диалектика. Все прочее относится к положительной науке о природе и истории.

Поскольку к каждой отдельной науке пред'является требование выяснить свое положение доставляли соответственный материал для познания. Коренному же изменению исторического понимания предшествовали крупные события в жизни человечества и народов. В 1831 г. произошло в Лионе первое восстание рабочих, в период 1838 — 1842 гг. первое национальное рабочее движение (английских чартистов) достигло своего апогея. Классовая борьба между пролетариатом и буржуазией выступила на первый план в истории наиболее прогрессивных стран Европы, поскольку в них развивалась, с одной стороны, крупная промышленность, с другой — недавно завоеванное политическое господство буржуазии. Факты все убедительнее обличали лживость учения буржуазных экономистов о тождестве интересов капитала и труда, о всеобщей гармонии и всеобщем народном благосостоянии, как следствия свободной конкуренции. Всего этого уже нельзя было отрицать так же, как и французского и английского социализма, который был теоретическим, хотя и весьма несовершенным, выражением новых отношений. Но старая идеалистическая философия истории, все еще не вытесненная, не знала никакой опирающейся на материальные интересы классовой борьбы, вообще игнорировала материальные интересы: производство, как и все экономические отношения, были для нее побочными элементами «истории культуры». Новые события заставили заново пересмотреть всю историю, при чем обнаружилось, что она была историей борьбы классов, что эти взаимно борющиеся классы всегда являются продуктами известных отношений производства и обмена, одним словом, экономических отношений своей эпохи, что, таким образом, экономическая структура общества образует реальную основу, из которой в последнем счете должна быть объяснена вся надстройка правовых и политических учреждений, равно как религиозных, философских и иных идей каждого исторического периода. Тем самым идеализм был изгнан из своего последнего убежища, из исторической науки, и найден путь для объяснения сознания людей из их бытия, вместо того, чтобы, как это было доселе, объяснять их бытие из их сознания.

Но с этим материалистическим пониманием истории столь же несовместим старый социализм, как и воззрения на природу французского материализма несовместимы с диалектикой и новейшим естествознанием. Старый социализм, хотя и критиковал существующий капиталистический способ производства и его последствия, не мог, однако, объяснить его, стало быть, и покончить с ним; он мог только просто отрицать его, как негодный. А между тем дело было в том, чтобы, с одной стороны, представить этот капиталистический способ, как исторически обусловленный, необходимый для известного исторического периода, а, стало быть, и преходящий, с другой же стороны, вскрыть внутреннюю его природу, которая еще оставалась неизвестной, так как критика направлялась пока более на его вредные результаты, чем на ход самого развития. Эта задача была решена открытием прибавочной ценности. Было доказано, что присвоение неоплаченного труда является основой капиталистического производства и происходящей при нем эксплуатации рабочего; что капиталист, даже в том случае, если покупает рабочую силу по полной ценности, которой она обладает на товарном рынке, все же извлекает из

нее большую ценность, чем та, которую он на нее затратил; и что эта прибавочная ценность, в последней инстанции, образует ту сумму ценности, из которой в руках имущих классов накаплиется все растущая масса капиталов. Процесс капиталистического производства и производства капитала был раз'яснен.

Этим общим великим открытием: материалистическим пониманием истории и раз'яснением тайны капиталистического производства при посредстве прибавочной ценности, — мы обязаны Марксу. Вместе с этим открытием социализм стал наукой, которую в настоящее время остается далее разрабатывать.

Так обстояли дела в области теории социализма и покойной философии, к'гда г. Евгений Дюринг не без громкого шума выпрыгнул на сцену и провозгласил о провозведенном им полном перевороте в философии, политической экономии и социализме.

Посмотрим же, что обещает нам г. Дюринг и как он держит свои обещания.

II. Что обещает г. Дюринг.

Ближайшее отношение к нашему вопросу имеют следующие сочинения Дюринга: «Курс философии», «Курс национальной и социальной экономики» и «Критическая история национальной экономики и социализма». Прежде всего для нас интересно, преимущественно, первое произведение.

Уже на первой странице г. Дюринг возвещает о себе, как о «человеке, который претендует быть представителем этой силы (философии) для своей эпохи и для ближайшего будущего». Таким образом, он провозглашает себя единственным истинным философом современности и «ближайшего будущего». Кто отступает от него, тот отступает от истины. Многие прежде г. Дюринга думали о себе в таком же роде, но — за исключением Рихарда Вагнера — он, конечно, первый высказал такое лестное мнение о самом себе. При этом истина, о которой у него идет речь, представляет собой «конечную истину в последней инстанции». Философия г. Дюринга есть «естественная система или философия действительности... в ней действительность мыслится таким образом, что исключает всякую возможность впасть в мечтательные и субъективно ограниченные представления мира». Следовательно, эта философия создана так, что возносит г. Дюринга за пределы его собственной субъективной ограниченности, пределы, существования которых он сам не отрицает. Впрочем, это необходимо, чтобы дать ему возможность установить конечные истины в последней инстанции, хотя мы все еще не знаем, каким образом должно совершиться это чудо.

Это «естественная система знания, которое само по себе драгоценно для духа, твердо установила основные формы бытия, не жертвуя нисколько глубиной мысли». С своей «истинно критической точки зрения» она доставляет «элементы философии действительной, а потому имеющей дело с действительностью природы и жизни, — философии, которая не признает никакого, только видимого, горизонта, но развертывает все земли и все небеса внешней и внутренней природы в их могуче развивающемся движении». Эта система есть новый метод мышления, а его результат представляет собой «глубоко оригинальные выводы и воззрения... идеи, создающие систему... прочно установленные истины». Мы имеем перед собой «труд, который должен черпать свою силу в концентрированной инициативе», а что это значит, понимай, кто может; «исследование, проникающее до самых корней... глубоко осповательная наука, строго научное воззрение на людей и вещи... всесторонне проникающая работа мысли... творческий набросок охватываемых идей предпосылок и выводов... абсолютно фундаментальное». Система не только дает нам в политико-экономической области «исторически и систематически исчерпывающие труды», из которых исторические, сверх того, отличаются «моим историческим изложением в высоком стиле» и вносят в экономическую науку «творческие изменения», но и заканчивается собственным, выработанным планом будущего, который является

«практическим плодом ясной и до последних корней проникающей науки», а потому и столь же непогрешим и единоспасителен, как и Дюрингова философия. По словам последнего, только в этой социалистической картине, которую он изобразил в своем курсе национальной и социальной экономики, — «может иметь место истинная собственность, вместо только кажущейся и переходящей или же насильственной собственности».

Этот букет восхвалений г. Дюринга госп. Дюрингом легко может быть увеличен в десять раз. Приведенного, впрочем, достаточно, чтобы возбудить в ином читателе сомнение, действительно ли мы имеем дело с философом или же с... Мы просим, однако, читателя отложить произнесение своего приговора до более ближайшего ознакомления с творениями г. Дюринга. Мы хотели только показать, что имеем дело в данном случае не с обыкновенным философом социалистом, который просто выражает свои мысли и предоставляет истории решить вопрос об их ценности, но с существом совершенно необыкновенным, имеющим притязание на палскую непогрешимость, единоспасающее учение которого приходится просто-на-просто принять, если не желаешь впасть в преступную ересь. Таким образом, нам приходится иметь дело не с теми многочисленными произведениями социалистической литературы, в которых люди неодинаковых дарований искреннейшим образом стараются выяснить себе вопросы, на которые ответить у них, быть может, не хватает данных, но за которыми, при всех их научных и литературных недостатках, следует признать наличность доброй воли. Напротив, г. Дюринг преподносит нам истины, которые он провозглашает «конечными истинами в последней инстанции», рядом с которыми всякое иное мнение является, таким образом, уже а priori ложью. Вместе с тем г. Дюринг обладает, по его словам, и единственным методом исследования, провозглашая все другие не научными. Либо он прав — и тогда перед нами величайший гений всех времен, первый сверхчеловек, или, иначе, непогрешимый человек, — либо он неправ, и в таком случае, каков бы ни был наш приговор, всякая благожелательная снисходительность к нему, во внимание к руководившим им добрым намерениям, была бы все же смертельным оскорблением для г. Дюринга.

Когда обладаешь последними истинами в конечной инстанции и единственно строгой научностью, то, само собой разумеется, следует питать изрядное презрение к ученым, не понимающим эту истину, и вообще к человечеству. Нас поэтому не может удивлять, что г. Дюринг выражается о своих предшественниках с самым крайним пренебрежением, и что лишь немногие, в виде исключения, великие люди падают пощаду перед судом его основательности.

Послушаем сначала о философах: «лишенный всякой мысли Лейбниц, это лучший из всех возможных придворных дилетантов философии». Кант еще заслуживает внимания, но после него в науке являются «пустопорожние места и столь же пошлые, сколь и легкомысленные, нелепости ближайших эпигонов», некоего Фихте и некоего Шеллинга... «Чудовищные карикатуры невежественного натурфилософирования... после-кантовские чудовищности и горячечный бред», которые увещал «некий Гегель». Этот последний говорил на «гегелевском жаргоне» и распространил «гегелевское поветрие», посредством своей ненаучной манеры и своей неудобоваримой чепухи.

С естественными делами обстоит не лучше; специально же он набрасывается только на Дарвина. «Дарвинистская полупоэзия и игра в превращение с их грубо чувственной узостью понимания и притупленной способностью различения... По нашему мнению, специфический дарвинизм, из которого, разумеется, следует исключить построение Ламарка, представляет собой скотскую грубость, направленную против человечности».

Но хуже всего достается социалистам. За исключением разве только Лун-Блана, самого незначительного из всех, все они являются ужасными грешниками и не заслуживают славы, которой они пользовались до г. Дюринга, и не только по отношению к правдивости или научности, но по своему характеру. Исключая Бабефа и некоторых

коммунаров 1871 г., они не обладали необходимым мужеством. Три известных утописта окрещены «социальными алхимиками». Из них Сен-Симон третируется еще енисходительно, поскольку его упрекают только в «сумасбродстве», с сожалением отмечаая, что он страдал религиозным помешательством. Зато по поводу Фурье г. Дюринг выходит совсем из терпения; по его мнению, он «обнаружил все элементы безумия... идеи, которые, кроме чего, скорее всего можно найти в психиатрических больницах... самые дикие бредни... продукт безумия... невыразимо плоский Фурье». Эта «детская головка», это «идиот», к тому же даже не социалист; это «уродливое построение по обычному торговому шаблону». И, наконец: «для кого этих выходов (Фурье по поводу Ньютона) недостаточно, чтобы убедиться, что в имени Фурье и всего фурьеризма истинного только и есть, что первый слог (fou — сумасшедший), тот сам может зачислиться в какую-либо категорию идиотов». Наконец, Роберт Оуэн «имел плоские и скучные идеи... его в области морали столь грубая мысль... несколько до странности выропившихся общих мест... Противоречащий здравому смыслу и грубый способ понимания... ход идей Оуэна едва заслуживает серьезной критики... его тщеславие» и т. д. Если, таким образом, г. Дюринг в высшей степени остроумно характеризует утопистов по их именам: Сен-Симон — блаженный (saint), Фурье — сумасшедший (fou), Анфантен — ребенок (enfant), то остается только прибавить: Оуэн — увы! (o voh!) — и целый значительный период истории социализма разгромлен в четырех словах, а кто в этом сомневается, тот «может сам зачислиться в какую-либо категорию идиотов».

Из приговора Дюринга о позднейших социалистах мы ради краткости извлечем только относящееся к Лассалю и Марксу. Лассаль: «педантические вымученные попытки популяризации... бьющая через край схоластика... чудовищное смешение общей теории и мелочной драни... бессмысленное и бесформенное гегелианское суеверие... отталкивающий пример... свойственная ему ограниченность... важничанье самым незначительным хламом... наш жидовский герой... памфлетный писака... ординарен... внутренняя бессодержательность воззрений на жизнь и мир».

Маркс: «узость взглядов... его труды и произведения сами по себе, т.-е. рассматривая их чисто теоретически, для нашей области (т.-е. для критической истории социализма) не могут иметь продолжительного значения, а в всеобщей истории умственных течений должны быть упомянуты разве только, как симптомы влияния одной отрасли новейшей сектанской схоластики... бессилие концентрирующих и регулирующих способностей... бесформенность идей и стиля, лишенные достоинства аллюры слога... англаизированное тщеславие... дураченье... пустые концепции, которые в действительности представляют лишь убожидки исторической и логической фантазии... обманчивый оборот... личное тщеславие... презрительное манерничанье... презренный... претендующая на остроумие болтовня... китайская учепость... философская и научная отсталость...» и т. д. и т. д. И это всего лишь небольшой, наскоро собранный, букет из Дюрингова сада. Само собой разумеется, что в данный момент мы не касаемся того, насколько эти любезные ругательства (которые при некоторой воспитанности должны были бы не позволить г. Дюрингу о чем бы то ни было отзываться, как о презренном) являются конечными истинами в последней инстанции. Точно так же мы остерегаемся выразить какое-либо сомнение в их основательности, так как в противном случае нам, быть может, запретили бы даже избрать ту категорию идиотов, в которую мы пожелали бы зачислить себя. Мы считаем своим долгом, с одной стороны, дать пример того, что г. Дюринг называет «избранными местами серьезного и в истинном смысле скромного способа выражения», а с другой стороны установить, что для г. Дюринга негодность его предшественников столь же твердое положение, как его собственная непогрешимость. Засим, мы в глубоком почтении немеем перед этим величайшим гением всех времен... Если все обстоит именно так.

Первый отдел.

ФИЛОСОФИЯ.

I. Подразделение. Априоризм.

Философия, по Дюрингу, есть развитие высших форм познания мира и жизни и в более широком смысле обнимает принципы всего знания и хотения. Где только человеческое мышление имеет дело с рядом результатов познания или волевых побуждений, или же с группой форм существования, — объектом философии должны быть принципы всего этого. Эти принципы суть простейшие, или до сих пор признаваемые простейшими, составные элементы, из которых складывается многообразный мир знаний и воли. Как химический состав тел, так и всеобщее понимание вещей может быть сведено к основным формам и элементам. Эти последние составные элементы или принципы, раз они найдены, имеют значение не только для непосредственно известного и доступного мира, но и для известного и недоступного нам. Следовательно, философские принципы доставляют последнее обобщение, в котором нуждаются отдельные науки, чтобы образовать единую систему объяснения природы и человеческой жизни. Кроме основных форм всего существующего, философия имеет только два собственных объекта исследования, именно — природу и мир человечества. Таким образом, при систематизации нашего материала, совершенно непринужденно получаются три группы, как-то: мировая схематика (Weltschematik), учение о принципах природы и, наконец, учение о человеке. В этой последовательности в то же время заключается известный внутренний логический порядок, ибо формальные положения, имеющие значение для всего сущего, должны идти впереди, а конкретные области, к которым эти положения должны применяться, следовать за ними в порядке их подчиненности. Таково мнение г. Дюринга, приведенное почти дословно.

Стало быть, у него речь идет о принципах, о формальных основных положениях, выведенных из мысли, а не из внешнего мира, которые должны применяться к природе и миру человеческому, сообразно которым, стало быть, природа и человек должны развиваться. Но откуда мысль берет эти основные положения? Из себя самой? Нет, ибо г. Дюринг сам говорит: сфера чисто идеального ограничивается логическими схемами и математическими образами (последнее, как мы увидим, к тому же неверно). Но логические схемы могут относиться только к формам мышления, у нас же речь идет только о бытии, о внешнем мире, а его формы мысль никогда не может создать и вывести из себя самой, но только из внешнего мира. Поэтому все отношение приходится перевернуть: принципы являются не исходным пунктом исследования, но его конечным результатом; они не применяются к природе и истории человечества, но абстрагируются из той и другой; не природа и мир че-

человеческий движутся по принципам, но принципы справедливы лишь постольку, поскольку согласуются с природой и историей. Таково единственно материалистическое понимание вещей, а противоположное понимание г. Дюринга идеалистично, оно ставит все вверх ногами и конструирует действительный мир из идеи, из существовавших где-то до сотворения мира или категорий, одним словом, в духе... какого-нибудь Гегеля.

Действительно. Сопоставим энциклопедию Гегеля, со всем ее «горячечным бредом», с конечными истинами последней инстанции г. Дюринга. У г. Дюринга мы имеем, во-первых, общую мировую схематику, которая у Гегеля носит название логики, затем, у обоих мы имеем применение этих схем, т.-е. логических категорий, к природе (натурфилософия) и, наконец, применение их к миру человечества, что Гегель называет философией духа. Таким образом, «внутренний логический порядок» дюринговой последовательности приводит нас «совершенно непринужденно» обратно к энциклопедии Гегеля, из которой он заимствован с такою верностью, которая приведет в удивление вечного жиды гегельянской школы, профессора Мипле в Берлине.

Так бывает всегда, когда подобным образом принимают «сознание», «мышление», чисто натуралистически, за нечто данное, а *prigot* противопоставляемое бытию, природе. В таком случае неизбежно покажется крайне удивительным, что сознание и природа, мышление и бытие, законы мысли и законы природы так значительно согласуются между собой. Если же спросить, что же такое мышление и сознание, и каково их происхождение, то мы найдем, что они являются продуктами человеческого мозга и что сам человек есть продукт природы, который развивается в определенной среде и вместе с ней, из чего уже само собой явствует, что продукты человеческого мозга, которые, ведь, в последней инстанции сами являются продуктами природы, не противоречат всему остальному в природе, но соответствуют ему.

Но г. Дюринг не может позволить себе такого простого обращения с вопросом, он мыслит не только от имени человечества, — что уже само по себе было бы довольно великим делом, — но от имени сознательных или мыслящих существ всех планет. В самом деле, по его словам, «было бы унижением основных форм сознания и познания, если бы мы захотели отвергнуть или хотя бы заподозрить их суверенное значение и безусловную истинность, придав им эпитет — человеческих». Таким образом, чтобы не явилось подозрение, что на какой-нибудь планете дважды два составляют пять, г. Дюринг не может определить мышление эпитетом «человеческого», и должен, следовательно, лишить его единственно реальной основы, на которой оно для нас существует. Поставив мышление в независимое положение от человека и природы, г. Дюринг тем самым погружается в идеологию, которая превращает его в эпигона, такого «эпигона», как Гегель. Впрочем, мы еще часто будем приветствовать г. Дюринга на «других планетах».

Понятно само собой, что на столь идеологической основе невозможно построить никакого материалистического учения. Мы впоследствии увидим, что г. Дюринг вынужден неоднократно приписывать природе сознательный образ действий, т.-е., попросту, ввести в свои философские рассуждения идею божества.

Впрочем, наш философ имел еще и другие побуждения к тому, чтобы основу всего сущего перенести из мира действительного в мир идей. Ведь, наука об этой всеобщей схеме мира, об этих формальных принципах бытия, является именно основой философии Дюринга. Если схему мира выводить не из своей головы, но только посредством головы из действительного мира, принципы бытия — из того, что есть, — то для этого достаточно было бы положительных сведений о мире и о том, что в нем происходит; то же, что является результатом этих сведений, было бы не философией, а положительной наукой. И в таком случае, произведения г. Дюринга оказались бы просто потраченным даром трудом.

Далее, если ни в какой философии, как таковой, нет необходимости, то и не нужно никакой системы, даже «естественной системы философии». Убеждение, что все естественные явления находятся в систематической взаимной связи, побуждает науку устанавливать эту систематическую связь повсюду в частностях и целом. Но соответствующее, исчерпывающее, научное изложение этой связи, образование точного идеального отражения той системы мира, в которой мы живем, остается как для нас, так и для всех грядущих поколений, делом невозможным. Если бы в какой-нибудь момент развития человечества была составлена подобная система, вполне охватывающая все соотношения мировых явлений, как физических, так и духовных и исторических, то, тем самым, развитие человеческого познания было бы закончено, и всякое дальнейшее человеческое развитие приостановилось бы в тот момент, когда общество организовалось бы в соответствии с этой системой, что было бы абсурдом — чистой бессмыслицей. Таким образом, люди оказываются стоящими перед противоречием: с одной стороны, перед ними задача познать исчерпывающим образом систему мира в общей связи его явлений, а с другой стороны, как их собственная природа, так и природа мировой системы, не позволяют когда-либо вполне разрешить эту задачу. Но это противоречие не только лежит в природе обоих факторов — мира и людей, но оно же является главным рычагом всего умственного прогресса и разрешается каждодневно и постоянно в бесконечном прогрессивном развитии человечества совершенно так, как, например, математическая задача находит свое решение в бесконечном ряде или в разрыве его цепи. В действительности каждое идеальное отражение системы мира остается ограниченным объективно — историческими условиями, а субъективно — физической и духовной организацией ее автора. Но г. Дюринг заранее объявляет свой метод мышления таким, который исключает всякое субъективное ограниченное представление мира. Мы уже знаем, что он вездесущ, таинственно присутствуя даже на всех планетах. Теперь мы также видим, что он еще и всезнающ. Он разрешил последнюю задачу науки и, таким образом, загородил путь к дальнейшему развитию всякой науки.

Как и основные формы бытия, говорит г. Дюринг, так и вся чистая математика может быть выведена априорно, т.-е. без пользования опытом, который нам доставляет внешний мир, из самой головы. В чистой математике разум должен оперировать «над продуктами своего собственного свободного творчества и воображения», понятия числа и фигуры представляют «достаточный для нее и могущий создаваться ею самой объект», а поэтому она имеет «значение, независимое от частного опыта и реального содержания мира».

Что чистая математика имеет значение независимо от частного опыта каждой отдельной личности, это во всяком случае верно и применимо ко всем твердо установленным положениям всякой науки, вообще ко всяким фактам. Магнитная полярность, состав воды из водорода и кислорода, тот факт, что Гегель умер, а Дюринг жив, все это имеет значение, независимое от моего опыта или опыта других отдельных личностей, даже независимо от опыта г. Дюринга, в то время, как последний спит сном праведника. Но вовсе неверно, что в чистой математике разум оперирует только над продуктами собственного творчества и воображения. Понятия о числе и фигуре возникли не иначе, как из реального мира. Десять пальцев, на которых люди научились считать, т.-е. производить первую арифметическую операцию, представляют собой все, что угодно, только не продукт свободного творчества разума. Чтобы считать, нужно иметь не только предметы, подлежащие счету, но и способность отвлекаться, при наблюдении этих предметов, от всех прочих их свойств, кроме числа, а эта способность есть результат долгого исторического эмпирического развития. Как понятие о числе, так и понятие о фигуре заимствованы исключительно из внешнего мира, а не возникли в голове из чистого мышления. Должны были существовать вещи, имеющие определенные формы, и эти формы должны были подвергаться сравнению, прежде чем можно было дойти до понятия о фигуре. Чистая математика имеет своим объектом пространственные формы и количественные отношения реального мира, стало быть, весьма реальный материал.

То, что этот материал является в крайне абстрактной форме, может только для поверхностного взгляда скрыть его происхождение из внешнего мира. Но чтобы быть в состоянии исследовать в чистом виде эти формы и отношения, необходимо совершенно отвлечь их от их содержания, оставив это последнее в стороне, как несущественное; **таким** путем мы получаем точки, лишенные измерений, линии, не имеющие толщины и ширины, разные a и b , x и y , постоянные и переменные величины, и только в самом конце мы доходим до действительных продуктов свободного творчества и воображения нашего разума, именно до мнимых величин. Точно так же выведение математических величин, **повидимому**, друг из друга, доказывает не их априористическое происхождение, но только их рациональную взаимную связь. Прежде, чем прийти к мысли вывести формулу цилиндра из вращения прямоугольника вокруг одной из его сторон, нужно было исследовать известное количество реальных прямоугольников и цилиндров, хотя бы и в очень несовершенных формах. Как и все другие науки, математика возникла из потребности людей: из измерения земли и вместимости сосудов, из времени счисления и механики. Но, как и во всех других областях знания, на известной ступени развития абстрагированные от реального мира законы были выделены из реального мира, противопоставлены ему, как нечто самостоятельное, как извне явившиеся законы, согласно которым мир должен двигаться. Так было с обществом и государством; также точно чистая математика была впоследствии применена к миру, хотя она была заимствована из этого самого мира и представляет всего лишь часть его составных форм, и именно только поэтому вообще она к нему применима.

Г. Дюринг, полагая, что из математических аксиом («которые чисто логически не допускают обоснования и не пуждаются в нем») можно, не прибегая к какому бы то ни было опыту, вывести всю чистую математику и эту последнюю применить к миру, — воображает, что точно так же можно сначала из головы создать основные формы бытия простые составные элементы всякого знания, аксиомы философии и из них вывести всю философию или мировую схематику. Эту конституцию он милостиво пожаловал природе и человечеству. К сожалению, природа вовсе не состоит, а человечество лишь в самой ничтожной части — из Мантейфелевской Пруссии 1850 г.¹⁾

Математические аксиомы выражают крайне скудное идейное содержание, которое математика должна заимствовать у логики. Их все можно свести к двум:

1. Целое больше своей части. Это положение является чистой тавтологией, так как взятое в количественном смысле представление о части целого заранее относится определенным образом к представлению целого, именно так, что выражение «часть» означает, что количественное «целое» состоит из нескольких количественных «частей». Поскольку упомянутая аксиома точно констатирует этот факт, мы не двигаемся ни на шаг вперед. Эту тавтологию можно даже до известной степени доказать таким образом: целое есть то, что состоит из нескольких частей; часть есть нечто такое, что несколько единиц составляют целое; следовательно, часть меньше целого; при чем пустота содержания будет еще резче подчеркнута пустым повторением.

2. Если две величины порознь равны третьей, они между собой равны. Как уже доказал Гегель, это положение представляет заключение, за правильность которого ручается логика, которое, стало быть, доказуемо, хотя и вне сферы чистой математики. Прочие аксиомы о равенстве и неравенстве представляют дальнейшее развитие этого заключения.

Этими тощими положениями ни в математике, ни где-либо вообще никого не прельстишь. Чтобы пойти дальше, мы должны привлечь реальные отношения, количественные отношения и пространственные формы, которые взяты из реальных тел. Представления линий, поверхностей, углов, многоугольников, кубов, шаров и т. д., — все заимствованы из действительности, и нужна изрядная доза идеологической наивности,

¹⁾ Раздавив революцию 48 г., прусское правительство в министерство Мантейфеля пожаловало народу реакционную конституцию 50 года (Прим. перев.).

чтобы поверить математикам, что первая линия возникла от движения точки в пространстве, первое тело от движения поверхности и т. д. Уже язык восстает против этого. Математическая фигура о трех измерениях называется телом, *corpus solidum*, т.-е. полагается даже осязаемая телом, следовательно, носит название, взятое отнюдь не из свободного воображения разума, но из грубой действительности.

Но к чему все эти подробности? После того, как г. Дюринг, на стр. 42—43, вдохновенно воспеет независимость чистой математики от эмпирического мира, ее априорность, ее оперирование над продуктами свободного творчества и воображения разума, он заявляет на стр. 63: «легко проглядеть, что эти математические элементы (число, величина, время, пространство и геометрическое движение) и д е а л ь н ы т о л ь к о п о ф о р м е... абсолютные же величины, поэтому, представляют нечто весьма эмпирическое, к какой бы категории они не относились», но «математические схемы допускают отвлеченную от опыта и все-таки достаточную характеристику», что, заметим, более или менее применимо ко всякой абстракции, но вовсе не доказывает, что она не абстрагирована от действительности. Итак, в мировой схематике чистая математика вытекла из чистого мышления; в натурфилософии же она является чем-то вполне эмпирическим, взятым из внешнего мира и потом отвлеченным от него. Чему же должны мы верить?

II. Мировая схематика.

«Всеобъемлющее бытие единично. Будучи самодовлеющим, оно не допускает ничего подле себя или над собой. Поставить рядом с ним другое бытие, значило бы сделать его тем, что оно не может быть, именно сделать его частью или составным элементом обширного целого. Поскольку мы, словно в раму, вставляем внешний мир в нашу, е д и н у ю мысль, постольку ничто из того, что должно войти в это мысленное е д и н с т в о, не может сохранить за собой двойственности. Но оно также не может остаться вне этого мысленного единства... Сущность всякого мышления состоит в объединении элементов сознания в высшем единстве. Оно является объединяющим моментом, благодаря которому возникает неделимое понятие мира, и вселенная, как показывает уже само слово (*Universum*), признается чем-то таким, в чем все объединено в высшем единстве».

Так говорит г. Дюринг. Математический метод, согласно которому «всякий вопрос должен быть а к с и о м а т и ч е с к и решен в простых основных формах, как если бы речь шла о простых... положении математики»,—этот метод здесь применен впервые.

«Всеобъемлющее бытие едино». Если тавтология, т.-е. простое повторение в сказуемом того, что уже высказано в подлежащем, представляет собой аксиому, то мы имеем перед собой аксиому чистейшей воды. В подлежащем г. Дюринг сказал нам, что бытие охватывает все, в сказуемом же он затем неустрашимо утверждает, что, кроме этого всего, не существует ничего. Какая колоссальная, создающая систему, идея!

В самом деле, создающая систему! Не успели мы еще прочесть 6 строк, как г. Дюринг е д и н и ч н о с т ь бытия превращает через посредство нашей единой мысли в его е д и н с т в о (*Einheit*). Так как сущность всякого мышления заключается в соединении всего в нечто единое, то бытие, поскольку оно мыслится единым, понятие о мире, является неделимым, а следовательно, действительное бытие, действительный мир точно так же представляет неделимое единство, и тем самым «не остается уже места для заоблачного, как только ум приучается постигать бытие в его однородной всеобщности». Пред нами военный поход, перед которым Аустерлиц и Иенна, Кениггрец и Седан совершенно теряются. В каких-нибудь двух-трех положениях, на пространстве едва только о д н о й с т р а н и ц ы, с того момента, как мобилизована первая аксиома, мы уже стмнили, устранили, уничтожили все заоблачное: Бога, небесное воинство, небеса, ад и геенну огненную, вместе с бессмертием души.

Каким образом от единичности бытия мы приходим к его единству? Очень просто. Будучи вставлено, как в рамку, в нашу мысль, единичное бытие является в мысли единым, неким идеальным единством, ибо сущность всякого мышления состоит в объединении элементов сознания в высшем единстве.

Последнее положение просто неверно. Во-первых, мышление состоит точно так же в разложении объектов сознания на их элементы, как и в объединении родственных элементов в высшем единстве. Без анализа не бывает синтеза. Во-вторых, мысль, если не желает делать промахов, может объединять элементы сознания лишь в том случае, если в них, или в их реальных прообразах, уже существовало наперед это единство. Если я охватываю сапожную щетку высшим единством понятия «млекопитающее», то от этого она еще не станет давать молока. Таким образом, единство бытия, т.-е. оправдание воззрения на бытие, как на нечто единое, остается именно тем, что надо было доказать, а если г. Дюринг уверяет нас, что он представляет себе бытие единым, а не как-нибудь раздвоенным, то он этим высказывает не более, как свое субъективное мнение.

Если мы пожелаем представить ход его идей в чистом виде, то он будет таков: «Я начинаю с бытия. Итак, я представляю себе бытие. В идее бытие является единым. Но мышление и бытие должны совпадать, они соответствуют друг другу, они «взаимно покрываются», следовательно, бытие в действительности также едино. Следовательно, не существует ничего «заоблачного».

Но если бы г. Дюринг говорил откровенно, вместо того, чтобы давать нам вышеприведенные оракульские изречения, то его идеология была бы очевидна. Пытаться доказать реальность какого-либо продукта мышления из тождества мышления и бытия, — ведь, это именно одно из самых безумных проявлений горячечного бреда... какого-нибудь Гегеля.

Если бы даже все доказательство г. Дюринга было верно, он все-таки не отвоевал бы ни дюйма почвы у спиритуалистов. Последние ответят ему коротко: для нас мир неразложим; распадение мира на земной и заоблачный существует только для нашей специфически земной, порожденной наследственным грехом, точки зрения; само в себе и для себя, т.-е. в Боге, все бытие является единым. И они последуют за г. Дюрингом на его излюбленные другие планеты и покажут ему одну или несколько, где не было грехопадения, и где, стало быть, нет и противоречия между этим и тем миром и где единство мира является требованием веры.

Самое комичное во всем этом то, что г. Дюринг, чтобы из понятия бытия вывести отрицание идеи божества, применяет онтологическое доказательство бытия Божия. Последнее гласит: когда мы мыслим Бога, мы Его мыслим, как совокупность всех совершенств. Но к последним прежде всего принадлежит безусловное существование, ибо существо не безусловно суице по необходимости является несовершенным. Стало быть, мы в число совершенств Бога должны включить его безусловное бытие. Точь в точь как рассуждает и г. Дюринг: когда мы мыслим бытие, мы его мыслим, как единое понятие. То, что охватывается единым понятием, — само едино. Следовательно, бытие не соответствовало бы своему понятию, если б не было едино. Следовательно, оно должно быть единым, следовательно, нет существа, стоящего над миром, т.-е. Бога и т. д.

Если мы говорим о бытии, и только о бытии, то единство может заключаться лишь в том, что все предметы, о которых идет речь, действительно существуют. В единстве этого существования — и ни в каком другом — они объединяются мыслью, и общее выражение того, что все они существуют, не только не может придать им никаких иных общих или необщих свойств, но и временно исключает из наблюдения все такие свойства. Ибо, как только мы от того основного факта, что для всех этих вещей общим является бытие, удалимся хотя бы на миллиметр, тотчас же перед нашим взором выступают различия в этих вещах, и состоят ли эти различия в том, что одни вещи белы, другие черны, одни одушевлены, другие неодушевлены, или хотя бы одни отягосились к миру земному, другие к заоблачному, — обо всем этом мы не можем сделать

вывода из того только, что им всем равномерно приписывается одно лишь свойство бытия.

Единство мира заключается не в его бытии, хотя его бытие и является предпосылкой этого единства, так как, конечно, он должен сначала существовать, прежде чем может стать единым. Действительное единство мира заключается в его материальности, а последнее выясняется не посредством нескольких легких фраз, но лишь долгим и медленным развитием философии и естествознания.

Пойдем далее. Бытие, о котором с нами беседовал г. Дюринг, есть «не то чистое бытие, которое, будучи само себе равно, должно быть лишено всяких других определений, и в действительности представляет собой лишь отражение не-мышления (Das Gedankenichts) или отсутствие мышления». Однако, мы очень скоро увидим, что мир г. Дюринга во всяком случае начинается с бытия, которое лишено всякого внутреннего различия, всякого движения и изменения и в действительности является только отражением не-мышления, стало-быть, представляет действительное ничто. Только из этого небытия развивается современное дифференцированное состояние мира, полное изменений, представляющее развитие, «становление» (das Werden); и лишь после того, как мы его поймем, оказывается возможным установить «понятие универсального, само себе равного бытия». Таким образом, мы теперь имеем понятие бытия на высшей ступени, на которой оно включает в себя, как постоянство, так и изменение, как бытие, так и становление. Дойдя до этого, мы находим, что «род и вид—вообще общее и частное—являются простейшими средствами различения, без которых нельзя понять организации вещей». Но это средство различения качества; после того, как мы их обсудили, мы идем далее: «на ряду с родами стоит понятие величины, как чего-то однородного, в чем уже не заключается никаких антагонистических различий», т.-е. от качества мы переходим к количеству, а последнее всегда «измеримо».

Сравним же теперь «эти строго очерченные схемы, имеющие всеобщее применение» и их «истинно критическую точку зрения» с нелепостями, пустопорожними местами и горячечным бредом какого-нибудь Гегеля. Мы найдем, что гегелевская логика начинается с бытия, как и г. Дюринг; что бытие оказывается ничем, как и у г. Дюринга; что из этого не-бытия мы переходим к становлению, результатом которого является высшее бытие (Dasein), т.-е. высшая более полная форма бытия—совсем, как у г. Дюринга. Высшее бытие приводит к качеству, качество к количеству, совсем, как у г. Дюринга. И чтобы не было недостатка ни в одном важном элементе, г. Дюринг нам рассказывает по другому поводу: «из сферы нечувствительности в сферу ощущений переход совершается без всякой количественной постепенности, посредством качественного скачка, о котором мы... можем утверждать, что он бесконечно отличается от простой градации одного и того же свойства». Это как раз и есть гегелевская узловатая линия количественных отношений, в которых чисто количественные повышения или понижения производят на определенных узловых пунктах качественный скачок, например, при нагревании или охлаждении воды, где точка кипения и точка замерзания является теми узловыми пунктами, в которых (при нормальном давлении) совершается скачок в новое агрегатное состояние, стало быть, количество переходит в качество.

Наше исследование также пыталось дойти до корня вещей, и в корне основательных дюринговых основных схем оно находит «горячечный бред» какого-нибудь Гегеля,—категории гегелевской логики (первая часть учения о бытии) в строгой старогегелевской «последовательности» и с едва наброшенным покровом плагиата!

И недовольный тем, что заимствовал у своего, как нельзя лучше оклеветанного, предшественника всю его схему бытия, г. Дюринг, после того как дал вышеприведенный пример скачкообразного перехода количества в качество, хладнокровно заявляет о Марксе: «как комично покажется, например, ссылка (Маркса) на путанное туманное представление о том, что количество превращается в качество».

Путанное, туманное представление! Кто здесь «превращается» и кто оказывается комичным, г-н Дюринг?

Итак, все эти прекрасные вещицы не только не «получены аксиоматически», как следовало бы по правилу, но просто привнесены извне, т.-е. из логики Гегеля. Да еще так, что во всей главе не разу не встречается хотя бы тени внутренней связи, которая не была бы заимствована у Гегеля, и все, в конце концов, завершается бессодержательной болтовней по вопросу о пространстве и времени, о постоянстве и изменчивости.

От бытия Гегель переходит к сущности (Wesen), к диалектике. Здесь он рассматривает рефлексивные определения, их внутренние противоположности и противоречия, как, например, положительное и отрицательное; затем он переходит к причинам, или к отношению причины и следствия, и заканчивает необходимостью. Не иначе и у г. Дюринга.

То, что Гегель называет учением о сущности, г. Дюринг переименовал в «логические свойства бытия». Последняя же прежде всего заключается в «антагонизме сил», в противоположностях; напротив того, противоречие г. Дюринг радикально отрицает. Далее, он переходит к причинности, а от нея к необходимости. Если, следовательно, г. Дюринг о себе говорит: «мы, которые не философствуем, сидя в клетке», то, конечно, это надо понимать так, что не он сам, а его философская мысль заключена в клетке, именно в клетке гегелевского схематизма категорий.

III. Натурфилософия. Время и пространство.

Перейдем теперь к натурфилософии. Здесь г. Дюринг опять имеет полное основание быть недовольным своими предшественниками. Натурфилософия «пала так низко, что превратилась в пустую лжепоэзию, покоящуюся на невежестве», и «стала уделом протитуйрующей философистики (Philosophasterei) разных Шеллингов и им подобных субъектов, роющихся в святилище абсолюта и мистифицирующих публику». Они, к счастью, утомили всех, и это спасает от их «безобразия, но зато на их место явились писатели, отличающиеся своей «невыдержанностью». «Затем, что касается широкой публики, то, как известно, для нее крушение более крупного шарлатана весьма часто служит поводом для популярности более мелкого, но более практичного приемника, повторяющего сказания первого, но под другой вывеской». Даже естествоиспытатели проявляют мало «склонности к экскурсиям в область охватывающих вселенную идей», а потому на поприще теории высказывают только «разрозненные скороспелые выводы». Одним словом, здесь настоятельно необходимо спасти дело, и, к счастью, г. Дюринг стоит во всеоружии на своем посту.

Чтобы правильно оценить следующие за сим рассуждения о развитии мира во времени и о его ограниченности в пространстве, мы должны вновь обратиться к некоторым местам «мировой схематики».

Бытию, опять-таки в согласии с Гегелем (Энциклопедия, § 93), приписывается бесконечность,—то, что Гегель называл «злой бесконечностью» (Schlechte Unendlichkeit),—которая затем исследуется. «Наиболее ясным выражением бесконечности, мыслимой без противоречий, является неограниченное возрастание чисел в числовом ряде... Как к каждому числу мы можем прибавить еще одну единицу, не исчерпывая никогда возможности дальнейшего счисления, так и к каждому состоянию бытия примыкает следующее состояние, и в неограниченном образовании этих состояний и заключается бесконечность. Эта точно продуманная бесконечность допускает, поэтому, всего лишь одну единственную основную форму и одно единственное направление. Если, с одной стороны, для нашего мышления совершенно безразлично представить ряд изменяющихся состояний и в противоположном направлении, то, с другой стороны, представление о такой, идущей назад, бесконечности может явиться только результатом скороспелого мышления. В самом деле, этот ряд бесконечности

должен был бы в действительности проходить в о б р а т н о м направлении и в момент каждого отдельного состояния имел бы позади себя бесконечный ряд чисел, но, очевидно, тогда мы получили бы недопустимое противоречие пересчитанного бесконечного ряда чисел. Таким образом, оказывается бессмысленным предположить второе направление бесконечности».

Первое следствие, которое выводится из этого воззрения на бесконечность, есть то, что спеление причин и следствий в мире должно было, в качестве своей отправной точки, иметь некогда свое начало: «бесконечное число причин, примыкающих одна к другой, немыслимо уже по тому, что оно предполагает бесконечное количество сосчитанных». Стало быть, доказано существование конечной причины.

Второе следствие—«закон определенного количества»: «умножение тождественных элементов какого-либо реального вида самостоятельных величин мыслимо только в виде образования определенного числа». Определенным должно быть в каждый данный момент не только наличное число мировых тел, но и совокупность всех существующих в мире малейших самостоятельных материальных частиц. Последняя необходимость есть истинное основание, почему ни одно соединение не может быть представлено без атомов. Всякая реальная делимость всегда обладает конечной определенностью и должна ею обладать, ибо иначе является противоречие сосчитанного бесконечного числа. Не только, по той же причине, число уже сделанных землей оборотов вокруг солнца должно быть определенным, хотя и невычисленным, но и все периодические естественные процессы должны иметь когда-либо в прошлом начало, и всякая дифференциация, всякая смена форм в природе, должна иметь исходный пункт в само себе равном состоянии. Последнее может без противоречия мыслиться существовавшим вечно, но и это представление станет невозможным, если принять, что время само по себе состоит из реальных частей, а не просто разделяется по произволу нашим разумом путем известного мысленного процесса. Другое дело—с реальным и по существу неоднородным содержанием времени, это действительное заполнение времени различными фактами, и формы существования этой сферы принадлежат, благодаря своей различности, к численно измеримому. Если мы представим себе такое состояние, которое не знает изменений и в своем саморавенстве не представляет никаких различий в следовании, то и специально понятие о времени превратится во всеобщую идею бытия.

Что должно означать накопление лишнего содержания времени, этого нельзя себе представить.—Так говорит г. Дюринг, и он не мало кичится важностью этих открытий. Сначала он выражает надежду, что их «признают, по меньшей мере, не маловажной истиной», впоследствии же говорится: «напомним о тех б р а й н е п р о с т ы х приемах, посредством которых мы доставили понятие бесконечности и¹⁾ его критике значение доселе неведомое... Так просто выработаны современным глубоким и ясным исследованием элементы универсального понимания пространства и времени».

Мы доставили! Современные ясные и глубокие исследования! Кто же эти мы, и когда разыгрывается эта современность? Кто глубоко исследовал и выяснил?

«Тезис. Вселенная имеет начало во времени и пространственно заключена в границы.—Доказательство:—допустим что мир не имеет начала во времени; в таком случае до каждого данного момента должна была прийти вечность, а вместе с тем во вселенной должен был бы протечь бесконечный ряд следующих одно за другим состояний вещей. Но бесконечность известного ряда в том и состоит, что он никогда не может быть закончен путем последовательного н а р о с т а н и я. Следовательно, бесконечный во времени ряд состояний вселенной невозможен, а вместе с тем допущение пачала вселенной является необходимым условием ее существования, что и требовалось доказать прежде всего.—Относительно второго пункта допустим опять противоположное ¹⁾: тогда вселенная окажется бесконечной по величине суммой одновременно суще-

¹⁾ Т.-е. пространственную неограниченность (прим. переводч.).

ствующих вещей. Между тем, величину какого-либо количества, которое выходит за пределы наглядно определяемого, мы не можем представить никаким иным способом, как путем сложения частей, и сумму такого количества, только как результат законченного сложения, или путем повторного прибавления к единице новой единицы. Поэтому, чтобы представить мир, заполняющий все пространство, как целое, следовало бы принять последовательное сложение частей бесконечной вселенной законченным, т.-е. принять, что бесконечное время, в течение которого пересчитаны все существующие вещи, в известный момент миновало,—что невозможно. Поэтому, бесконечный агрегат действительных вещей нельзя рассматривать, как данное целое, а, следовательно, и как нечто, одновременно существующее. Следовательно, мир пространственно не бесконечен, но заключен в известные границы, что и требовалось доказать, во-вторых».

Эти положения буквально выписаны из довольно известной книги, впервые появившейся в 1781 г. и озаглавленной «Критика чистого разума» Эммануила Канта, где каждый может их прочесть в I части 2 отд. 2 кн. 2-й главе § 2-й: Первая антиномия чистого разума. Г. Дюрингу же принадлежит только та слава, что он к мысли, выраженной Кантом, приклеил титул «закон определенного количества» и открыл, что было такое время, когда еще не было времени, хотя уже существовал мир. Для всего же прочего, т.-е. для всего, что в рассуждениях г. Дюринга еще имеет какой-либо смысл, «мы»—это Эммануил Кант; что же касается современности, о которой упоминает автор, то ей, слава Богу, насчитывается уже более 95 лет. Во всяком случае «крайне просто»! Замечательное, «доселе неведомое значение»!

Между тем, Кант вовсе не говорит, что вышеприведенные положения доказаны его доводами. Напротив, на следующей же странице он утверждает и доказывает противоположное: что мир не имеет никакого начала во времени и конца в пространстве. Таким образом он и устанавливает антиномию, неразрешимое противоречие, показывая, что первое из этих положений так же доказуемо, как и другое. Люди меньшего калибра, быть может, несколько призадумались бы над поставленным вопросом, в виду того, что «какой-нибудь Кант» встретил в нем неразрешимую трудность. Не таков наш смелый г. Дюринг «в основе своих оригинальных выводов и воззрений»: то, что ему может быть полезно из антиномии Канта, он неумоимо списывает, а остальное просто отбрасывает в сторону...

Между тем вопрос разрешается очень просто. Вечность во времени и бесконечность в пространстве уже a priori и по самому смыслу этих слов не могут иметь конца ни с какой стороны, ни спереди, ни сзади, ни слева, ни справа. Эта бесконечность совершенно не того рода, с которою мы имеем дело в бесконечном ряде чисел, ибо последний прямо начинается с единицы, с первого члена. Неприменимость представления о ряде чисел обнаруживается особенно резко при рассмотрении вопроса о пространстве. Бесконечный ряд, в переводе на язык пространства, означает линию, протяжимую на бесконечное расстояние, от известной точки в известном направлении. Можно ли таким способом, хотя приблизительно, выразить бесконечность пространства? Напротив, только шесть линий, проведенных из одной точки в трех противоположных направлениях, могут измерить пространство, при чем получилось бы шесть измерений. Кант хорошо понимал это и поэтому только косвенным путем переносил числовой ряд на представление о пространственности вселенной. Дюринг же принуждает нас к принятию шести измерений в пространстве и, тотчас же, вслед за тем, не находит слов для выражения своего негодования по поводу математического мистицизма Гаусса, который не хотел довольствоваться тремя обычными измерениями пространства.

В применении ко времени, бесконечная линия, продолженная в обе стороны, или бесконечный ряд единиц имеют только известный смысл картинного изображения. Но если мы представляем себе время, как ряд, начинающийся с единицы, или как линию, выходящую из определенной точки, то мы тем самым a priori говорим, что время имеет начало: мы предлагаем как раз то, что должны доказать. Но этим самым мы при-
даем беспечности времени односторонний, половинчатый характер; односторонняя же

шоловинчатая бесконечность есть само по себе противоречащее представление—нечто, как раз противоположное «бесконечности, мыслимой без противоречий». Избежать такого противоречия невозможно, не приняв, что та единица, которой мы начинаем числовой ряд, та точка, от которой мы измеряем линию, являются любой единицей в ряде, любой точкой в линии, так что для линии или ряда безразлично, где мы отметим начальный пункт.

Ну, а противоречие «сосчитанного бесконечного числового ряда»? Его мы сможем исследовать ближе в том случае, если только г. Дюринг сам проделает свой фокус, т.-е. сосчитает этот бесконечный ряд. Когда он закончит свой счет от— ∞ (минус бесконечность) до нуля, тогда он может вернуться к нам. Очевидно, что откуда бы он ни начал свой счет, он ставит за собой бесконечный ряд, а вместе с ним и ту задачу, которую ему надо решить. Пусть он повернет свой собственный бесконечный ряд $1+2+3+4...$ и попытается вновь пересчитать от бесконечного конца назад до единицы; очевидно, это попытка человека, который вовсе не видит, в чем суть дела. Более того. Если г. Дюринг утверждает, что бесконечный ряд минувшего времени сосчитан, то он тем самым утверждает, что время имеет начало, ибо иначе он не мог бы начать «сосчитывать». Он, стало быть, опять предполагает именно то, что должен доказать. Представление сосчитанного бесконечного ряда, другими словами, охватывающий вселенную Дюрингов закон определенного числа есть *contradictio in adjecto*, содержит в себе самое противоречие, и даже абсурдное противоречие.

Ясно, что бесконечность, имеющая конец, но не имеющая начала, не более и не менее бесконечна, чем та, которая имеет начало, но не имеет конца. Малейшая диалектическая пропигательность должна была бы подсказать г. Дюрингу, что конец и начало необходимо совпадают, как северный и южный полюс, и что в бесконечном ряде начало именно и представляет конец—единственный конечный пункт в данном ряде. Вся иллюзия была бы немыслима без математической привычки опиривать над бесконечными рядами. Так как в математике приходится исходить из определенного конечного, чтобы прийти к неопределенному бесконечному, то все математические ряды, положительные и отрицательные, должно начинать с единицы, иначе с ними оперировать невозможно. Но идеальная потребность математики не может стать принудительным законом для реального мира.

Впрочем, г. Дюринг никогда не сумеет представить себе действительную бесконечность без противоречий. Бесконечность есть противоречие и полна противоречий. Противоречием является уже то, что бесконечность составлена из одних только конечных величин, а между тем, это именно так. Допущение ограниченности материального мира приводит к немалым противоречиям, чем допущение бесграничности, и всякая попытка устранить это противоречие ведет, как мы видели, к новым и худшим противоречиям. Именно по тому, что бесконечность есть противоречие, она представляет собой бесконечный, во времени и пространстве беспрестанно развертывающийся, процесс. Прекращение этого противоречия было бы концом бесконечности. Это уже совершенно правильно понимал Гегель, почему и трактовал с заслуженным презрением о господах, которые копаются в этом противоречии.

Пойдем далее. Итак, время имело начало. Но что было до этого начала? Мир, находившийся в состоянии само себе равном, неизменном. И так как в этом состоянии не происходит никаких последовательных изменений, то более частное понятие времени преобразуется в более общую идею бытия. Во-первых, нам вовсе нет дела здесь до того, какие понятия преобразуются в голове г. Дюринга. Речь идет не о п о н я т и я х в р е м е н и, но о действительном времени, от которого г. Дюрингу не откупиться столь дешевой ценой. Во-вторых, пусть даже понятие времени превратится в более общую идею бытия, однако, от этого мы не подвинемся ни на шаг далее, ибо основные формы всякого бытия суть пространство и время, и бытие вне времени представляет столь же великий абсурд, как и бытие вне пространства. Гегелевское «бытие, протекавшее вне времени» и ново-шеллинговское «бытие, не поддающееся представлению» (*unvorgeden-*

klische Sein) — суть рациональные представления, по сравнению с бытием вне времени. Поэтому и г. Дюринг приступает очень осторожно к делу: собственно, это время, не такое время, которое нельзя назвать временем, ибо ведь время не состоит само по себе из реальных частей и лишь по произволу разделяется нашим разумом; только действительное наполнение времени различными событиями отнесется к численно измеримому; а что должно означать накопление лишнего содержания времени, это вовсе нельзя себе представить. Что должно означать это накопление, для нас все равно; спрашивается только, длится ли мир в предположенном здесь состоянии, испытывает ли он продолжительность во времени? Что, измеряя подобное лишнее содержание времени, мы ничего не получим, как и измеряя бесплодно и беспечно пустое пространство, это мы знаем давно, и Гегель, именно вследствие скучного характера этой работы, называет эту бесконечность зл о ю. По мнению г. Дюринга, время существует только благодаря изменениям, а не изменения существуют во времени и через посредство его. Но ведь именно потому, что время отлично, независимо от изменений, его можно измерять посредством изменений, ибо для измерения всегда требуется нечто отличное от того, что подлежит измерению. Затем, время, в течение которого не происходит никаких удобопознаваемых изменений, далеко от того, чтобы не быть вовсе временем; напротив, это чистое, не ослабленное никакими чуждыми элементами, следовательно, истинное время, время к а к т а к о в о е. Действительно, если мы хотим представить понятие времени во всей его чистоте, отвлекая его от всех чуждых и посторонних элементов, то мы вынуждены оставить в стороне, как сюда не относящиеся, все различные события, которые происходят во времени в процессе существования и взаимного следования, и, таким образом, представить себе время, в котором не происходит ничего. Отделяя, таким образом, понятие о времени от общей идеи бытия, мы приходим к чистому понятию времени.

Однако, все отмеченные выше противоречия и несообразности еще представляют детскую забаву по сравнению с той путаницей, в которую впадает г. Дюринг со своим «само себе равным первоначальным состоянием мира». Если мир был некогда в таком состоянии, в котором не происходило абсолютно никаких изменений, то как он мог перейти из этого состояния к состоянию изменений? Нечто, абсолютно не испытывающее изменений, к тому же еще от века пребывающее в таком состоянии, не может ни в каком случае само собой выйти из этого состояния и перейти в состояние движения и изменения. Стало быть, извне, из надмирной сферы должен был прийти первый толчок, который привел мир в движение. Но «первый толчок» есть, как известно, только особое выражение для идеи Бога. Бог и заоблачный мир, — эти понятия, которые г. Дюринг отверг на словах в мировой схематике, теперь после «выяснения и углубления», он сам водворяет в натурфилософию.

Далее, г. Дюринг говорит: «где известная величина относится к постоянному элементу бытия, она останется неизменной в своей определенности. Это имеет силу... для материи и механической энергии». Заметим мимоходом, первое положение дает драгоценный пример аксиоматически-тавтологического красноречия г. Дюринга: «где известная причина не изменяется, она остается той же самой». Итак, масса механической силы, которая однажды была в мире, вечно остается той же самой. Не касаясь вопроса о том, насколько это верно, заметим, прежде всего, что это положение было сознано и высказано уже Декартом, почти 200 лет тому назад, и что в естествознании уже 20 лет возятся с учением о сохранении энергии. Дюринг, ограничив свое исследование механической силой, не сказал ничего нового. Но где же была механическая сила во время неизменного состояния мира? На этот вопрос г. Дюринг отказывается дать какой-либо ответ.

Но, спрашивается все-таки, где была, во время первоначального состояния мира, остающаяся всегда себе равной механическая энергия, и что она приводила в движение? Ответ: «начальное состояние вселенной или, точнее, неизменного бытия материи, не заключающего в себе никакого накопления во времени изменений, — это положение

может отвергать лишь такой ум, который видит верх мудрости в умышленном изуродовании своей творческой силы». Стало быть: либо примите без рассуждений мое неизменное начальное состояние либо я, способный к творчеству, Евгений Дюринг, объявляю вас духовными скопцами. Это, конечно, может кое-кого спугнуть. Мы же, уже знающие несколько образов творческой силы г. Дюринга, позволим себе, оставив пока изящное ругательство г. Дюринга без возражения, снова спросить: но, г. Дюринг, с вашего позволения, как обстоит дело с механической энергией?

Г. Дюринг тотчас же запутывается. Действительно, занимается он, «абсолютное тождество этого первоначального предельного состояния само по себе не доставляет никакого принципа перехода» (к состоянию изменяемости — перевод.). Вспомним, однако, что в сущности также бывает с каждым весьма малым новым членом в хорошо известной нам цепи бытия (Daseinskette). Поэтому тот, кто хочет найти затруднения в данном случае, должен не отделиваться от них в случаях менее очевидных. Сверх того, возможно представить ряд постепенно нисходящих промежуточных состояний, а вместе с тем и тот мост непрерывности (die Brücke der Stetigkeit), по которому, идя назад, мы дойдем до полного прекращения изменяемости. Правда, чисто идеально, эта непрерывность не устраняет главного вопроса, но она является для нас основной формой всякой закономерности и каждого вообще известного перехода, так что мы имеем право пользоваться ею в этом случае, как посредствующим моментом между упомянутым первоначальным равновесием и его нарушением. Если же мы представим себе это, так сказать (!), неподвижное равновесие, руководясь понятиями, которые допускаются без особенных колебаний (!) в современной механике, то вовсе нельзя было бы объяснить себе, как материя может дойти до состояния изменчивости». Но кроме механики масс существует еще превращение движения масс в движение мельчайших частиц, но как это последнее происходит, «для понимания этого мы до сих пор не имеем в своем распоряжении никакого общего принципа и не должны поэтому удивляться, если эти явления до известной степени теряются в области темного (ins dunkle)». Вот и все, что отвечает нам г. Дюринг на поставленный вопрос.

Если бы мы видели верх мудрости не только в умышленном изуродовании своей творческой силы, но и в слепой вере угольщика, тогда, может быть, мы бы позволили провести себя этими истинно жалкими, пустыми, увертливыми фразами. Но, ведь, сам г. Дюринг признает, что абсолютное тождество не может само собою прийти к изменяемости. Но если нет средств, с помощью которых абсолютное равновесие само могло бы самостоятельно прийти в движение, то что же в таком случае происходит? Три ложных пустых изворота.

Во-первых, «столь же трудно установить переход от каждого малейшего члена хорошо известной нам цепи бытия к следующему», — говорит г. Дюринг, считая, повидимому, своих читателей младенцами. Как известно, установление отдельных переходов и связей мельчайших членов в цепи бытия составляет содержание естествознания, и если при этом кое-где дело не ладится, то никто, кроме г. Дюринга, не думает о том, чтобы объяснить проявившееся движение из «ничего», но всегда, напротив, предполагается, что это движение является результатом пробразования и дальнейшего развития прежде имевшегося движения. У Дюринга же речь идет именно о том, чтобы показать возникновение движения из неподвижности, т.-е. из ничего.

Во-вторых, мы имеем «мост непрерывности». Правда, он чисто идеально не устраняет затруднения, но все же нам дают право пользоваться им, как посредствующим звеном между неподвижностью и движением. К сожалению, непрерывность неподвижности состоит в том, чтобы не двигаться; поэтому вопрос, каким образом вывести из нее движение, становится постройкой «моста непрерывности» еще более таинственным, чем когда-либо. И как бы г. Дюринг свой переход от полной неподвижности ко всеобщему движению ни разлагал на бесконечно малые частицы, и какую бы долгую продолжительность этому ни приписывал, все же мы не двинемся в данном вопросе с места и на одну сотую миллиметра. От ничего «мы никак не можем перейти

к нечто» без акта творения, хотя бы, это «нечто» было не более «математического дифференциала». Таким образом, мост непрерывности не обеспечивает даже нам почетного отступления; он доступен только для г. Дюринга.

В-третьих, поскольку имеют значение законы современной механики (а она, по г. Дюрингу, является одним из важнейших рычагов для образования мышления), нельзя вовсе объяснить, каким образом совершается переход от неподвижности к движению. Механическая теория теплоты показывает нам, что движение масс, при известных обстоятельствах, превращается в молекулярное движение (хотя и в этом случае движение возникает из другого движения, но никогда из неподвижности), и это, как робко замечает г. Дюринг, быть может, могло бы образовать мост между строго статическим (находящимся в равновесии) и динамическим (движущимся) состояниями вещества. Но эти явления «до известной степени теряются в области темного». И, действительно, г. Дюринг нас оставляет в темноте.

При всем углублении и уяснении мы пришли к тому положению, что, все глубже и глубже погружаясь в несомненный абсурд, наконец, причалили туда, куда необходимо должны были причалить, — «в область темного». Это, однако, мало смущает г. Дюринга. Уже на следующей странице он имеет дерзость утверждать, что ему «удалось наполнить реальным содержанием понятие само себе равного состояния непосредственно из условий самой материи и механических сил». И этот человек называет других людей шарлатанами!

Г. Дюринг, заставляя нас блуждать в темноте, в конце-концов, все-таки, как бы в награду, дарует нам утешение, которое во всяком случае возвышает дух: «математика обитателей других планет не может основываться ни на каких других аксиомах, кроме наших».

IV. Натурфилософия. Космогония. Физика. Химия.

В дальнейшем изложении мы переходим к учению о том, каким образом возник нынешний мир. Как говорит Дюринг, состояние всеобщего рассеяния материи было уже исходным представлением ионийской философии; затем, особенно со времени Канта, стало играть новую роль допущения первоначального туманного состояния, при чем притяжение и тепловое лучеиспускание являлись средствами постепенного образования отдельных твердых мировых тел. Современная механическая теория теплоты позволяет придать гораздо более определенный характер выводам о прежних состояниях вселенной. При всем том «газообразное состояние рассеяния может лишь в том случае быть исходным пунктом для серьезных выводов, если возможно определеннее характеризовать данную в нем механическую систему. В противном случае, не только идея остается действительно туманной, но и первоначальный туман, по мере дальнейших выводов, становится все более густым и непроницаемым... пока еще все остается в смутном и бесформенном состоянии диффузии, не допускающей более точного определения», и, таким образом, мы имеем «в этой газообразной вселенной только весьма воздушную концепцию».

Кантова теория возникновения всех теперешних мировых тел из вращающихся туманных масс было величайшим шагом вперед, который сделала астрономия со времен Коперника. Впервые было поколеблено представление о том, что природа не имеет никакой истории во времени. До тех пор мировые тела признавались пребывавшими с самого начала всегда в одних и тех же орбитах и в тех же состояниях. И если даже на отдельных планетах органические неделимые умпрали, то сами роды и виды их считались неизменными. Было, конечно, очевидно, что природа находится в постоянном движении, но это движение представлялось, как непрерывное повторение одних и тех же процессов. В этом представлении, вполне соответствовавшем метафизическому образу мышления, Кант пробил первую брешь и притом настолько научным способом, что большинство из употребленных им доказательств сохраняет свою силу и

появляющиеся. Впрочем, теория Канта и до сих пор еще является, строго говоря, гипотезой. Но и Коперникова система мира также доныне остается гипотезой. После же того, как существование раскаленных газовых масс на звездном небе было доказано спектроскопом с убедительностью, разбивающей всякие возражения, замолкла и научная оппозиция против теории Канта. И г. Дюринг также, очевидно, не может понять возникновения мира, не прибегая к стадии его туманного состояния. Но эту необходимость он сопровождает требованием, чтобы ему показали в этом состоянии известную механическую систему, а так как это невыполнимо, то он бичует теорию туманного состояния всевозможными дешевыми эпитетами. Но если современная наука не может охарактеризовать эту систему так, чтобы вполне удовлетворить г. Дюринга, то так же мало он может ответить и на многие другие вопросы. На вопрос, почему жаба не имеет хвоста, — она доселе может лишь сказать: она его утратила. Если же есть у кого-нибудь охота погорячиться по поводу такого ответа, то можно, пожалуй, заметить, что вопрос о жабе все-таки остается в сфере смутного и бесформенного состояния идеи утраты, не поддающейся более точному определению, или что это крайне воздушная концепция, но от подобных применений морали к естествознанию ничего нельзя выиграть. Нелюбезные словечки и изъятия недовольствия можно выражать всегда и повсюду, и именно потому они никогда и нигде неуместны. И кто, наконец, мешает г. Дюрингу самому изыскать механическую систему первоначального туманного состояния?

Далее, г. Дюринг заявляет, что Кантова туманная масса «далеко не совпадает с вполне тождественным состоянием мировой среды или, выражаясь иначе, с само себе равным состоянием материи». Но, ведь, в этом-то именно и заключается великая заслуга Канта, что он нашел путь для перехода от неизменных мировых тел к туманному шару, не позволяя себе мечтать о само себе равном состоянии материи! Заметим мимоходом, что если в современном естествознании туманный шар Канта обозначается словом «первоначальное туманное состояние», то это, само собой разумеется, надо понимать лишь относительно. Первоначальным это состояние является, с одной стороны, как такое, от которого произошли существующие мировые тела, а с другой стороны, как наиболее ранняя форма материи, к которой она сохраняет способность возвращаться и теперь, — что отнюдь не исключает, а, напротив, предполагает мысль о том, что материя и до «первоначального туманного состояния» проходила бесконечный ряд других форм.

Г. Дюринг упорно отстаивает преимущество своей гипотезы; там, где мы, вместе с общепризнанной наукой, пока останавливаемся на преходящем состоянии туманных масс, ему его «наука наук» помогает проникнуть гораздо далее, в глубь времен, в период «состояния мировой среды, которое нельзя понимать ни как чисто статическое, в современном смысле этого представления, ни как чисто динамическое» (т.-е. вообще никак нельзя понять. — Ф. Э.). «Единство материи и механической силы, которое мы называем мировой средой, есть, так сказать, логически реальная формула, нужная для того, чтобы обозначить само себе равное состояние материи, как предпосылку всех исчисляемых стадий развития».

Мы, очевидно, еще долго не разделаемся с само себе равным первоначальным состоянием материи. Здесь оно называется единством материи и механической силы, а это последнее — логически реальной формулой и т. д. Как только, таким образом, прекращается единство материи и механической силы, начинается движение.

Эта логически реальная формула представляет не что иное, как слабую попытку воспользоваться для философии действительности гегелевскими категориями *an sich* (само по себе) и *für sich* (для себя). У Гегеля в «*an sich*» заключается первоначальное тождество «неразвитых противоречий, скрытых в какой-либо вещи, в каком-либо процессе или понятии»; в *für sich* выступает различие и обособление этих скрытых элементов и начинается их взаимная борьба. Мы, стало-быть, должны представить себе первоначальное неподвижное состояние в виде единства материи и силы,

а переход к движению — в виде отделения и противопоставления того и другого. Но этим не доказывается реальность фантастического первоначального состояния, но только то, что его можно подвести под гегелевскую категорию «an sich», а столь же фантастическое прекращение этого состояния — под категорию «für sich». Помогай, Гегель!

Материя, — говорит г. Дюринг, — есть носительница всего действительного, почему и не может существовать никакой механической силы вне материи. Механическая сила, далее, есть состояние материи. В первоначальном состоянии, когда ничего не происходило, материя и ее состояние, т.е. механическая сила, составляли единое. Следовательно, потом, когда начало нечто совершаться, состояние должно было отличаться от материи. Итак, мы должны довольствоваться подобными мистическими фразами, уверением, что само себе равное состояние не есть ни статическое, ни динамическое, ни равновесие, ни движение. Но все же мы еще не знаем, где была механическая сила в эпоху этого состояния, и как, без посредства толчка извне, т.е. без Бога, мы должны перейти от абсолютной неподвижности к движению.

Прежде г. Дюринга, о материи и о движении говорили материалисты. Г. Дюринг сводит движение механической силе, как мнимой его основной форме, и тем лишает себя возможности понять действительное соотношение между материей и движением, которое, впрочем, было неясно всем прочим материалистам. Между тем, все дело объясняется довольно просто. Движение есть форма существования материи. Никогда и нигде не было и не могло быть материи без движения. Движение в мировом пространстве, механическое движение менее значительных масс на отдельных мировых телах, колебание молекул в виде теплоты, электрического или магнитического тока, химическое разложение и соединение, органическая жизнь, — в той или другой из этих форм движения или в нескольких зараз постоянно пребывает каждый отдельный атом мирового вещества в каждый данный момент. Всякий покой, всякое равновесие только относительны, имеют смысл по отношению к той или другой определенной форме движения. Так, например, известное тело может находиться на земле в состоянии механического равновесия, т.е. механически — в состоянии покоя, но это не мешает тому, чтобы оно принимало участие в движении земли, как и в движении всей солнечной системы, а также не мешает и его мельчайшим физическим частицам испытывать обусловленные его температурой колебания или же атомом его вещества участвовать в известном химическом процессе. Материя без движения так же немыслима, как и движение без материи. Движение поэтому, точно так же нельзя создать и разрушить, как и самую материю, — мысль, которую прежняя философия (Декарт) выражала так: количество наличного в мире движения всегда одно и то же. Следовательно, движение не может быть создано, оно может быть только передано. Когда движение переходит с одного тела на другое, то, поскольку оно передается, постольку оно активно, и на него можно смотреть, как на причину движения; поскольку же оно передано, постольку оно пассивно. Это активное движение мы называем силой, пассивное — проявлением силы. Отсюда до очевидности ясно, что сила столь же велика, как и ее проявление, так как в них заключается одно и то же движение.

Таким образом, неподвижное состояние материи оказывается одним из самых пустых и нелепых представлений, чистым «горячечным бредом». Чтобы к нему прийти нужно относительное механическое равновесие, в котором может пребывать известное тело на нашей земле, представить абсолютным покоем, и затем это представление перенести на всю вселенную. Это, конечно, еще легче можно вообразить, если свести все движение к простой механической силе. Такое ограничение движения механической силой позволяет представить себе все движение в покое или в связанном состоянии, а следовательно — мгновенно находящимся в бездействии. Если только передача движения, как бывает очень часто, представляет до известной степени сложный процесс, в который входят различные промежуточные члены, то действительную пере-

дачу можно отодвинуть к любому моменту, упуская из виду последний член цепи. Так, например, остановка в момент спуска курка у заряженного ружья, когда, вследствие спуска курка, совершается передача движения посредством воспламенения пороха. Таким образом, можно себе представить, что во время неподвижного, само себе равного состояния, материя была заряжена силой; это, повидимому, г. Дюринг и разумеет (если вообще что-либо разумеет) под единством материи и механической силы. Но такое представление бессмысленно, так как переносить на всю вселенную, как на нечто абсолютное, такое состояние, которое по природе своей относительно, в котором поэтому в каждый данный момент может пробывать всегда лишь одна часть материи. Если, впрочем, мы отвлечемся от этого, все же остается еще затруднение: во-первых, как объяснить, что мир оказался заряженным, ибо ведь ружья не сами заряжаются, а во-вторых, чей палец, в таком случае, спустил курок. Можете вернуться, как вам угодно, но, под руководством Дюринга, вы всегда вернетесь вновь... к мистической руке.

От астрономии наш философ действительности переходит к механике и физике, при чем сетует, что механическая теория теплоты, в течение целого полустолетия после ее открытия, недалеко ушла от того пункта, до которого ее довел постепенно сам Роберт Майер. Сверх того, по его мнению, все учение еще очень темно: мы вынуждены «вновь припомнить, что вместе с состояниями движения материи даны и статические отношения и что эти последние не имеют никакого мерила в механической работе..; если мы прежде называли природу великой работницей и теперь строго держимся этого выражения, то мы должны еще прибавить, что само себе равное состояние и «п о к о я щ и е с я о т н о ш е н и я» не представляют собой никакой механической работы. Таким образом мы вновь не находим моста от статического к динамическому; если так называемая скрытая теплота до сих пор оставалась для теории камнем преткновения, то мы и в этом случае должны признать такой пробел, который всего менее следовало бы отрицать в применении к космическим явлениям».

Вся эта оракулоподобная болтовня опять-таки не что иное, как проявление нечистой совести автора, который очень хорошо чувствует, что в своей гипотезе образования движения из абсолютной неподвижности он безнадежно зарвался, но стыдится апеллировать к единственному средству спасения, именно — к высшей силе. Если даже в механике, включая и механику теплоты, нельзя найти моста от статического к динамическому, от равновесия к движению, то как можно обязать г. Дюринга отыскать мост от неподвижного состояния к движению вообще? Признав высшую силу, он таким образом мог бы счастливо выпутаться из беды.

В обыкновенной механике мостом от статического к динамическому является внешний толчок. Если камень весом в центнер поднят на высоту десяти метров так, чтобы он висел на этой высоте в само себе равном состоянии и в «покоящемся отношении», то можно а п е л я м и р о в а т ь к публике, состоящей из грудных ребят, если утверждают, что данное положение этого тела не выражает никакой механической работы или что его удаление от его прежнего положения не может быть измерено механической работой. Каждый встречный без труда раз'яснит г. Дюрингу, что камень не сам собой попал на веревку, и первый попавшийся учебник механики может указать ему, что если этот камень упадет с высоты, то разовьет при падении ровно столько механической силы, сколько нужно было затратить, чтобы поднять его на высоту десяти метров. Тот весьма простой факт, что камень висит, уже представляет собой механическую работу, ибо, если он будет висеть достаточно долгое время, веревка порвется, как только, вследствие химического разложения, окажется недостаточно крепкой, чтобы выдержать камень. Но к таким «простейшим основным формам», употребляя выражение г. Дюринга, можно свести все механические явления, и надо еще родиться тому инженеру, который не сумел бы провести мост от статического положения к динамическому, располагая надлежащим внешним толчком.

Впрочем, для нашего метафизика горькой пилюлей и непреодолимым препятствием является тот факт, что мерилом движения должна служить его противоположность — покой. Ведь, это явное противоречие, а всякое противоречие, по мнению г. Дюринга, есть бессмыслица. И тем не менее это факт, что висящий камень представляет определенное количество движения, которое подлежит точному измерению по весу камня и его отдаленности от поверхности земли, и что оно может быть по произволу проявлено различным образом, как, например, путем прямого падения, спуска по наклонной плоскости, вращения ворота, а также и других механических приспособлений. Для диалектического воззрения это выражение движения в его противоположности, в покое, вовсе не представляет затруднения. Для него вся эта противоположность является понятием относительным, отрицающим существование абсолютного покоя, безусловного равновесия в природе. Отдельное движение стремится к равновесию, движение же в целом постоянно нарушает равновесие. Таким образом, покой и равновесие, где они имеют место, являются результатом ограниченного движения, и само собой понятно, что это движение может быть измеряемо своим результатом, может выражаться в нем и вновь из него получаться в той или иной форме. Но г. Дюринг не может довольствоваться столь простым изложением дела. Как истинный метафизик, он сначала вырывает между движением и равновесием несуществующую в действительности зияющую пропасть и затем удивляется, что не может провести моста через эту, им самим созданную, пропасть. Он с таким же успехом мог бы сесть на своего метафизического Росинанта и погнаться за кантовскою «вещью в себе», ибо именно она, и не что другое, находится, в конце-концов, за этим недосыгаемым мостом.

Но как обстоит дело с механической теорией теплоты и связанной или скрытой теплотой, которая осталась для этой теории «камнем преткновения»?

Если путем нагревания превратить фунт льда, при температуре точки замерзания и при нормальном давлении воздуха, в фунт воды той же температуры, то исчезает масса теплоты, которой было бы достаточно, чтобы нагреть тот же фунт воды от нуля до $79,4^{\circ}$ Ц., или чтобы нагреть 79,4 ф. воды на 1° . Если далее фунт воды нагреть до точки кипения, т.-е. до 100° , и затем превратить в пар с температурой 100° , то пока вода совершенно обратится в пар, исчезает почти в семь раз большее количество теплоты, чем то, которого было бы достаточно, чтобы повысить на один градус температуру 537,2 ф. воды. Эту исчезнувшую теплоту называют связанной. Если путем охлаждения превратить пар опять в воду, или воду опять в лед, то количество теплоты, которое прежде было в связанном состоянии, вновь освобождается, т.-е. теплота становится ощущаемой и может быть измерена. Это освобождение теплоты при сгущении пара и при замерзания воды есть причина того, что пар, охлажденный 100° , то пока вода совершенно обратится в пар, исчезает почти в семь раз больше замерзания, лишь очень медленно превращается в лед. Таковы факты. Теперь спрашивается: что становится с теплотой в то время, когда она находится в связанном состоянии?

Согласно механической теории теплоты, теплота заключается в большем или меньшем (смотря по температуре и агрегатному состоянию) колебании физически мельчайших частей (молекул) тел — колебании, которое, при известных условиях, может превратиться в другую форму движения. Механическая теория тепла объясняет данный факт тем, что исчезнувшая теплота превратилась в работу. При таянии льда прекращается тесная плотная связь отдельных молекул, заменяясь более свободным соединением; при превращении воды в пар, на точке кипения возникает такое состояние, в котором отдельные молекулы не оказывают никакого заметного влияния друг на друга и, под действием теплоты, даже расходятся по разным направлениям. Очевидно, что отдельные молекулы какого-либо тела в газообразном состоянии обладают гораздо большей энергией, чем в жидком, а в жидком состоянии опять-таки большей, чем в твердом. Таким образом, связанная теплота не исчезла, она просто преобразовалась и приняла форму молекулярной упругости. Как только прекращается то

условие, под влиянием которого отдельные молекулы могут сохранить эту абсолютную или относительную свободу от взаимного сцепления, т.-е., как только температура опускается ниже 100° или ниже нуля, эта упругость исчезает, молекулы опять стремятся друг к другу с той же силой, с какой они ранее взаимно расходились, и эта сила исчезает, но лишь для того, чтобы вновь обнаружиться в виде теплоты и притом точь-в-точь того же количества теплоты, которое прежде было в связанном состоянии. Это объяснение, конечно, только гипотеза, как и вся механическая теория теплоты, поскольку никто никогда не видел молекулы (уже не говоря об ее колебаниях). Оно, поэтому, несомненно полно пробелов, как и вся еще очень недавно установленная теория, но оно, по крайней мере, может объяснить явления, не вступая нигде в противоречие с положением о том, что движение не может быть уничтожено и сотворено и это объяснение может дать отчет даже в том, где пребывает тепловая энергия во время ее преобразования. Скрытая или связанная теплота, поэтому, вовсе не является камнем преткновения для механической теории теплоты. Напротив того, эта теория впервые дает рациональное объяснение процесса, и затруднение может возникнуть разве только из того, что физики продолжают называть теплоту, превращенную в другую форму молекулярной энергии, устарелым и уже неподходящим термином «скрытой». Итак, само себе равное состояние и покоящиеся отношения твердого, жидкого или газообразного агрегатного состояния, во всяком случае, представляют механическую работу, поскольку она является мерой теплоты. Как твердая земная кора, так и вода океана представляют в своем теперешнем агрегатном состоянии совершенно определенное количество освободившейся теплоты, которой, само собой разумеется, соответствует столь же определенное количество механической силы. При переходе газообразного шара, из которого возникла земля, в состояние жидкое, а позднее, в большей своей части, — в твердое, определенное количество молекулярной энергии превращалось в теплоту и рассеивалось в мировом пространстве. Следовательно, затруднение, о котором таинственно шепчет г. Дюринг, не существует даже в применении к космическим явлениям, и если мы можем натолкнуться в этом отношении на пробелы, вытекающие из несовершенства наших познавательных средств, все же нигде не встретимся с препятствием теоретически непреодолимым. Мостом от статического к динамическому здесь является внешний толчок — охлаждение или нагревание, произведенное другими телами, которые и действуют на предмет, находящийся в равновесии. Напротив того, чем более мы углубляемся в Дюрингову натурфилософию, тем более невозможными оказываются все попытки объяснить движение из неподвижного состояния или найти мост, по которому чисто статическое положение может само по себе перейти в динамическое, т.-е. неподвижное состояние превратиться в движение.

Засим, мы на некоторое время можем, к счастью, расстаться с само себе равным состоянием. Г. Дюринг переходит к химии и, по этому случаю, раскрывает нам три закона постоянства природы (*Beharrungsgesetze*), уже добытых философией действительности, а именно:

1) Количество всей вообще материи, 2) количество простых (химических) элементов и 3) количество механической силы — все они представляют собой постоянные величины

Итак, невозможно создать и уничтожить материю, равно как и ее простые составные части, поскольку она из таких состоит, а также и движение; — эти старые хорошо известные гипотезы, изложенные крайне недостаточно, составляют единственный положительный результат натурфилософии неорганического мира г. Дюринга. Да, эти законы давно нам известны из других источников. Но вот чего мы не знали, — что это «законы постоянства», и, как таковые, они представляют «схематические свойства» системы вещей. Опять происходит на наших глазах то, что имело место и по поводу Канта: г. Дюринг заимствует у кого-нибудь всем известную истину и приписывает к ней свою этикетку, в которой оповещает, что содержимое этой истины состав-

влет: «глубоко оригинальные результаты и воззрения..., идем, создающие систему..., основательная наука».

Однако, это еще не должно приводить нас в отчаяние. Какими бы недостатками ни обладали даже самая основательная наука и самое лучшее общественное учреждение, все-таки г. Дюринг утверждает с уверенностью, что «существующее во вселенной золото должно в любой момент представлять одну и ту же массу и, как и вся вообще материя, не может быть увеличено или уменьшено». К сожалению, г. Дюринг не объясняет, что именно мы можем приобрести при помощи этого «существующего золота».

V. Натурфилософия. Органический мир.

«От механики давления и толчка до связывания ощущений и мыслей идет одна общая и единая скала промежуточных ступеней». Подобным утверждением г. Дюринг уклоняется от необходимости сказать что-либо определенное о возникновении жизни, хотя, казалось бы, от мыслителя, проследившего развитие мира вплоть до «само себе равного состояния» и чувствующего себя, как дома в таинственных сферах небесных тел,—можно было бы ожидать, что он и об этом вопросе имеет точные сведения. Кроме того, приведенное выше утверждение верно лишь наполовину, поскольку оно не дополнено выше упомянутой Гегелевой узловой линией количественных отношений. При всей постепенности, переход от одной формы движения к другой всегда остается скачком, решающим поворотом. Таков характер перехода от механики небесных тел к механике меньших масс на отдельных небесных телах, или же переход от механики масс к механике молекул, охватывающей движения, которые составляют предмет исследования собственно физики: теплота, свет, электричество, магнетизм; точно также переход от физики молекул к физике атомов — химии — опять-таки совершается посредством решительного скачка; еще более это имеет место при переходе от обыкновенного химического действия к химизму белковины, являющейся главным элементом органической жизни. Затем уже в пределах сферы жизни скачки становятся все реже и незаметнее. Итак, опять Гегеля приходится настаивать г. Дюринга.

Логический переход от неорганического к органическому миру доставляет г. Дюрингу случай установить понятие о цели (Zweck). И это опять-таки заимствованно у Гегеля, который в своей «Логике» — учении о понятии — делает переход, при посредстве телеологии, или учения о целях, от химизма к жизни.

Куда ни посмотрим, везде мы наталкиваемся у г. Дюринга на какую-нибудь Гегелевскую «нелепость», которую он сам, без всякого стеснения, выдает за неотъемлемую принадлежность его собственной основательной науки. Мы зашли бы слишком далеко, если б занялись здесь исследованием, до какой степени основательно и уместно применение представлений цели и средств к миру органическому. Во всяком случае, даже применение Гегелевской «внутренней цели», т.-е. такой цели, которая не вносится в природу намеренно сверх-естественным элементом, например, мудростью providения, но которая заключается в необходимости самого явления, — даже и такой метод приводит людей, философски не вполне воспитанных, к постоянной и бессмысленной попытке навязывать природе сознательную и намеренную деятельность. Тот же г. Дюринг, который при малейшем «спиритическом» направлении других впадает в невыразимое нравственное негодование, утверждает с уверенностью, что «влечения, по существу, созданы ради того удовлетворения, которое соединено с их игрой». Он нам рассказывает, что бедная природа «должна постоянно снова и снова приводить в порядок вещественный мир» и что, к тому же, ей не раз приходится разрешать такие задачи, «которые требуют от природы более деликатности (Subtilität), чем обыкновенно думают». Но природа не только знает, почему она создает то или другое, ей не только приходится исполнять работу домашней служанки, она не только обладает деликатностью, что уже представляет изрядное совершенство в

субъективном сознательном мышлении, — она еще имеет волю; ибо, если влечение служит для выполнения реальных естественных условий: питания, размножения и т. д., то эту дополнительную задачу «можно представить себе не прямо, но лишь косвенным образом желаемой (gewollt)». Таким образом, мы пришли к сознательно мыслящей и действующей природе, следовательно, мы стоим на «мосту», ведем, правда, не от статического к динамическому, но от пантеизма к деизму. Или, может быть, г. Дюрингу хочется заняться, в свою очередь, немного «натурфилософской полупоэзией»? Нет, это нелепимо предположить. Все, что наш философ действительно говорит в отделе, который посвящен им органической природе, заключается в выходках против этой самой натурфилософской полупоэзии, против «шарлатанства, скороспелой поверхности и, так сказать, научных мистификаций», против, «поэтических экскурсий» дарвинизма.

Прежде всего, Дарвину ставится в упрек, что он перенес теорию народонаселения Мальтуса из политической экономии в естественную науку, что он погряз в понятиях скотовладельца и что его борьба за существование — это плод ненаучной полупоэзии. Одним словом, весь дарвинизм, за исключением того, что заимствовано у Ламарка, представляет изрядную дозу зверства, направленного против человечности.

Дарвин из своих научных путешествий вынес мнение, что виды растений и животных не постоянны, но изменчивы. Чтобы развить далее эту мысль у себя дома, ему не оставалось лучшего поля для наблюдений, как искусственное разведение животных и растений. Именно в этом отношении Англия является классической страной: работы в других странах, например, в Германии, не могут дать даже приблизительного масштаба того, что достигнуто в Англии по части искусственных разведений; при этом, большая часть достигнутых успехов в этой области относится к последнему столетию, так что констатирование фактов представляет мало затруднений. По наблюдениям Дарвина, эта культура вызвала искусственно в животных и растениях одного и того же вида различия более значительные, чем те, которые имеют место у видов, всеми признанных различными. Таким образом, с одной стороны, была до известной степени доказана изменчивость видов, а с другой, — возможность существования общих предков для организмов, обладающих различными видовыми признаками. Затем, Дарвин исследовал, нельзя ли найти в самой природе такие причины, которые должны были самостоятельно вызывать в живых организмах изменения, подобные тем, которые достигаются путем искусственного размножения. Он с этой целью исследовал причины несоответствия между громадным числом создаваемых природой зародышей и незначительным количеством достигших фактической зрелости организмов. Так как каждый зародыш стремится к развитию, то необходимо возникает борьба за существование, которая проявляется не только в виде непосредственной физической борьбы или пожирания, но и в виде борьбы за пространство и свет, замечаемой даже у растений. Он убедился, что в этой борьбе те индивиды имеют наибольшие шансы созреть и размножиться, которые обладают какой-либо, хотя бы и совсем незначительной, но выгодной в борьбе за существование, индивидуальной особенностью. Эти индивидуальные особенности, по его мнению, имеют тенденцию передаваться по наследству, а если они выступают у нескольких индивидов того же вида, то могут усиливаться в однажды принятом направлении, благодаря повторному наследованию. Наконец, он пришел к заключению, что индивиды, не обладающие этим свойством, легче погибают в борьбе за существование, чем другие, более к ней приспособленные, и что таким образом происходит изменение вида путем естественного отбора, т.-е. переживания приспособленнейших. Дюринг, возражая против теории Дарвина, указывает на то, что сам Дарвин однажды признался, что происхождение идеи борьбы за существование следует искать в обобщении взглядов теоретика народонаселения — Мальтуса. В виду этого, г. Дюринг замечает, что названная теория обладает всеми теми недостатками, которые свойственны богословско-мальтусовским воззрениями на избыточность народонаселения. Между тем, Дарвину вовсе не при-

ходило в голову говорить, что происхождение идеи борьбы за существование следует искать у Мальтуса. Он только говорит, что его теория борьбы за существование есть теория Мальтуса, примененная ко всему миру растений и животных. И как бы ни был велик промах Дарвина, наивно принимавшего, без оговорок, учение Мальтуса, все же каждый должен отлично понимать, что не требуется мальтузианских очков, чтобы усмотреть в природе борьбу за существование — противоречие между безчисленным множеством зародышей, которые расточительно творит природа, и незначительным количеством тех из них, которые вообще могут достичь зрелости; противоречие, которое в действительности разрешается — местами крайне жестоко — борьбой за существование. И подобно тому, как закон заработной платы сохранил свое значение после того, как давно уже отвергнуты мальтузианские доводы, которыми его обосновал Рикардо, точно также и теория борьбы за существование в органическом мире может существовать помимо мальтузианского ее толкования. Впрочем, и организмы в природе имеют также свои законы населения, которые еще совершенно не исследованы; их открытие, несомненно, будет иметь решающее значение для учения о развитии видов. А кто и в этом направлении дал решительный толчок? Ни кто иной, как Дарвин.

Г. Дюринг благоразумно остерегается вдаваться в эту положительную сторону дела. Вместо этого, он пытается создать как можно больше аргументов для нападок на теорию борьбы за существование. По его мнению, о борьбе за существование между лишенными сознания растениями и добродушными травоядными *a priori* не может быть и речи: «в буквальном смысле слова, борьба за существование имеет место в мире зверского (*Brutalität*) постольку, поскольку питание совершается путем хищничества и пожирания». Введя понятие борьбы за существование в столь тесные границы, он уже свободно дает простор своему возмущению по поводу зверства теории борьбы за существование. Однако, это нравственное возмущение целит на самом деле лишь в самого г. Дюринга, который является единственным автором борьбы за существование в этом ограниченном смысле и, как таковой, один за нее ответствен. Стало быть, «отыскивает среди животных законы и понимание всякой деятельности природы» не Дарвин (который как раз включил в борьбу всю органическую природу), а некое, самим г. Дюрингом состряпанное, фантастическое чучело. Впрочем, название борьбы за существование мы можем охотно отдать в жертву высоко нравственному гневу г. Дюринга, но, что самый факт такой борьбы существует даже среди растений, — это может доказать ему каждый дуг, каждое хлебное поле, каждый лес; и дело не в имени, не в том, следует ли говорить о «борьбе за существование» или же о «недостатке условий существования и механических воздействиях», а в том, как этот факт влияет на сохранение или изменимость видов. Однако, относительно этого вопроса г. Дюринг пребывает в упорном «само себе равном» молчании. Следовательно, пока с естественным отбором все остается по-старому.

Дарвинизм «производит свои превращения и дифференцирование из ничего». Правда, Дарвин, когда говорит об естественном отборе, отвлекается от тех причин, которые вызвали изменение в отдельных индивидуумах, и трактует, главным образом, о том способе, при помощи которого подобные индивидуальные отступления постепенно становятся признаками известной расы, породы или вида. Для Дарвина, прежде всего, было важно найти не столько эти причины, — которые до сих пор частью вовсе неизвестны, частью объяснимы лишь в самых общих чертах, — сколько ту рациональную форму, в которой упрочиваются их результаты, сохраняя долговременное значение. Что Дарвин, при этом, приписывал своему открытию чрезмерную сферу действия, что он сделал его исключительным рычагом изменчивости видов и пренебрег вопросом о причинах повторяющихся индивидуальных изменений ради вопроса о форме их обобщения, — это недостаток, который Дарвин разделяет с большинством людей, сделавших действительный шаг вперед в науке. К тому же, если бы можно было сказать, что Дарвин свою теорию выводит из ничего, причем применяет исключительно

«мудрость заводчика», то нужно было бы допустить предположение, что и заводчик производит свои не предполагаемые только, но и действительные изменения животных и растительных форм точно так же из ничего. Наконец, кто же дал толчок к исследованию вопроса, каким образом происходит изменение в организмах, как же тот же Дарвин.

В новейшее время, особенно благодаря Геккелю, представление об естественном отборе было расширено, и изменяемость видов стала рассматриваться, как результат взаимодействий между приспособлением и наследственностью, причем приспособление считается фактором, производящим изменение, а наследственность — сохраняющим их. Но и это не нравится г. Дюрингу: «Собственно, приспособление к условиям жизни, как они даны или не даны природой, предполагает такие влечения и такую деятельность, которые определяются сознательными представлениями. Иначе приспособление будет лишь призрачным, и на самом деле причинность не будет возвышаться над низшими ступенями процессов физического, химического и растительно-физиологического». Оказывается, опять-таки, что в г. Дюринге вызывает досаду название. Между тем, как бы он ни назвал этот процесс, остается вопрос: могут ли вызываться подобными процессами изменения в видах организмов? И г. Дюринг снова не дает никакого ответа.

«Если какое-либо растение в своем росте пошло по такому пути, на котором оно получает наибольшее количество света, то этот результат возбуждения представляет не более, как комбинацию физических сил и химических агентов; если же в этом случае желают говорить не метафорически, а в собственном смысле слова о приспособлении, то это должно внести в понятие спиритическую путаницу». Так строг по отношению к другим людям тот самый человек, который знает совершенно точно, ради чего природа делает то или другое, который толкует о деликатности природы, даже об ее воле. Действительно, спиритическая путаница, только на чьей стороне, — у Геккеля или у г. Дюринга?

И не только спиритическая, но и логическая путаница. Мы видели, что г. Дюринг всеми силами настаивает на том, чтобы применять в природе понятие цели: «отношение между средством и целью вовсе не предполагает сознательного намерения». Но что же представляет собой инкриминируемое им приспособление без сознательного намерения, без посредства представлений, если не такую именно бессознательную, целесообразную деятельность?

Если, следовательно, древесная лягушка и древесные паразиты имеют зеленую окраску, животные, водящиеся в пустынях, песочно-желтую, а полярные животные — преимущественно, снежно-белую, то, конечно, они усвоили себе такую окраску не намеренно и не руководствуясь какими-либо представлениями: напротив, эта окраска объясняется только действием физических сил и химических агентов. И все-таки бесспорно, что упомянутые животные, принимая такую окраску, целесообразно приспособляются к среде, в которой они живут, в том именно смысле, что становятся менее заметными для своих врагов. Точно также те органы, которыми некоторые растения схватывают садящихся на них насекомых, приспособлены, и даже целесообразно приспособлены к такому действию. Если же г. Дюринг настаивает на том, что приспособление должно совершаться посредством представлений, то он говорит лишь другими словами, что целесообразная деятельность должна точно также совершаться через посредство представлений, должна быть сознательной, намеренной. А тем самым мы опять, как водится в философии действительности, приходим к сознательной силе, т.-е. к Богу. «Некогда подобное объяснение называлось деизмом и не высоко ценилось (говорит г. Дюринг), теперь же и в этом отношении происходит регресс».

От приспособления мы переходим к наследственности. И в этом случае, по мнению г. Дюринга, дарвинизм вполне заблуждается, ибо весь органический мир, по Дарвину, ведет происхождение от одного предка, представляет, так сказать, порожде-

ние одного единственного существа. Самостоятельный параллельный ряд однородных созданий природы, не происходящих одно от другого, вовсе не существует для Дарвина, и он, поэтому, тотчас же пасует со своими реакционными воззрениями, как только у него обрывается нить рождения или иного рода способов размножения.

Утверждение, будто бы Дарвин выводит все живущие современные организмы от одного предка, представляет, чтобы выразиться вежливо, «продукт собственного свободного творчества и воображения» г. Дюринга. Дарвин, на предпоследней странице *Origin of Species* (6-е издание), говорит буквально, что он считает все живые существа «не особыми творениями, но потомством по прямой линии нескольких пемпогих существ», а Геккель идет гораздо далее и допускает «одип совершенно самостоятельный ряд поколений для растительного царства, другой — для животного», а между этими двумя — «множество самостоятельных рядов протистов, из которых каждый, совершенно независимо от первых двух, развился из собственной древнейшей формы мошеры (*Schöpfungsgeschichte*, S. 397). Общий же предок для всех живых существ изобретен г. Дюрингом лишь для того, чтобы его можно было скомпрометировать, проведя параллель с праевреем Адамом; при чем, к несчастью для г. Дюринга, ему осталось неизвестным, что этот праеврей, благодаря ассирийским изысканиям Смита, оказался прасемитом и что библейское повествование о сотворении мира и о потопах является не более, как одним из древне-языческих сказаний религиозного характера, которое было распространено одинаково как среди евреев и вавилонян, так и среди халдеев и ассирийян.

Во всяком случае, хотя это суровый, но только до известной степени допустимый упрек Дарвину за то, что он пасует тотчас же, как обрывается нить происхождения того или другого организма. К сожалению, этого упрека заслуживает все наше естествознание. Там, где обрывается нить происхождения, «он пасует». Оно до сих пор не сумело наметить процесс создания органических существ иначе, как путем воспроизведения от других существ; более того, оно даже не сумело еще изобрести способ приготовления из химических элементов простой протоплазм или других белковинных тел. Оно пока лишь может утверждать с достоверностью о возникновении жизни только то, что последнее должно совершаться химическим путем. Но, быть-может, философия действительности в состоянии помочь нам в этом случае, так как она располагает самостоятельными параллельными рядами созданий природы, которые не связаны между собой общим происхождением. Как могли возникнуть эти создания? Путем самозарождения? Но до сих пор даже самые отважные сторонники самозарождения не мечтали создавать на этом пути ничего, кроме бактерий, грибных зародышей и иных весьма простых организмов, но не насекомых, рыб, птиц и млекопитающих. Если же эти однородные творения природы (разумеется, органические, только о них здесь и говорится) не связаны между собой общим происхождением, то там, «где обрывается нить происхождения», они, т.-е. каждый из их предков, должны были появиться на свет не иначе, как путем отдельного акта творения. Таким образом, мы еще раз возвращаемся к Творцу и к тому, что называется деизмом.

Далее, г. Дюринг объявляет признаком чрезвычайной поверхностности Дарвина, что он «делает основным принципом возникновения особенностей простой акт родового накопления (*composition*) этих особенностей». Опять-таки это продукт свободного творчества и воображения нашего основательного философа. Напротив, Дарвин заявляет определенно: выражение «естественный подбор» подразумевает только сохранение и не изменений, а не их образование (стр. 63). Эта новая подстановка положений, которых Дарвин никогда не высказывал, нужна, однако, для того, чтобы облегчить нам путь к следующему Дюрингову глубокомыслию: «Если бы во внутреннем схематизме рождения (*der Zeugung*) отыскивали какой-либо принцип самостоятельной изменчивости, то эта идея была бы совершенно рациональна, ибо вполне естественна мысль объединить принцип общего генезиса с принципом полового размножения и, так

называемое, перворождение рассматривать с высшей точки зрения, не как абсолютную противоположность воспроизведению, но именно, как производство (als eine Production)». И человек, способный сочинить подобную галиматью, не стесняется упрекать Гегеля за его «жаргон»!

Однако, довольно неприятного и противоречивого ворчания и брюзжания, коими г. Дюринг проявляет свою досаду на колоссальный прогресс, которым естествознание обязано толчку, данному Дарвиновой теорией! Ни Дарвин, ни его последователи из числа естествоиспытателей не думают как-нибудь умалить великих заслуг Ламарка; ведь, именно они первые вновь его подняли на щит славы! Но мы не можем игнорировать того факта, что ко времени Ламарка наука отнюдь еще не располагала достаточным материалом для того, чтобы быть в состоянии ответить на вопрос о происхождении видов иначе, как посредством антиципации, так сказать, пророчески. Но со времени Ламарка, кроме накопленного огромного материала из области как описательной, так и анатомической ботаники и зоологии, появились две совершенно новые отрасли науки, имевшие решающее значение в этом вопросе, именно: исследование животных и растительных зародышей (эмбриология) и исследование органических остатков, сохранившихся в различных слоях земной поверхности (палеонтология). В частности, оказалось характерное совпадение между постепенным развитием органических зародышей в зрелые организмы и целым рядом появляющихся одно за другим в истории земли растений и животных. Именно это то совпадение дало теории развития самую надежную опору. Сама же теория развития еще слишком молода и, поэтому, несомненно, что дальнейшее исследование должно очень значительно модифицировать нынешние, в том числе и строго дарвинистические, представления о процессе развития видов.

Но что же положительного имеет сказать наша философия действительности по поводу развития органической жизни?

«Изменяемость видов есть предположение допустимое. Но, вместе с тем, существует и самостоятельный параллельный ряд однородных творений природы, не связанных взаимно происхождением». На основании этого, пожалуй, можно было бы прийти к заключению, что неоднородные творения природы, т.-е. видоизменяющиеся, происходят одно от другого, однородные же — нет. Но и это не совсем годится, ибо и для изменяющихся видов «связь посредством происхождения, напротив, должна быть лишь совершенно второстепенного характера». Удовольствуемся тем, что г. Дюринг, в конце-концов, вновь впустил теорию происхождения видов через заднюю дверь, после того как доказал ее несостоятельность и неясность. Точно так же обстоит дело и с естественным отбором, ибо после всего нравственного негодования против борьбы за существование, через посредство которой и совершается естественный отбор, г. Дюринг внезапно заявляет: «более глубокая причина свойств органических форм заключается, таким образом, в условиях жизни и в космических отношениях, тогда как подчеркиваемый Дарвином естественный отбор может приниматься в расчет лишь, как второстепенный фактор». Стало-быть, все же — естественный отбор, хотя и второстепенный; стало быть, вместе с естественным отбором, и борьба за существование, а вместе с ней и «поповско-мальтузианская избыточность населения»; — вот и все. В дальнейшем г. Дюринг предлагает нас к Ламарку.

Под конец, он предостерегает нас от злоупотребления словами: метаморфоза и развитие. Метаморфоза, — говорит он, — есть понятие неясное, а понятие о развитии приемлемо лишь постольку, поскольку законы развития могут быть фактически доказаны. Вместо того и другого, мы должны говорить — «композиция», и тогда все будет ладно. Опять старая история; дело остается в том же положении, и г. Дюринг вполне доволен, если только мы изменим название. Когда мы говорим о развитии цыпленка из яйца, то мы производим путаницу, так как можем лишь недостаточно доказать законы развития. Но если мы будем говорить об его «композиции», то все будет ясно. Мы, следовательно, отныне не можем сказать: «это дитя развивается», — а должны говорить:

«дитя находится в процессе композиции». Нам остается поблагодарить за урок и, с своей стороны, пожелать г. Дюрингу, чтобы он заслуженно стал рядом с творцом «Кольца Нибелунгов» не только в деле благородной самооценки, но и в качестве «композитора» будущего.

VI. Натурфилософия. Органический мир (заключение).

«Достаточно принять в соображение, что именно из положительных знаний относится к нашему натурфилософскому отделу, чтобы снабдить его всеми надлежащими научными предпосылками. В основе его лежат, прежде всего, все существенные завоевания математики, затем главные положения точного знания в механике, физике и химии, а также, наконец, вообще естественно-исторические данные физиологии, зоологии и подобных отраслей научного исследования».

Так уверенно и решительно отзывается г. Дюринг о математической и естественно-исторической научности г. Дюринга. Но по этому тощему «натурфилософскому отделу», а еще менее по его еще более скудным результатам трудно подметить, какая в них скрывается основательность положительного познания. Во всяком случае, чтобы делать Дюринговы прорисовки о физике и химии, не требуется знать из физики ничего, кроме уравнения, выражающего механический эквивалент теплоты, а из химии — только то, что все тела разделяются на элементы и соединения элементов. К тому же, тот, кто, подобно г. Дюрингу (стр. 131), может говорить о «весовых атомах», этим самым доказывает, что для него совершенно «темно» различие между атомом и молекулой. Как известно, атомы имеют значение не для притяжения или какой-либо другой механической или физической формы движения, но исключительно для химического действия. Затем, прочитав главу об органической природе, в которой ничего нельзя найти, кроме пустой, противоречивой и оракульски бессмысленной болтовни и абсолютной ничтожности конечного результата, — уже трудно удержаться от предположения, что г. Дюринг толкует здесь о вещах, о которых не имеет никакого понятия. Это предположение превращается в уверенность, когда доходим до его проекта употреблять в учении об органической жизни, в биологии, выражение «композиция», вместо «развитие». Тот, кто может предложить нечто подобное, доказывает, что не имеет ни малейшего представления об образовании органических тел.

Все органические тела, за исключением самых низших, состоят из клеток, т. е. маленьких, видимых только при сильном увеличении, комочков белкового вещества с клеточным ядром в центре. Обыкновенно клеточка развивает и внешнюю оболочку, и тогда ее содержание более или менее текуче. Самые низшие клеточные тела состоят из одной клетки; громадное большинство органических существ многоклеточно, представляет сложный комплекс многих клеток, которые, будучи еще однородными у низших организмов, становятся у высших все более и более разнообразными по форме группировки и их деятельности. Так, например, в человеческом организме кости, мышцы, нервы, сухожилия, связки, хрящи, кожа, одним словом, все ткани состоят из клеток, либо развились из них. Но для всех органических клеточных форм, от амебы, предоставляющей простоту, большую частью лишенной оболочки комочек протоплазмы с ядром внутри его, вплоть до человека, и от самой малой одноклеточной *desmidiacea* до высоко развитого растения, — для них всех общим способом размножения является тот, который свойствен клеткам, а именно — деление. Клеточное ядро сначала сжимается в центре; это сжатие, разделяющее обе головки ядра, становится все сильнее; наконец, они отделяются совсем и образуют два клеточных ядра. Тот же процесс происходит в самой клетке. Каждое из двух ядер становится центральным пунктом скопления клеточного вещества, при чем обе массы его связаны между собой перешеечком, становящимся все уже и уже, пока, наконец, эти массы не отделятся одна от другой; тогда они продолжают жить в виде самостоятельных клеточек. Путем многократного подобного деления клетки из зародышевого пузырька животного яйца, после того как

оно оплодотворено, постепенно развивается зрелое животное, и точно так же в зрелом организме совершается замещение потребленной ткани. Чтобы назвать подобный процесс композицией, а применение к нему термина «развитие» чистой фантазией—на это способен лишь тот, кто (как это ни трудно допустить в наше время) ничего не знает об этом процессе; ибо здесь мы имеем дело только с развитием в буквальном смысле слова, решительно не имеющим ничего общего ни с какой композицией. О том, что г. Дюринг вообще понимает под жизнью, нам еще придется говорить ниже. В частности же, по поводу этого он повествует следующее: «также и неорганический мир представляет систему самосовершающихся движений; но только там, где начинается действительное расчленение и происходит обмен веществ через особые каналы и из одного внутреннего пункта по зародышевой схеме (*nach einem Keimschema*), с переходом в подвижную меньшую форму,—только там можно решиться говорить о действительной жизни в более тесном и строгом смысле этого слова».

В сущности это положение представляет, в тесном и строгом смысле слова, систему самосовершающихся движений (что бы это слово ни означало) бессмыслицы, если даже оставить в стороне безнадежную грамматическую путаницу, в нем содержащуюся.

Если жизнь начинается только там, где наступает действительное расчленение, то мы должны объявить мертвыми все Геккелево царство протистов, а, быть-может, еще большую часть органического мира, смотря по тому, как понимать расчленение. Если жизнь начинается только там, где это расчленение может быть перенесено через меньшую зародышевую схему, то в таком случае нельзя признать живыми существами, по крайней мере, все низшие организмы, включительно до одноклеточных. Если, затем, признаком жизни является производство обмена веществ через особые каналы, то мы должны, сверх вышеупомянутых, вычеркнуть из ряда живых организмов еще целый ряд кишечно-полостных (*Coelenterata*),—впрочем, за исключением медуз,—следовательно, всех полипов и другие животнорастения. Если же главным признаком жизни считать обмен веществ через особые каналы и из одного внутреннего пункта, то можно объявить мертвыми всех тех животных, которые не имеют сердца или же имеют их несколько. Сюда, кроме вышеупомянутых, относятся все черви, морские звезды и круговертки (*annuloida* и *annulosa*, по классификации Гексли), часть ракообразных и, наконец, даже одно позвоночное—ланцетник (*Amphioxus*), а затем и все растения.

Итак, желая охарактеризовать действительную жизнь и в тесном и строгом смысле слова, г. Дюринг дает четыре взаимно противоречащих признака жизни, один из которых осуждает на вечную смерть не только все растительное, но и почти половину животного царства. Воистину, никто не может сказать, что он нас обманывал, общая «в своей основе своеобразные результаты и воззрения»!

В другом месте говорится: «и в основе всех организаций, от низшей до высшей, лежит простой тип», и этот тип «вполне и всецело наблюдается уже в самом второстепенном движении самого несовершенного растения». Это утверждение опять-таки представляет «вполне и всецело» бессмыслицу. Наипростейший тип, наблюдаемый во всей органической природе, есть клетка, и она, действительно, лежит в основе высших организаций. Но в числе наиболее низших организаций мы находим множество таких, которые стоят еще значительно ниже клетки, как, наприм., протоамеба, простой комочек протоплазмы, без какой-либо дифференциации, а также целый ряд других монер и все трубчатые (*siphoneae*). Все они связаны с высшими организмами только тем, что их главной составной частью является белковина, и они поэтому совершают свойственные белковине функции, т.-е. живут и умирают.

Далее, г. Дюринг рассказывает нам: «физиологически ощущение связано с существованием какого-либо, хотя бы и очень простого, нервного аппарата. Поэтому для всех животных форм является характерным, что они способны к ощущению, т.-е. к субъективно сознательному восприятию своего состояния. Резкая граница между растением и животным находится там, где совершается скачок к ощущению. Факт

существования известных переходных форм не только не стирает этой границы, но эта последняя становится логической потребностью, именно благодаря этим, по внешнему виду, неопределенным или «неопределимым формам». Далее: «напротив того, растения совершенно и навсегда лишены самого слабого подобия ощущения и даже расположения к нему».

Во-первых, Гегель (Натурфилософия, § 351, приложение) говорит, что «ощущение есть *differentia specifica*, т.-е. абсолютно отличительный признак животного». Стало быть, опять «нелепость» Гегеля, которая, путем простого усыновления г. Дюрингом, перешла в благородное сословие окончательных истин последней инстанции.

Во-вторых, мы здесь впервые слышим о переходных формах, о неопределенных и неопределимых по внешнему виду формах между растением и животным. Тот факт, что такие промежуточные формы существуют и что бывают организмы, о которых мы не можем наверняка сказать, растения это или животные,—этот факт создает для г. Дюринга логическую потребность установить для них отличительный признак, который он тут же, не переводя духу, признает ненадежным! Но нам даже нет надобности говорить о сомнительных промежуточных формах между растениями и животными: разве чувствительные растения, свертывающие при самом слабом прикосновении к ним свои листья или свои цветки, разве растения, пожирающие насекомых, разве все они не проявляют хотя бы самого слабого подобия ощущения или хоть расположения к нему? Этого не может отрицать даже г. Дюринг, не прибегая к «ненаучной полупоэзии».

В-третьих, опять-таки продуктом свободного творчества и воображения г. Дюринга является его утверждение, будто «ощущение физиологически связано с существованием какого-либо, хотя и очень простого, нервного аппарата». Не только все простейшие животные, но также и животнорастения, по крайней мере, большинство их, не обнаруживают никаких следов нервного аппарата. Последний встречается, по общему правилу, начиная только с червей, и следовательно, по мнению г. Дюринга, все перечисленные организмы лишены ощущения, потому что не имеют нервов. Ощущение не связано необходимо с нервами, но только с известными, доселе неустановленными более точно, белковыми телами.

Впрочем, биологические познания г. Дюринга могут быть достаточно охарактеризованы вопросом, который он неустрашимо пред'являет Дарвину: «могло ли животное развиваться из растения?» Такой вопрос может задать только тот, кто не имеет ни малейших сведений ни о животных, ни о растениях.

О жизни вообще г. Дюринг нам сообщает только следующее: «обмен материи, который совершается посредством пластически образующегося схематизма (что это еще за штука?), остается постоянно отличительным признаком действительного процесса жизни».

Это все, что мы узнаем о жизни, при чем, благодаря «пластически образующемуся схематизму», мы по колено погружаем в тряпичные бессмысленной тарабарщины чистейшего Дюрингова жаргона. Следовательно, если мы хотим знать, что такое жизнь, мы должны сами поближе исследовать этот вопрос.

Что обмен органических веществ представляет наиболее всеобщее и характерное явление жизни, это повторялось несчетное число раз за последние тридцать лет физиолого химиками и химико-физиологами, и вся заслуга г. Дюринга лишь в том, что он сообщает нам это своим собственным изящным и ясным языком. Но определить жизнь, как обмен органических веществ, значит определить жизнь, как... жизнь, ибо обмен органических веществ, или обмен веществ помощью пластически образующегося схематизма, в свою очередь, представляет собою процесс, который опять-таки только указывает на различие между органическим и неорганическим, т.-е. между живым и неживым. Следовательно, с этим объяснением мы недалеко уйдем.

Затем, обмен веществ, как таковой, имеет место и вне жизни. Существует целый ряд химических процессов, которые, при достаточном притоке сырых материалов, снова

и снова создают условия, необходимые для их возникновения, и этот процесс является продуктом определенного вещества. Так, например, бывает при фабрикации серной кислоты посредством сжигания серы: при этом получается сернистый газ SO_2 , а если ввести водяные пары и азотную кислоту, то сернистый газ поглощает водород и кислород и превращается в серную кислоту H_2SO_4 ; при этом азотная кислота отдает свой кислород и превращается в окись азота; эта окись азота тотчас же поглощает из воздуха новый кислород и превращается в закись азота, но лишь затем, чтобы тотчас же вновь отдать этот кислород сернистому газу и снова проделать тот же процесс; так что теоретически можно принять, что бесконечно малого количества азотной кислоты достаточно, чтобы превратить неограниченное количество сернистого газа, кислорода и воды в серную кислоту.

Далее, обмен веществ совершается при выжимании жидкости сквозь мертвую органическую или даже неорганическую оболочку. Опять-таки оказывается, что с обменом веществ мы не подвинулись вперед, ибо тот характерный обмен веществ, который должен объяснить жизнь, в свою очередь, нуждается в объяснении посредством понятия жизни. Следовательно, мы должны искать объяснения в другом месте.

Жизнь есть форма существования белковых тел, и эта форма существования состоит, главным образом, в постоянном самообновлении химических составных частей этих тел.

Белковое тело здесь понимается в смысле современной химии, которая этим термином охватывает все тела, аналогичные по строению с обыкновенным белком и называемые иначе протеиновыми веществами. Термин неудачен, ибо обыкновенный белок играет наиболее бесжизненную, пассивную роль по сравнению со всеми родственными ему веществами, служа на ряду с ячным желтком исключительно пищевым веществом для развивающегося зародыша. Однако до тех пор, пока о химическом составе белковых тел известно так немного, этот термин все еще лучший, ибо общее всех других.

Повсюду, где мы встречаем жизнь, мы находим ее связанной с каким-либо белковым телом и повсюду, где мы встречаем какое-либо ненаходящееся в процессе разложения белковое тело, мы находим непременно и проявление жизни. Без сомнения, необходимо существование и других химических соединений в живом организме, чтобы вызвать частную дифференциацию этих проявлений жизни; но для голого процесса жизни они необходимы, или же необходимы постольку, поскольку они входят в него в виде пищи и превращаются в белковину. Самые низшие живые существа из известных нам представляют собой не более, как простой комочек белковины, а эти существа уже обнаруживают все существенные жизненные проявления.

В чем же состоят эти, встречающиеся одинаково повсюду у всех живых существ, проявления жизни? Прежде всего в том, что белковое тело воспринимает из окружающей среды подходящие вещества, ассимилирует их, тогда как более старые частицы тела разлагаются и извергаются. Прочие не живые тела тоже изменяются, разлагаются и комбинируются в потоке естественных явлений; но они при этом перестают быть тем, чем были раньше. Камень, который совершенно выветрился, уже более не камень; металл, подвергшийся окислению, переходит в ржавчину. Но то, что в мертвых телах является причиной разрушения, в белковине становится основным условием существования. Как только прекращается это непрерывное перемещение составных частей в белковых телах, постоянная смена питания и выделения, с этой минуты само белковое тело уничтожается, разлагается, т.-е. умирает. Жизнь—форма существования белкового тела—характеризуется, следовательно, тем, что каждый живой организм в каждый данный момент является одновременно и самим собою и чем-то другим, и притом это происходит независимо от какого-либо процесса, которому организм подчинен извне, как это может быть с мертвыми телами. Напротив, жизнь—обмен веществ, происходящий путем питания и выделения, представляет процесс самодавлеющий, присущий своему носителю—белковине, без которой не может быть жизни. А из этого следует,

что если когда-нибудь химии удастся искусственно произвести белковину, эта последняя должна будет обнаружить проявление жизни, хотя бы и самое слабое. Конечно, еще вопрос, может ли химия открыть, вместе с тем, и надлежащую пищу для этой белковины.

Из существенной функции белковины, т.-е. обмена веществ путем питания и выделения, и из свойственной белковине пластичности—вытекают все прочие простейшие функции жизни: раздражительность, которая обуславливается уже процессом взаимодействия между белковиной и ее пищей; сжимаемость, которая проявляется уже на очень низкой ступени при поглощении пищи; способность к росту, которая на самых низших ступенях проявляется одновременно с размножением путем деления; внутреннее движение, без которого невозможно ни поглощение, ни ассимилирование пищи.

Наше определение жизни, разумеется, весьма недостаточно, поскольку оно далеко от того, чтобы охватить все проявления жизни; но вынуждены ограничиться наиболее всеобщими и простыми признаками. Чтобы подробно выяснить, что такое жизнь, мы должны были бы охватить все формы ее проявления от самой низшей до наивысшей. Однако, для обыденного употребления наше определение очень удобно, подчас без него нелегко обойтись и, во всяком случае, оно не может вредить, пока мы не забываем его неизбежной неполноты.

Однако, вернемся к г. Дюрингу. Если ему до известной степени плохо везет в области земной биологии, то он знает, как утешиться, ища спасения на звездном небе.

«Не только чувствующие органы, имеющие специальное устройство, но и весь объективный мир приспособлен к тому, чтобы вызывать удовольствие и боль. На этом основании мы принимаем, что противоположность удовольствия и боли, притом именно в известной нам форме, универсальна и должна быть представлена по существу однородными чувствами в различных мирах вселенной... Это соответствие имеет не малое значение, ибо оно является ключом к пониманию мировых ощущений (*das Universum der Empfindungen*)... следовательно, космический мир субъективного для нас не более чужд, чем мир объективный. Организацию и того, и другого следует мыслить по единообразному типу, при чем мы получаем основы такого учения о сознании, которое имеет более, чем земное значение».

Что значит несколько грубых ошибок в темном естествознании для того, кто держит в своем кармане ключ к уразумению мировых ощущений? Однако!!

VII. Кривденненность и право. Вечные истины.

Мы воздерживаемся от того, чтобы приводить образцы той смеси плоскостей и прорицаний, словом той каши, которою г. Дюринг угощает своих читателей на протяжении целых пятидесяти страниц, под видом основательной науки об элементах сознания. Протицируем только одно место: «кто способен мыслить только при помощи речи, тот еще не знает, что значит отвлечение и истинное мышление. Следовательно, животные—самые отвлеченные и истинные мыслители, так как их мышление никогда не затемняется навязчивым вмешательством речи. Во всяком случае, по Дюринговым мыслям и по выражению их речи можно судить, как мало эти мысли приспособлены к какому бы то ни было языку и как мало немецкий язык приспособлен к выражению таких мыслей.

Наконец, нас выручает четвертый отдел, в котором, кроме этой расплывчатой болтовни, встречается, по крайней мере, там и сям, нечто уловимое относительно нравственности и права. На этот раз мы в самом начале получаем приглашение совершить экскурсия на другие планеты: элементы морали должны «оказаться... совпадающими у всех мировых существ, в которых деятельный разум сознательно управляет волевыми проявлениями жизни; впрочем, наш интерес к подобным выводам не может быть особенно значительным; но, тем не менее, все же наш кругозор благотельно расши-

ряется, если мы представим себе, что на других планетах жизнь индивида и общества должна исходить из схемы, которая... не может противоречить или не соответствовать общей организации разумно поступающего существа».

Если здесь, в виде исключения, применимость Дюринговых истин ко всем другим возможным мирам устанавливается в начале, а не в конце соответствующей главы, то для этого имеется достаточное основание. Дело в том: если признать только применимость Дюринговых представлений о нравственности и справедливости ко всем мирам, то затем нет уже оснований отрицать их благотворного значения и для человечества, живущего на земле. И опять-таки здесь речь идет, ни много ни мало, как об окончательных истинах в последней инстанции. Нравственный мир «так же, как и мир общего познания, имеет свои непреходящие принципы и простые элементы»; нравственные принципы стоят «над историей и над современными различиями народных свойств; частные истины, из которых в потоке развития составляют более полное нравственное сознание и, так сказать, совесть, могут, поскольку они изучены до основания, претендовать на такую же применимость и такое же значение, как и соображения и выводы математики. Действительные истины вообще неизменны... так что нелепо представлять правильность познания независимой от времени и реальных изменений». Поэтому, надежность строго научного знания и достаточность обыденного понимания не позволяют нам в нормальном состоянии усомниться в абсолютном значении научных принципов. «Даже продолжительное сомнение есть уже состояние болезненной слабости и представляет не что иное, как проявление дикой путаницы, которая иногда, доводя до сознания собственного ничтожества, побуждает к отрицанию всякой достоверности. Опираясь на географическое и историческое многообразие нравов и нравственных положений и допуская, вместе с этим, неотвратимую необходимость нравственно дурного и злого, некоторые мыслители приходят к отрицанию высших принципов и не признают серьезного значения и фактического действия за всеобщими моральными инстинктами. Этот раз'едающий скептицизм, который обращается не против отдельного какого-либо ложного учения, но против самой человеческой способности к сознательной нравственности, впадает, в конце-концов, в действительное ничто, даже, в сущности, в нечто худшее, чем простой нигилизм; он льстит себя надеждой, что сможет дешевой ценой восторжествовать в этом диком хаосе ниспровергнутых им нравственных представлений и открыть дверь безпринципному произволу. Но скептики жестоко ошибаются, ибо достаточно простого указания на то, что разум неизбежно впадает в заблуждение при искании истины, чтобы путем аналогии понять, насколько погрешимость в познании естественных законов не должна непременно исключать возможность достижения достоверности».

До сих пор мы спокойно принимали все эти пышные фразы г. Дюринга об окончательных истинах в последней инстанции, о суверенности мышления, абсолютной достоверности познания и т. д., так как вопрос этот мог быть решен только в том пункте, которого мы теперь достигли. До сих пор было достаточно исследовать, насколько отдельные утверждения философии действительности имеют «суверенное значение» и могут «безусловно претендовать на истинность». Здесь же мы приходим к вопросу, могут ли вообще, и какие именно продукты человеческого сознания иметь суверенное значение и претендовать на безусловную истинность. Если я говорю—человеческое сознание, то я это делаю не с каким-либо оскорбительным умыслом по отношению к обитателям других планет, которых не имею чести знать, но лишь потому, что и животные тоже одарены сознанием, но отнюдь не суверенным. Собака признает своего господина своим богом, при чем этот господин может быть превеликим негодяем.

Суверенно ли человеческое мышление? Прежде, чем ответить—да или нет, мы должны сначала исследовать, что такое человеческое мышление. Есть ли это мышление единичного человека? Нет. Оно существует только в виде индивидуального мышления многих миллиардов прошедших, настоящих и будущих людей. Если же я говорю, что это единственное в моем представлении мышление всех этих людей, включая и будущих,

суверенно, т.-е. в состоянии познавать существующий мир постольку, поскольку человечество будет продолжать существовать и постольку в органах и объектах познания не поставлено последнему границ,—если я говорю это, то я высказываю нечто очень банальное и к тому же очень бесплодное. Ибо самым драгоценным результатом этой мысли могло бы быть крайнее недоверие к нашему нынешнему познанию, так как мы, по всем вероятностям, еще стоим в самом начале человеческой истории, и поколения, которые будут нас поверять, должны быть, наверное, гораздо многочисленнее, чем те, познание которых нам приходится проверять, при чем оказывается, что добытые уже познания мы довольно часто оцениваем весьма низко. Сам г. Дюринг объясняет, что сознание, а, следовательно, мышление и познание могут проявиться только в целом ряде отдельных существ. Мышление каждого из этих индивидуумов мы можем приписать суверенность лишь постольку, поскольку мы не знаем никакой власти, которая была бы в состоянии насильственно навязать им, в здоровом и бодрствующем состоянии, какую-либо мысль. Что же касается суверенного значения результатов каждого индивидуального мышления, то все мы знаем, что об этом не может быть речи и что, по всему нашему прежнему опыту, они всегда, без исключения, содержат в себе гораздо более таких элементов, которые подлежат изменению, сравнительно с тем, которые мы можем признать абсолютно верными.

Другими словами, суверенность мышления осуществляется в ряде крайне не-суверенно мыслящих людей; познание же, претендующее на безусловную истинность, заключается почти всегда в ряде относительных заблуждений; ни то, ни другое не может проявиться иначе, как в бесконечно продолжительном процессе человеческого развития.

Мы здесь вновь встречаем то же противоречие, как и выше, между мыслимым абсолютным характером человеческого мышления и его осуществлением в ограниченно мыслящих отдельных людях; противоречие, которое может разрешиться только в процессе исторического прогресса, в бесконечной (по крайней мере, практически для нас) последовательной смене человеческих поколений. В этом смысле человеческое мышление столь же суверенно, как и не суверенно, и его способность к познанию столь же не ограничена, как и ограничена. Мышление суверенно и способность к познанию не ограничена потенциально в своем стремлении к развитию и по своей исторической конечной цели, но они не суверенны и ограничены в каждом отдельном своем проявлении и в каждый данный исторический момент.

Точно также обстоит дело с вечными истинами. Если бы человечество когда-либо пришло к тому, чтобы оперировать только с вечными истинами, с такими результатами мышления, которые имеют суверенное значение и претендуют на безусловную истинность, то в таком случае его духовная жизнь не могла бы более прогрессировать, так как пришлось бы признать, что бесконечность мира интеллектуального исчерпана реально и потенциально, что таким образом уже совершилось пресловутое чудо пересчитанного бесконечного числа.

Но ведь существуют такие истины, которые настолько твердо установлены, что каждое сомнение в них представляется нам равнозначущим сумасшествию: наприм., что дважды два равно четырем, что сумма углов треугольника равна двум прямым, что Париж находится во Франции, что человек без пищи умрет с голоду и т. д. Следовательно, существуют же вечные истины, окончательные истины в последней инстанции?

Конечно. Всю область познания мы можем, согласно старинному способу, разделить на три больших отдела. Первый обнимает все науки о неодушевленной природе, предметы которых более или менее доступны для точного математического исследования; математика, астрономия, механика, физика, химия. Если кому-нибудь доставляет удовольствие применять громкие слова к простым вещам, то можно сказать, что некоторые данные этих наук, хотя далеко не все, представляют собой вечные истины, окончательные истины в последней инстанции, почему эти науки и называются точными. Однако с введением переменных величин и принятием их переменчивости вплоть до

бесконечно малых и бесконечно больших величин, некогда столь целомудренная математика совершила грехопадение: она вкусила яблоко познания, которое открыло ей путь к гигантским успехам, но вместе с тем и к заблуждениям. Девственное состояние абсолютной приложимости и неопровержимой доказуемости всего математического — исчезло навеки; наступило царство разногласий, и мы дошли до того, что большинство людей дифференцирует и интегрирует не потому, чтобы понимали, что они делают, но руководясь чистой верой, так как до сих пор всегда выходило верно. В астрономии и механике дело обстоит еще хуже, а в физике и химии находишься среди гипотез, словно в центре пчелиного роя. Да иначе и невозможно. В физике мы имеем дело с движением молекул, в химии — с образованием молекул из атомов, и если интерференция световых волн не есть сказка, то у нас нет абсолютно никакой надежды когда-либо видеть эти интересные вещи собственными глазами. Поэтому, окончательные истины в последней инстанции станут со временем чрезвычайно редки.

Еще хуже в этом отношении с геологией, которая, по самой своей природе, занимается, главным образом, такими процессами, при которых не присутствовали не только мы, но и вообще ни один человек. Поэтому добывание окончательных истин в последней инстанции здесь сопряжено с очень значительным трудом, и результаты крайне скудны.

Второй класс наук — тот, который заключает в себе исследование живых организмов. В области, подлежащей их компетенции, существует такое многообразие соотношений и причинностей, что не только каждый решенный вопрос ставит множество новых вопросов, но и каждый отдельный вопрос, может быть разрешен в большинстве случаев только по частям, рядом многих исследований, часто требующих целых столетий; при этом потребность в систематическом понимании соотношений постоянно снова вынуждает заменять окончательные истины в последней инстанции обильным нагромождением гипотез. Какой длинный ряд промежуточных ступеней от Галена до Мальпигия был необходим, чтобы правильно установить столь простое явление, как кровообращение у млекопитающих! Как мало, затем, мы знаем в настоящее время о возникновении кровяных телец и как много средних членов недостает нам еще ныне, чтобы, например, привести в рациональную связь проявление какой-либо болезни с ее причинами! Притом довольно часто появляются такие открытия, как открытие клеточки, которые нас вынуждают подвергнуть полному пересмотру все доселе твердо установленные в сфере биологии окончательные истины последней инстанции и раз навсегда совсем устранить целую их кучу. Кто, следовательно, в этой сфере желает выставить действительно абсолютные неизменные истины, тот должен довольствоваться банальностями в роде того, что все люди должны умереть, что все самки у млекопитающих имеют молочные железы и т. д. Он не сможет даже сказать, что у высших животных пищеварение совершается желудком и кишечным каналом, а не головой, так для пищеварения необходима централизованная в голове нервная деятельность.

Но еще хуже обстоит дело в третьей группе наук, в науках исторических, которые исследуют условия жизни людей, общественные отношения, правовые и государственные формы с их идеальной надстройкой философии, религии, искусств и т. д., в их исторической последовательности и современном состоянии. В органической природе, по крайней мере, нам приходится иметь дело с рядом явлений, которые, поскольку имеют значение наше непосредственное наблюдение, довольно регулярно повторяются в очень широких пределах. Виды организмов остались со времени Аристотеля в общем и целом те же самые. В истории обществ, напротив того, повторение явлений составляет исключение, а не общее правило, по мере того, как мы удаляемся от первобытного состояния человечества, так называемого, каменного века; а где такие повторения имеют место, они никогда не приходят при точь-в-точь одинаковых условиях. Таковы, напр., история возникновения первобытной общинной собственности на земли у всех культурных народов и форма ее разложения. Поэтому, в области истории человечества наша наука еще более отстала, чем в области биологии; более того: если, в виде исклю-

чения, иногда и удается познать внутреннюю связь общественных и политических форм известного исторического периода, то это, по общему правилу, случается только тогда, когда эти формы уже наполовину пережили себя и клонятся к падению. Познания здесь, таким образом, по своему существу, носят относительный характер, ограничиваются выяснением связей и следствий известных, существующих только для данной эпохи и данных народов и, по своей природе, преходящих общественных и государственных форм. Следовательно, кто в этой области гонится за окончательными истинами в последней инстанции, вообще за неизменными истинами, тот немного поживится, если не считать ничего не значащих общих мест самого банального сорта, как, например, что люди вообще не могут жить без труда, что они до сих пор разделялись на господствующих и угнетенных, что Наполеон умер 5 мая 1821 года и т. д.

Замечательно, однако, что именно в этой области чаще всего провозглашаются мнимые вечные истины, окончательные истины в последней инстанции и т. д. Тот, кто такие истины, как «дважды два—четыре», или «у птицы имеется клюв» и т. под., объявляет вечными истинами,—тот способен из факта существования вечных истин вообще сделать вывод, что и в сфере истории человечества существуют: вечная истина, вечная нравственность, вечная справедливость и проч., яко бы имеющие такое же действие и значение, какие присущи выводам и применениям математики. И в таком случае, можно быть вполне уверенным, что подобный философ, друг человечества, нам объявит, в конце-концов, что все прежние творцы вечных истин были более или менее глупцами и шарлатанами, что все они заблуждались, ошибались, но что и их заблуждения и их ошибки были естественно необходимы, что это все еще более доказывает наличность и достоверность его собственных истин и что он, ныне явленный пророк, хранит в своем чемодане окончательную истину в последней инстанции, вечную нравственность, вечную справедливость. Это уже бывало сотни и тысячи раз, так что приходится только удивляться, как еще находятся люди достаточно легковверные, чтобы этому верить, да еще не с чужих слов, а на основании собственных измышлений; тем не менее, как оказывается, мы дожили, по крайней мере, еще до одного такого пророка, который самым шаблонным образом драпируется в плащ высоко-нравственного негодования, когда говорят, что нет человека, который был бы в состоянии открыть окончательные истины в последней инстанции. По его мнению, даже такое отрицание, простое сомнение может явиться результатом только расслабленности, путаницы, ничтожества разедающего скептицизма и представляет собою нечто худшее, чем простой нигилизм и дикий хаос; вот какие любезные эпитеты применяются к скептикам. Одним словом, как принято вообще у всех пророков, не делается попыток критически научно исследовать предмет и обсудить его основательно, но без дальнейших церемоний, попросту расточаются громы нравственного негодования.

Выше мы могли бы еще упомянуть науки, исследующие законы человеческого мышления, т.-е. логику и диалектику. Но и здесь вечными истинами дело не кленется. Собственно диалектику г. Дюринг объявляет чистой бессмыслицей; мы же, с своей стороны, должны сказать, что в огромном количестве книг, написанных и имеющих быть написанными по логике, очень трудно будет отыскать окончательные истины последней инстанции,—гораздо труднее, чем думают иные.

Нам, однако, вовсе не следует приходить в ужас по поводу того, что та ступень познания, на которой мы ныне стоим, столь же мало окончательна, как и все предшествующие. Наша наука уже охватывает громадные материалы и требует очень значительной специализации от каждого, кто хочет оспориться с какой бы то ни было ее отраслью. Тот же, кто пред'являет критерий действительных, неизменных, окончательных истин в последней инстанции к таким знаниям, которые, по самой природе вещей, либо должны оставаться относительными для долгого ряда поколений и лишь понемногу достигать совершенства, либо же, как например, космогония, геология и история человечества, должны навсегда остаться неполными и незаконченными, благодаря недостаточности исторического материала,—тот доказывает только собственное невежество и

превратность своих понятий, если даже истинной их подкладкой не служит, как в данном случае, претензия на собственную непогрешимость. Истина и заблуждение, как и все мысленные определения, движущиеся в направлениях полярно-противоположных, имеют абсолютное значение только для крайне ограниченной области, как это мы уже видели и как должен был бы знать и г. Дюринг, при некотором знакомстве с первыми элементами диалектики, которые именно толкуют о недостаточности всех полярных противоположностей. Как только мы применяем понятие противоположности между истиной и заблуждением вне этой вышеобозначенной тесной области, оно становится относительным, а потому непригодным для точного научного словопотребления; если же все-таки пытаются применить это понятие вне названных пределов, придавая ему абсолютное значение, то тут-то и наступает полное крушение: оба полюса противоположности меняются местами, истинность становится заблуждением, а заблуждение истиной. Возьмем, как пример, известный закон Бойля, согласно которому, при неизменной температуре, объем газов обратно пропорционален давлению, которое они испытывают. Реньо нашел, что этот закон не верен для известных случаев. Если бы он был «философом действительности», он должен был бы заявить: закон Бойля изменчив, следовательно, он не есть выражение действительной истины, т.-е. противоречит истине, и поэтому неверен. Но таким образом Реньо впал бы в гораздо большую ошибку, чем та, которая содержится в законе Бойля; зерно истины затерялось бы и, вследствие этого, его первоначально верный вывод потерял бы свою цену, а закон Бойля с той небольшой погрешностью, какая ему присуща, осталась бы все-таки непоколебимым. Но Реньо, как человек науки, не позволил себе подобного ребячества; напротив, продолжая исследование, он нашел, что закон Бойля вообще верен только приблизительно; в частности же, его действие прекращается для газов, которые благодаря давлению могут переходить в текуче-жидкое состояние, и именно с того момента, когда давление приближается к пункту, при котором наступает этот переход. Таким образом, оказалось, что закон Бойля верен только в известных пределах. Но абсолютно ли, окончательно ли верен он и в этих пределах? Ни один физик не станет утверждать этого. Он скажет, что закон действителен только в пределах известной силы давления и температуры для известных газов, и внутри этих еще более тесных пределов он не станет утверждать возможности, что будущее исследование потребует еще более тесного ограничения или иного определения¹⁾. Так обстоит дело в физике с окончательными истинами в последней инстанции. Поэтому, в действительно научных трудах избегают обыкновенно догматически моральных выражений, как заблуждение и истина; между тем мы их всегда встречаем в таких произведениях, как философия действительности, которая при помощи пустой болтовни хочет нам навязать самый суверенный результат суверенного мышления.

Но спросит, может-быть, наивный читатель: где же г. Дюринг прямо заявил, что содержание его философии действительности представляет окончательную истину, притом в последней инстанции? Как где? Ну, например, в дифирамбе в честь своей системы, который мы отчасти привели во 2-й главе. Или, когда он выше цитированном положении говорит: нравственные истины, поскольку они познаны до самых своих оснований, притязают на значение, подобное выводам математики. Затем, разве г. Дю-

¹⁾ С тех пор, как я это написал, мои слова, повидимому, уже подтвердились. Новейшие исследования, произведенные Менделеевым и Богусским при посредстве более точных аппаратов обнаружили для всех настоящих газов изменчивое отношение между давлением и объемом; коэффициент объема у водорода оказался при всех до-селе применяемых давлениях положительным (объем уменьшался медленнее, чем возрастало давление); для атмосферного же воздуха и для других исследованных газов — для каждого из них был найден нулевой пункт давления, так что при меньшем давлении указанный коэффициент положителен, при большем — отрицателен. Таким образом, все еще до сих пор практически пригодный закон Бойля нуждается в дополнении целым рядом специальных законов. (Теперь — 1885 г. — мы знаем, что вообще не существует никаких «настоящих газов»: все они приведены в текуче-жидкое состояние).

ринг не утверждает, что, исходя из истинно-критической точки зрения и путем исследования, достигающего до самых корней, он проник до самых этих последних оснований, «основных схем», следовательно, придал нравственным истинам характер окончательных истин в последней инстанции? Или же, если г. Дюринг это притязание выставляет не для себя и не для своего времени; если он желает только сказать, что когда-либо в туманном будущем могут быть установлены окончательные истины в последней инстанции; если он, следовательно, хочет сказать приблизительно, только более туманно, то самое, что говорят «раз'едающий скептицизм» и «дикая путаница», — в таком случае, к чему было столько шума? Чего же их милости угодно?

Если уже с понятиями об истине и заблуждении мы не уехали далеко, то еще меньше шансов на это с понятиями о добре и зле. Противоположность этих понятий развивается исключительно в области морали, стало-быть, в сфере, относящейся к истории человечества, в которой реже всего встречаются окончательные истины в последней инстанции. У каждого отдельного народа самостоятельно развивались понятия о добре и зле, и они изменялись из поколения в поколение так сильно, что часто прямо противоречили одно другому. Но, возразят нам, добро все-таки не есть зло и зло не есть добро; если добро и зло бросить в одну кучу, то не будет никакой нравственности, и тогда каждый может делать все, что захочет. — Таково, в голом виде, без оракульского прикрытия, мнение г. Дюринга. Но вопрос вовсе не решается так просто. Если бы это было так просто, то не было бы никакого спора о добре и зле, каждый бы знал, что есть добро и что есть зло. А между тем, так ли обстоит дело ныне? Прежде всего христианско-феодальная, унаследованная от старой религиозной эпохи, которая, в свою очередь, принципиально делится на католическую и протестантскую, при чем опять-таки нет недостатка в дальнейших подразделениях, от незуитско-католической и ортодоксально-протестантской до слабо обоснованной морали. Одновременно с этой моралью фигурирует современно-буржуазная нравственность, а рядом с ней пролетарская мораль будущего; таким образом, прошедшее, настоящее и будущее, в наиболее передовых странах Европы выдвинули на сцену три большие группы одновременно и параллельно существующих теорий нравственности. Какая же из них верна? Ни одна, если иметь в виду абсолютно окончательное их значение; но, конечно, та мораль обладает наибольшим количеством элементов, обещающих ей продолжительную устойчивость, которая в данную эпоху выражает точку зрения будущего, т.-е. в данный момент — мораль пролетарская. Если же каждый из трех классов современного общества (феодальная аристократия, буржуазия и пролетариат) имеет свою особую мораль, то из этого можно сделать тот вывод, что люди, сознательно или бессознательно, черпают свои нравственные воззрения в последнем счете из практических условий их классового положения, т.-е. из экономических отношений, обуславливающих собою производство и обмен продуктов.

Но ведь в трех вышеуказанных нравственных теориях есть нечто общее им всем, и разве это общее не представляет, по крайней мере, известной доли раз навсегда данной вечной нравственности? На это мы ответим, что эти теории, выражая собою три различные ступени одного и того же исторического процесса, необходимо имеют некоторую общую историческую подкладку, а потому в них, само собою разумеется, и содержится много общего. Более того. Для одинаковых или приблизительно одинаковых стадий экономического развития нравственные теории должны необходимо более или менее совпадать. С того момента, как развилась частная собственность на предметы движимости, для всех обществ, в которых существовала эта частная собственность, должна была стать общей нравственной заповедь: «не укради». Но можно ли, в виду этого, назвать эту заповедь вечной нравственной истиной? Отнюдь нет. В обществе, в котором устранимы поводы к краже, где, следовательно, со временем кражу может совершить разве только душевно-больной, — какому осмеянию подвергся бы тот проповедник нравственности, который вздумал бы торжественно провозглашать вечную истину: не укради!

Поэтому мы отвергаем всякую попытку навязать нам какую-либо моральную догматику в виде вечного, окончательного, отныне неизменного нравственного закона, под тем предлогом, что и нравственный мир имеет свои непреходящие принципы, которые стоят выше историй и национальных развитий. Напротив, мы утверждаем, что всякая нравственная теория до сих пор являлась результатом, в конечном счете, данного экономического положения общества. А так как общество до сих пор развивалось в классовых противоположностях, то нравственность всегда была классовой нравственностью: либо она оправдывала господство и интересы господствующих классов, либо, когда класс угнетенный становился достаточно сильным, она выражала возмущение против этого господства и защищала будущие интересы угнетенных. Что при этом, в общем и целом, в нравственности, как и во всех прочих отраслях человеческого познания, происходил прогресс,—в этом нельзя сомневаться. Но еще и теперь мы не вышли за пределы классовой нравственности. Нравственность, стоящая выше классовых противоречий и всяких воспоминаний о них станет возможной при такой степени развития общества, когда не только устранится противоположность классов, но, вместе с тем, изгладится и ее след в практической жизни. Такое положение дает возможность вполне оценить всю силу самовозвеличения г. Дюринга, который изнутри классового общества претендует, накануне предстоящей социальной революции, навязать будущему обществу, освободившемуся от классовых интересов, вечную, независимую от времени и реальных изменений, нравственность! Так распоряжается г. Дюринг с человечеством, воображая, что он понимает, по крайней мере, в общих чертах, строй этого будущего общества.

В заключение еще одно «в своем основании своеобразное», но тем не менее «до корней достигающее» открытие по отношению к происхождению зла. «Тот факт, что тип кошки со свойственной ей фальшью проявляется в образе живого, для нас имеет то же значение, как и наличие подобного характера в человеке... поэтому зло не есть нечто таинственное, если не желать видеть нечто мистическое в существовании кошки или вообще хищных животных». Итак, зло — это кошка. Следовательно, дьявол не имеет рогов и копыт, но зато у него когти и зеленые глаза. И Гёте совершил непростительную ошибку, когда вывел Мефистофеля в виде черной собаки, а не виде кота. Зло есть кошка! Таков моральный вывод не только для всех возможных миров, но... и для котов!

VIII. Нравственность и право. Равенство.

Мы уже неоднократно знакомились с методом г. Дюринга. Он состоит в том, чтобы разлагать каждую группу объектов познания на их мнимо простейшие элементы, применять к этим элементам столь же простые, якобы самой собой разумеющиеся, аксиомы, и затем уже оперировать с добытыми таким образом, результатами. Точно так же и вопросы, касающиеся общественной жизни, «должны быть решаемы в отдельных простых, основных формах — аксиоматически, как если бы дело шло об... основных формах математики». Таким образом, применение математического метода к истории, нравственности и праву должно и в этой области доставить математическую уверенность в истинности добытых результатов, должно придать им характер действительных неизменных истин.

Этот метод есть только видоизменение старого излюбленного идеологического, иначе говоря, априорического метода, который познает свойство какого-либо предмета; не из самого этого предмета, но из его понятия. Сначала из предмета делают понятие предмета, затем переворачивают кошке и меряют предмет по его отражению — понятию. Не понятие должно соответствовать предмету, но предмет понятию. У г. Дюринга вместо понятий фигурируют простейшие элементы, конечные абстракции, до которых он доходит в своем мышлении; но, ведь, это ничего не изменяет в сущности дела. Названные

простейшие элементы, в лучшем случае, несут чисто умозрительный характер, и, таким образом, философия действительности оказывается чистой идеологией, выведением действительности не из нее самой, но из представления.

Если же наш идеолог конструирует нравственность и право не из действительных общественных отношений окружающих его людей, но из понятия или из так называемых простейших элементов «общества», то в таком случае, какой материал имеется для такого конструирования? Очевидно, двоякого рода: во-первых, скудные остатки реального содержания, которые еще может заключаться в этих положенных в основание абстракциях, а во-вторых, то содержание, которое наш идеолог привносит из своего собственного сознания. Но что находит он в своем сознании? Большею частью нравственные и правовые воззрения, которые более или менее точно выражают в положительной или отрицательной форме общественные и политические условия, среди которых он живет; далее, быть может, представления, заимствованные из соответствующей литературы и, наконец, весьма вероятно, — и личные фантазии. Наш идеолог может вертеться и изворачиваться как ему угодно; но историческая реальность обладает именно таким свойством, что выброшенная за дверь влетает обратно через окно. Автор, воображая, что он составляет нравственное и правовое учение для всех миров и всех времен, на самом деле выработал теорию, представляющую собою оторванное от своей реальной почвы, искаженное, словно в вогнутом зеркале, изображение консервативных или революционных течений своего времени.

Итак, г. Дюринг разлагает общество на простейшие его элементы, при чем оказывается, что простейшее общество состоит, по крайней мере, из двух индивидов. Затем над этими двумя субъектами г. Дюринг оперирует «аксиоматически», и в результате этого получается следующая моральная основная аксиома: «две человеческие воли, как таковые, совершенно равны между собой, и одна не может предъявить другой никаких положительных требований. Тем самым «охарактеризована основная форма нравственной справедливости», равно как и справедливости юридической, ибо «для развития принципиальных понятий права необходим только анализ совершенно простого и элементарного отношения между двумя индивидуумами». Что два человека или две человеческие воли, как таковые, совершенно равны между собой,—это не только не аксиома, но и сильное преувеличение. Два человека могут быть прежде всего, даже как таковые, неравны по плу, и этот простой факт тотчас же приводит нас к тому, что простейшие элементы общества — если мы на минуту согласимся на эту детскую шутку — представляют не двое мужчин, но мужчина и женщина, которые образуют семью, простейшую и первичную форму обобществления ради производства. Но на это г. Дюринг никак не может согласиться. Ибо, во-первых, ему нужно сделать обоих основателей общества возможно равными, а во-вторых, даже и г. Дюринг не сумел бы из первобытной семьи вывести моральное и правовое равенство мужчины и женщины. Итак, речь идет об индивидуумах мужского пола, но тогда одно из двух: либо Дюрингова специальная молекула, путем умножения которой должно построиться все общество, заранее обречена на гибель, ибо двое мужчин никогда не сотворят ребенка, или же мы должны допустить, что г. Дюринг подразумевал под ними двух глав семейства. В этом случае, вся простая основная схема превращается в свою противоположность: вместо равенства людей, она доказывает в лучшем случае равенство глав семейства, а так как при этом женщины игнорируют, то сверх того и подчинение женщин.

Мы должны сделать здесь читателю неприятное сообщение: отныне он на довольно долгое время не потеряет из виду этих двух типичных людей, изображающих собою простейшие элементы общества. Они играют в сфере общественных отношений роль, подобную той, какую до сих пор играли в философии г. Дюринга обитатели других планет, с которыми мы, надо надеяться, более не встретимся. Как только приходится решать какой-либо вопрос экономики, политики и т. д., вмиг появляются эти два субъекта и моментально «аксиоматически» обделывают дела. Поистине ве-

миколенное, творческое, систему создающее, открытие нашего философа действительности! Но, к сожалению, если мы пожелаем воздать должную честь истине, окажется, что не он открыл этих двух манекенов. Они общи всему XVIII веку. Они появляются уже в рассуждении Руссо о неравенстве (1754 г.), где, между прочим, они аксиоматически доказывают противоположное тому, что доказывает г. Дюринг. Они играют главную роль и у экономистов, от Адама Смита до Рикардо; но тут они, по крайней мере, неравны в том отношении, что каждый из них занимается своим делом — по большей части это охотник и рыбак — и взаимно обмениваются своими продуктами. Кроме того, они в течение всего XVIII в. служат главным образом простым иллюстрирующим примером, и оригинальность г. Дюринга состоит только в том, что он этот метод иллюстрации возводит в основной метод всякой общественной науки и в критерий всех общественных формаций. Легче, конечно, и невозможно приобрести «строго научного понимания вещей и людей».

Но, состряпав аксиому, утверждающую, что два человека и их две воли совершенно равны между собой и что ни один из них не может приказывать что-либо другому, признаться, очень трудно пайти подходящих для нее двух субъектов. Нужны два таких человека, которые настолько свободны от всякой реальности, от всех существующих в этом мире национальных, экономических и религиозных условий, от всяких половых и личных особенностей, что от того и другого не останется ничего, кроме простого понятия — человек, и в таком случае уж они, конечно, «совершенно равны». Следовательно, это два совершенных духа, вызванных тем самым г. Дюрингом, который повсюду чует и обличает «спиритические» наклонности. Эти два духа, разумеется, должны делать все, что прикажет им их заклинатель; но именно потому, все их проделки совершенно безразличны для человечества.

Однако, проследим несколько далее аксиоматику г. Дюринга. Две воли не могут требовать одна от другой ничего положительного. Если же одна из них все же делает это и проведет свои требования силой, то возникает состояние несправедливости; по этой схеме г. Дюринг объясняет несправедливость, насильственность, рабство, — словом, всю до селе совершавшуюся, заслуживающую порицания историю. Между тем, Руссо, в цитированном сочинении, как раз пользуясь такими же двумя субъектами, доказывал тоже аксиоматически совершенно противоположное, именно: что из двух лиц А и В, первый может поработить второго не посредством насилия, а только тем, что поставит В. в такое положение, в котором последний не может обойтись без А. Это, конечно, представляет для г. Дюринга чересчур уже материалистическое понимание людских отношений. Рассмотрим тот же вопрос с несколько иной стороны. Двое потерпевших крушение попали на уединенный остров и образуют там общество. Воля и того и другого формально равны и одинаковы, и оба они признают это. Но материально между ними существует громадное различие. А — решителен и энергичен, В — нерешителен, ленив и вял; А — боек, В — глуп. Поскольку это так, А навязывает В свою волю сначала путем убеждения, а затем второй из них подчиняется первому по установившейся привычке. Но всегда ли добровольное подчинение по форме правомерно? Будет ли при этом соблюдена форма добровольного подчинения или же нет, — ведь рабство все-таки остается рабством! Добровольное вступление в рабское состояние проходит через все средневековые, а в Германии вплоть до тридцатилетней войны. Когда в Пруссии, после поражения 1806 — 7 гг., было отменено крепостничество, а вместе с тем и обязанность господ заботиться о своих поданных в случаях нужды, заболевания или престарелости, то крестьяне подавали петицию королю, прося о том, чтобы их оставили в рабском состоянии, из боязни, что с его отменой никто более не будет заботиться о них в случае нищеты.

Таким образом схема двух человек столь же «применима» к неравенству и рабству, как к равенству и свободному сотрудничеству, а так как, кроме того, мы вынуждены, под страхом гибели общества, признать их главами семейств, то в этой схеме, следовательно, предусмотрено и наследственное рабство.

Допустим, однако, на время, что аксиоматика г. Дюринга нас убедила, и мы увлечение гипотезой о равноправии двух гипотетических субъектов «общечеловеческой суверенностью», «суверенностью индивидуума», — всеми этими, воистину, колоссально пышными словами, в сравнении с которыми даже Штирнеровский «Единственный» с его собственностью ничего не стоит. Итак, мы все теперь совершенно равны и независимы. Все? Нет, не все. Существуют «случаи дозволительной зависимости», но они объясняются «причинами, которые следует искать не в деятельности двух лиц, как таковой, но в посторонней области, как, например, в отношении к детям, в недостаточности их самопределения». Действительно! Причины зависимости надо искать не в деятельности той и другой воли, как таковой. Конечно, нет, ибо, ведь, деятельность одной воли подвергается стеснению!.. Но надо искать их в посторонней области! А что это за посторонняя область? Это — конкретная определенность угнетенной воли, как недостаточно самоопределяющейся! Наш философ действительности так далеко ушел от действительности, что для него, по сравнению с абстрактным и бессодержательным словом «воля», действительное содержание, характерная определенность этой воли, представляются уже «посторонней областью». Как бы то ни было мы должны констатировать, что равноправие допускает исключения. Его нет для такой воли, которая не обладает достаточным самоопределением. Отступление № 1.

Далее. «Там, где в одном лице соединены животное и человек, можно поставить от имени второго, вполне человеческого лица, вопрос, должно ли его поведение быть таким же, как если бы друг другу противостояли, так сказать, только человеческие личности... Поэтому, наше предположение о двух морально-неравных лицах, из которых одно в каком-либо смысле носит черты животного характера, является типической основной формой для всех отношений, которые могут возникнуть сообразно этому различию в человеческих группах и между ними».

Ну, пусть теперь читатель сам оценит примыкающую к этим нелепым уверткам жалкую диатрибу, в которой г. Дюринг вертится словно иезуитский проповедник, чтобы казуистически установить, как далеко человеческий человек может пойти против животного человека, как далеко он может применять по отношению к нему недоверие, военную хитрость, суровые, даже террористические, а также и обманные средства, даже несколько не поступаясь принципами неизменной нравственности.

Итак, если два человека морально не равны, то тогда нет места их равенству. В таком случае не стоило и вызывать на сцену двух совершенно равных людей, ибо нет двух субъектов, которые были бы совершенно равны в нравственном отношении. Неравенство же, по мнению автора, состоит в том, что одна личность — человеческая, другая же — содержит в себе животные элементы. Но уже самый факт происхождение человека из животного царства обскусливает собою то обстоятельство, что человек никогда не будет совершенно свободен от таких элементов и, следовательно, можно только толковать о большем или меньшем их преобладании, о различии степени животности или человечности. Деление человечества на две резко обособленные группы, на людей и полуживотных, на добрых и злых, на овец и козлиц, кроме философии действительности, свойственно только еще христианству, которое, будучи последовательно, обладает и судьей, на которого возложено совершить такое подразделение людей, но только не здесь на земле, а в загробном мире. Но кто же будет таким судьей в сфере, подлежащей ведению философии действительности?.. Надо полагать, впрочем, что поставленный вопрос не представит особых затруднений: его можно решить так, как он решается христианами в практической жизни: у них «благочестивые овцы» с успехом исполняют функции высшего судьи над своими ближними, отнесенными в разряд «козлиц». Так и секта «философов действительности», если она когда-нибудь образуется, может взять на себя эту почетную роль высшего судьи, без всякого опасения нарушить грубым образом существующий порядок. Впрочем, это для нас безразлично; для нас здесь важно признание, что, бла-

годаря моральному неравенству между людьми, их равенство сводится на-нет. Отступление № 2.

Пойдем дальше. «Если один поступает, сообразуясь с истиной и наукой, а другой по какому-либо суеверию или порассудку, то... обыкновенно должны возникнуть взаимные несогласия... При известной степени неспособности, грубости или дурных наклонностях характера, во всех этих случаях должно происходить столкновение. Не только по отношению к детям и сумасшедшим крайним средством является насилие. Природный характер целых естественных групп и отдельных культурных классов населения может делать неотвратимой необходимостью их подчинение с целью введения в рамки общежития. Чужая воля и в этом случае еще признается равноправной, но, вследствие превратного характера ее оскорбительной и враждебной деятельности, она вызывает необходимость уравниения, и если при этом она терпит насилие, то пожинает лишь плод своей собственной несправедливости».

Следовательно, не только нравственного, но и умственного неравенства достаточно для того, чтобы упразднить «совершенное равенство» двух личностей и установить такую нравственность, согласно которой можно оправдать все позорные насилия цивилизованных хищнических государств над отсталыми народами, вплоть до гнусного поведения русских в Туркестане. Когда генерал Кауфман летом 1873 г. напал на одно из татарских племен, Юмудов, сжег их шатры и велел изрубить их жен и детей, согласно «кавказскому обычаю», как сказано в приказе, — он тем самым как бы доказывал свое право на подчинение своей воле — воли Юмудов, на том лишь основании, что признал волю последних испорченной, склонной к оскорбительной и враждебной деятельности. Храбрый генерал, совершая насилие, вовсе не думал о том, насколько принятые им меры могли быть оправданы неотвратимой необходимостью и насколько вообще они были целесообразны; характер поставленной цели определял сам собою и характер принятых мер. Еще хорошо, что этот генерал не был так жесток, чтобы, вдобавок, надругаться над Юмудами, сказав, что он повелел их истреблять во имя «необходимости уравниения», хотя и считает все-таки их волю «равноправной». Опять-таки и в этом конфликте дело избранных, мимо руководящихся в своем поведении истиной и наукой, следовательно в последней инстанции, философов действительности — решить, в каких случаях суеверие, предрассудок, грубость и дурные наклонности характера обуславливают необходимость насилия и подчинения в целях уравниения. Итак, равенство есть уравниение путем насилия, т.-е. и господин и раб признаются равноправными в сфере угнетения. Отступление № 3, которое уже презирается в позорное бегство.

Между прочим, фраза, в которой проводится мысль, что равноправие достигается помощью насилия, представляет только искажение теории Гегеля, согласно которой преступник имеет право на наказание в виду того, что «наказание является актом осуществления права самого преступника на возмездие, как существа, признаваемого разумным» (Философия права, § 100, примечание).

На этом мы можем покончить. Было бы излишним еще далее следовать за г. Дюрингом, чтобы постепенно выяснить несостоятельность столь аксиоматически установленных им положений относительно равенства, общечеловеческой суверенности и т. д.; не будем мы также излагать и его рассуждения о том, как он, сотворив общество с помощью двух субъектов, вынужден был для объяснения возникновения государства вызвать на сцену третью личность, ибо — чтобы вкратце резюмировать дело — без этого третьего не может быть составлено никаких постановлений большинства, а без таковых, следовательно, без господства большинства над меньшинством, не может существовать государство; наконец, мы отказываемся излагать, как постепенно сворачивает его мысль в более тихое течение конструкции «социалитарного» государства будущего, в пределах которого мы еще будем иметь честь встретить г. автора. Затем уже само собою ясно, что полное равенство воли двух личностей

невозможно без абсурдного предположения, что и та и другая из них ничего не желают, но, отбросив абстрактное представление о человеческой воле, как таковой, если мы будем иметь в виду реальную индивидуальную волю, волю двух действительных людей, то, разумеется, понятие о равенстве будет совершенно неприменимо к ним. Дюринг сам указывает на то, что одна часть человечества находится в подчинении у другой, благодаря влиянию на первую из них таких обстоятельств, как детский возраст, безумие, животность, суеверие, предрассудок и неспособность; другая же господствует над первой в силу необходимости и во имя истины и науки. Таким образом, г. Дюринг, признавая существование различия в качестве воли отдельных индивидуумов и сопровождающего их мышления, тем самым оправдывает неравенство между людьми, которое может дойти до угнетения. Чего же, спрашивается, нам требовать еще, если автор своими собственными руками так основательно разрушил до основания свое собственное здание равенства?

Хотя мы и покопчили с плоскими и неуклюжими рассуждениями г. Дюринга о равенстве, но при этом еще ничего не сказали о серьезной теоретической разработке этого вопроса, особенно в трудах Руссо, и о практическо-политическом влиянии его во время и после французской революции, а также об его агитационном значении, которое он и поныне сохраняет в социальном движении почти всех стран. Выяснение теоретического содержания этого понятия определит и его ценность для пролетарской агитации.

Представление о том, что все люди, как люди, имеют между собой нечто общее и, насколько простирается это общее, равны меж собой, — это представление, разумеется, очень старо. Но от этого представления совершенно отлично современное понятие о равенстве, которое непосредственно соединяется с требованиями равенства социального и политического положения всех людей или, по крайней мере, всех граждан одного государства или всех членов одного общества. Для того, чтобы из первобытного представления об относительном равенстве выработалось новое понятие о равноправии в государстве и обществе и оно стало казаться чем-то естественным, само собою разумеющимся, человечеству потребовались целые тысячелетия. В древнейших, естественно выросших общинах, могла идти речь в лучшем случае о равноправии членов общины, за исключением женщины, рабов и чужестранцев. У греков и римлян неравенство людей играло гораздо большую роль, чем равенство в каком бы то ни было отношении. Мысль о том, чтобы греки и варвары, свободные и рабы, граждане государства и лица, только пользующиеся его покровительством, римские граждане и римские подданные (употребляя последнее слово в широком смысле) могли притязать на равное политическое значение, — должна была казаться древним безумной. Во время римской империи все эти различия мало-по-малу стерлись, за исключением различия между свободным и рабом; таким образом, по крайней мере, для свободных наступило то равенство частных людей, на почве которого развилось римское право, эта совершеннейшая форма, какую мы только знаем, — право, покоящееся на основе частной собственности. Но до тех пор, пока существовала противоположность между свободным и рабом, не могло быть и речи о правах, являющихся следствием общечеловеческого равенства; пример такого положения можно было наблюдать еще недавно в рабовладельческих штатах Сев.-Американского Союза.

Христианство — эта религия рабов и угнетенных — знало только одно равенство для всех людей, именно, равенство унаследованного ими первородного греха. На ряду с этим, оно, в лучшем случае, признавало еще равенство избранных, имевшее, однако, особое значение только в начальном периоде христианства. Следы общности имущества, которые можно точно также отыскать в этом периоде, скорее объясняют, что общность имущества была необходимостью сплоченной жизни для людей, гонимых законом, чем одним из проявлений высокого понятия о равенстве. Очень скоро, впрочем, установление различия между священником и мирянином положило конец и этому виду христианского равенства. Затем, наводнение Западной Европы германцами затормо-

зило на целые столетия распространение идеи о равенстве, внеся в жизнь господства социальной и политической иерархии столь сложного типа, какого до тех пор еще не знали; но одновременно это событие, втянув в историческое движение западную и среднюю Европу, способствовало образованию в ее недрах компактной культурной области из целого ряда национальных государств, взаимно воздействующих друг на друга и взаимно парализующих друг друга. Это подготовило почву, на которой только и мог в последующее время возникнуть и получить дальнейшее развитие вопрос о человеческом равноправии людей, о правах человека.

Феодалное средневековье воспитало в своей среде тот класс, который был призван впоследствии сделаться носителем современного требования равенства, а именно буржуазию. Будучи в начале феодалным сословием, буржуазия преимущественно занята была ремесленной промышленностью и обменом продуктов, доведя их внутри феодалного общества до сравнительно высокой ступени совершенства, а затем, в конце XV ст., великие открытия на море вывели ее на новую, более широкую арену. Внеевропейская торговля, которая до тех пор велась только между Италией и Левантом, распространилась теперь на Америку и Индию, скоро по своим оборотам превысила совокупный итог обмена отдельных европейских стран между собой и внутренний обмен каждой отдельной страны. Американское золото и серебро наводнили Европу и, как разлагающий элемент, проникли во все щели, трещины и поры феодалного общества. Ремесленное производство перестало удовлетворять растущему спросу; в главных отраслях промышленности наиболее передовых стран оно было заменено мануфактурой.

Однако, за этим громадным прогрессом экономических условий жизни общества последовало далеко не тотчас же соответствующее изменение его политического устройства. Государственный строй остался феодалным, тогда как общество становилось все более и более буржуазным. Торговля на высшей ступени своего развития, т.-е. особенно международная и еще более всемирная торговля, требует свободных и нестесненных в своих движениях товаровладельцев, которые, как таковые, равноправны, так как по необходимости обмениваются между собою на основе равного для всех их прага, — равного, по крайней мере, для каждого данного места.

Переход от ремесла к мануфактуре требует, в качестве предварительного условия, существования множества свободных рабочих, — свободных, с одной стороны, от цеховых оков, а с другой — от средств, необходимых для самостоятельного применения своей рабочей силы; это необходимо было для того, что рабочие и фабриканты при заключении условий о найме могли противостоять друг другу, как равноправные. И, наконец, равенство и равное значение всех видов человеческого труда, как труда человеческого вообще, нашло свое бессознательное, но весьма резкое выражение в законе ценности современной буржуазной экономики, согласно которому ценность какого-либо товара измеряется содержащимся в нем общественно необходимым трудом¹⁾. — Там, где экономические отношения требовали свободы и равноправия, политический строй противопоставлял им цеховые узы и отдельные привилегии. Местные привилегии, дифференциальные пошлины и исключительные законы всякого рода тормозили торговлю не только чужестранца или жители колоний, но довольно часто целые категории собственных подданных государства; цеховые привилегии, с своей стороны, в самых разнообразных формах препятствовали развитию мануфактуры, они уничтожали свободу и равенство шансов буржуазных конкурентов, между тем как это было первым и наиболее настоятельным условием развития промышленности. Хотя требование освобождения от феодалных оков и восстановления равноправия путем устранения феодалных неравенств было поставлено на очередь экономическим прогрессом общества, но, рядом с этим, оно очень скоро приняло го-

¹⁾ Это объяснение современных представлений о равенстве из экономических условий буржуазного общества изложено впервые Марксом в „Капитале“.

раздо более широкий характер. Если его выставляли в интересах промышленности и торговли, то того же равноправия приходилось требовать для громадной массы крестьян, которая, находясь на всех ступенях зависимости вплоть до полного крепостничества, большую часть своего рабочего времени должна была отдавать безвозмездно благородному феодалу и, сверх того, еще уплачивать бесчисленные поборы в пользу него и государства. Таким образом возникло требование отмены феодальных преимуществ, изъятия дворянства от податей, политических привилегий отдельных сословий. Но так как в данном случае ареной истории была не мировая империя, в роде Римской, а целая система независимых государств, поддерживающих между собой сношения на равной ноге, в виду одинакового развития в их среде буржуазного порядка, то, само собою разумеется, что упомянутое требование приняло всеобщий, расширяющийся за пределы отдельного государства характер, и вследствие этого свобода и равенство были провозглашены правами человека. Весьма характерно для понимания специфически буржуазного значения этих прав человека, что американская конституция первая, которая признала права человека, одновременно с этим освятила законом существовавшее в Америке рабство цветных людей: классовые привилегии устраняются, расовые же узаконяются.

Как известно, рядом с буржуазией, освобождающейся от уз феодального бюрократства, и превращающейся из средневекового сословия в современный класс, всегда и неизбежно нарастал и развивался класс пролетариев. И точно так же буржуазные требования равенства сопровождаются обыкновенно пролетарскими требованиями равенства. С того момента, как было выставлено буржуазное требование отмены классовых привилегий, выступает и пролетарское требование отмены классовых различий — сначала в религиозной форме, примыкая к первоначальному лозунгу христианства, позднее же, в форме политического требования, которое опиралось на буржуазное учение о равенстве. Пролетарии ловят буржуазию на слове: равенство должно проявляться не только в сфере государственных отношений, но также осуществляться в действительных, реальных условиях общественной и экономической жизни. Особенно с тех пор, как французское буржуазия со времени великой революции выдвинула на первый план гражданское равенство, — французский пролетариат не переставал требовать социального и экономического равенства, и это требование стало боевым кличем французских рабочих.

Требование равенства в устах пролетариата имеет, таким образом, двоякое значение. Либо оно является — и это бывает особенно в самом начале, например, в крестьянской войне, — стихийной реакцией против вопиющих социальных неравенств, протестом бедных против богатых, рабов против господ, голодных против расточителей, и как таковое, оно является простым выражением революционного инстинкта и в этом, только в этом, находит свое оправдание. Когда же пролетарское требование возникает в форме реакции против буржуазного требования равенства, черпая из последнего более правильные и широкие выводы, и это требование сопровождается агитацией среди рабочих против капиталистов, — в этом случае оно обуславливается самым существованием буржуазного общества и может замолкнуть только с прекращением последнего. Во всяком случае, действительное содержание пролетарского требования равенства сводится к требованию отмены классов. И требование равенства, которое простирается далее этого, необходимо впадает в абсурд. Мы уже привели примеры такого абсурда и нам придется еще указывать на них, когда мы будем знакомиться с фантазиями г. Дюринга относительно будущего строя.

Таким образом, представление о равенстве, как в своей буржуазной, так и в пролетарской форме, является продуктом исторического процесса, для создания которого были необходимы известные и определенные условия, которые, в свою очередь, были результатом предшествующей истории. Такое представление о равенстве есть все, что угодно, только не принцип вечной истины. И если в настоящее время оно

для широкой публики есть нечто само собой разумеющееся (в том или другом смысле). или, как говорит Маркс, «уже обладает прочностью народного предрасудка», то это вовсе не доказывает его аксиоматической истинности, а лишь указывает на его всеобщую распространенность и на то, что идеи XVIII в. еще не утратили своего значения для нашего времени. Если, таким образом, г. Дюринг без дальних размышлений заставляя своих пресловутых двух индивидуумов устраиваться на почве равенства, то это происходит оттого, что народному предрассудку это кажется вполне натуральным. И в самом деле, г. Дюринг называет свою философию естественной, так как она выводится из таких положений, которые ему кажутся естественными. Но почему они представляются ему естественными, — таким вопросом он, конечно, не задается.

IX. Нравственность и право. Свобода и необходимость.

«Для политической и юридической области в основу высказанных в этом курсе принципов положено самое тщательное изучение специальности. Поэтому, следует... иметь в виду, что здесь... речь шла о последовательном изложении выводов юриспруденции и государственного управления. Моей первоначальной специальностью была юриспруденция, и я посвятил ей не только обычные три года теоретической университетской подготовки, но и время трехлетней судейской практики, в течение которого я продолжал изучение этого предмета, имея специальной целью углубление его научного содержания... Точно так же моя критика частноправовых отношений и соответствующих им юридических пробелов, наверное, не могла бы обладать такой уверенностью, если бы я не был убежден в том, что мне знакомы слабые места моей специальности так же хорошо, как ее сильные стороны».

Человек, который имеет основание говорить о себе в таком тоне, казалось бы, должен внушать к себе доверие, в особенности, по сравнению с «когда-то, по собственному признанию, поверхностно изучавшим право г. Марксом». Между тем, эта компетентная личность, взявшая на себя с такой уверенностью роль критика частноправовых отношений, — ограничивается болтовней о том, что «юриспруденция в научном отношении недалеко пошла», что положительное гражданское право питается несправедливостью, так как санкционирует «насильственную собственность», и что «естественной основой» права уголовного является место — утверждение, в котором во всяком случае ново только мистическое выражение «естественной основы». Критика государственного управления ограничивается исследованием отношений между известными уже нам гипотетическими тремя лицами, из которых одно насильственно подчинило остальных, при чем г. Дюринг с деловитой серьезностью обсуждает вопрос, кто ввел впервые насилие и порабощение, второе или третье из этих лиц.

Однако, проследим несколько далее за процессом тщательного изучения г. Дюрингом его специальности и познакомимся ближе с его научностью, углубленной 3-х летней судейской практикой.

О Лассале г. Дюринг рассказывает нам, что он был предан суду за возбуждение к «покушению на кражу шкатулки», но что, впрочем, осуждение не состоялось, благодаря тому, что в то время еще было возможно, так называемое, освобождение за отсутствием улики... т.-е. оправдание «наполовину».

Процесс Лассала, о котором здесь говорится, рассматривался летом 1848 года судом присяжных в Кельне, где, как почти по всей Рейнской провинции, действовало французское уголовное право. Только для проступков и преступлений политических было, в виде исключения, введено Прусское земское право. Но уже в апреле 1848 г. это исключительное постановление было отменено Кампгаузенем. Французское право вовсе не знает игривой категории Прусского земского права — «возбуждения к преступлению, а тем более «возбуждения к покушению на преступление». Оно знает только подстрекательство к совершению преступления, при чем, чтобы под-

стрекательство было наказуемо, оно должно быть произведено «путем подарков, обещаний, угроз, злоупотребления положением или силой, коварными подговорами или наказуемыми проделками» (Code penal. art. 60).

Министерство, углубившись в Прусское земское право и проглядев, подобно г. Дюрингу, существенное различие между строго определенным французским законом и расплывчатой неопределенностью земского права, — возбудило против Лассалья тенденциозный процесс и блистательно провалилось. Утверждать же, что будто бы французский уголовный процесс допускает прусское «освобождение за отсутствием улик», т.-е. оправдание наполовину, — на это может отважиться лишь совершенный невежда в области французского современного уголовного права. Французский закон в уголовном процессе признает только осуждение или оправдание, и никакой середины.

Таким образом, мы должны сказать, что г. Дюринг, наверное, не применил бы к Лассалю с подобной уверенностью своего «исторического описания в высоком стиле», если бы когда-либо держал в руках кодекс Наполеона.

Мы должны, в виду этого констатировать, что г. Дюрингу совершенно незнакомо единственное современно-буржуазное законодательство, покоящееся на социальных завоеваниях великой французской революции и переводящее их на юридический язык, т.-е. современное французское право.

В другом месте, в критике, введенного на всем континенте по французскому образцу, постановления приговоров присяжными большинством голосов, г. Дюринг нас поучает следующим образом: «Да, можно даже освоиться с такой, впрочем, совсем неслыханной в истории идеей, что в совершенном обществе осуждение, при наличии противоречий в голосах присяжных, будет немыслимым учреждением... Впрочем, эта серьезная и глубоко идейная точка зрения, как уже указано выше, кажется для традиционных форм (gebilde) неподходящей потому, что она для них слишком хороша».

Опять-таки г. Дюрингу неизвестно, что единогласие присяжных не только в уголовных приговорах, но и при решениях в гражданском процессе безусловно необходимо по английскому обычному праву, т.-е. по тому написанному праву, которое действует с незапамятных времен, следовательно, по меньшей мере, с XIV в. Таким образом, серьезная и глубоко идейная точка зрения, которая, по мнению г. Дюринга, слишком хороша для современности, имела в Англии силу закона уже в самое мрачное время средних веков, и из Англии была перенесена в Ирландию, в Соединенные Штаты Сев. Америки и во все английские колонии. Между тем, тщательное изучение не вырвало у г. Дюринга, по этому поводу, ни одного, хотя бы жалкого словечка! Итак, оказывается, что область, где действует единогласное решение присяжных, не только бесконечно громадна по сравнению с ничтожной областью, в которой царит Прусское земское право, но она даже значительнее, чем все области вместе взятые, в которых дела решаются большинством голосов присяжных. Но не только г. Дюрингу неизвестно современное французское право, он столь же несведущ и по отношению к германскому, которое развивалось независимо от римского авторитета и распространилось по всем частям света, а также незнаком он и с английским правом! И неудивительно! По словам самого г. Дюринга, английский тип юридического метода мышления все равно «оказался бы несостоятельным перед выработанным на германской почве воспитанием в чистых понятиях римских юристов-классиков». Далее он замечает: «что значит говорящий по-английски мир со своим детским смешанным языком, по сравнению с нашей стихийно выросшей речью?» На что мы можем только ответить вместе со Спинозой: ignorantia non est argumentum — невежество не есть довод.

После всего этого, мы не можем прийти к другому какому-либо выводу, кроме того, что тщательное изучение специальности г. Дюрингом состояло лишь в том, что он три года углублялся теоретически в Corpus juris, а в следующие три года — прак-

тически знакомился с благородным Прусским земским правом. Конечно, такая ученость сама по себе уже представляет известную заслугу и была бы достаточной для какого-нибудь весьма почтенного старо-прусского окружного судьи или адвоката. Но когда затеваешь составить философию права для всех миров и всех эпох, то следовало бы до известной степени отдавать себе отчет в правовых отношениях таких наций, которые сыграли в истории совершенно иную роль, чем тот уголок Германии, в котором процветает Прусское земское право. Однако, посмотрим дальше.

«Пестрая смесь местных и провинциальных прав и прав отдельных государств, которые самым произвольным образом, то как обычное право, то как писанный закон, перекрещиваются в самых разнообразных направлениях, при чем часто важнейшие вопросы облекаются в форму статутов, — этот образчик беспорядка и противоречия, в котором отдельные параграфы уничтожают общее постановление, а затем, при случае, общее постановление, в свою очередь, отменяет частные, конечно, не пригоден к тому, чтобы сделать для кого-либо возможным выработку ясного правового сознания». Но где же, спрашивается, царит эта путаница? Опять-таки в области действия Прусского земского права, где бок о бок с последним еще ютятся, пользуясь в самой разнообразной форме относительным значением, провинциальные права и местные статуты, а также обычное право и прочий хлам, вызывая во всех юристах-практиках те жалобы, которые здесь с таким сочувствием повторяет г. Дюринг. Но если бы наш философ потрудились, даже не покидая своей излюбленной Пруссии, посетить Рейнскую область, то убедился бы, что и там уже сданы в архив около семидесяти лет тому назад все провинциальные и обычные статуты и права, не говоря о других цивилизованных странах, в которых давно отошли в область преданий все устарелые порядки.

Далее: «Менее резко проявляется замаскирование естественной индивидуальной ответственности в тайных, а потому и анонимных, коллективных приговорах и в коллективных действиях коллегий и в других чиновничьих учреждениях, которые маскируют личное участие каждого члена». И в другом месте: «При современном положении дел должно казаться изумительным и крайне строгим требованием, если кто-либо выскажется категорически против маскирования и прикрытия индивидуальной ответственности коллегиями».

Быть-может, г. Дюрингу покажется изумительной новостью также и то, что в сфере действия английского права каждый член судебной коллегии должен отдельно подать и мотивировать свой голос в гласном заседании, что административные коллегии не выборного характера, не обсуждающие и не голосующие открыто, представляют преимущественно прусское учреждение и неизвестны в большинстве других стран и что поэтому его требование может казаться изумительным и крайне строгим только в Пруссии.

Точно так же и жалобы его на принудительное вмешательство религиозных элементов при рождении, браке, смерти и погребении могли бы относиться, принимая в расчет более крупные цивилизованные страны, только к Пруссии, а со времени введения в ней гражданской регистрации не относятся и к ней. То, что г. Дюринг надеется осуществить посредством своего «социалитарного» будущего строя, как оказывается, разрешил уже г. Бисмарк путем простого закона. Не менее смешна жалоба «по поводу недостаточной подготовки юристов к выполнению своей профессии», которая может быть распространена и на «чиновников администрации». В ней звучит специфически прусская переминая, и грандиозно комическая нудофобия г. Дюринга, если не специально прусского, то, во всяком случае, заальбского свойства. Этот философ действительности, которой суверенно смотрит сверху вниз на все предрассудки и суеверия, сам до такой степени погряз в них, что сохранившийся от средневекового ханженства народный предрассудок против евреев называет «естественным приговором», покоющимся на естественном основании», и доходит до колоссального заявления, что «социализм — это единственная сила, способная уничтожить современное

состояние населения с сильной еврейской примесью». «Состояние» с сильной еврейской примесью... Какой «естественно немецкий» язык!

Довольно. Хвастовство своей юридической ученостью имеет фактической подкладкой, в лучшем случае, самые ординарные профессиональные познания вполне ординарного старо-прусского юриста. Область юриспруденции и государственного управления, выводы которых г. Дюринг последовательно излагает, «совпадает» с областью действия Прусского земского права. Кроме римского права, так хорошо известного каждому юристу теперь даже в Англии, его юридические познания ограничены единственно прусским земским правом, представляющим собою не что иное, как свод законов просвещенного патриархального деспотизма, изложенных на искаженном немецком языке. Этот источник мудрости г. Дюринга, переполненный моральными изречениями, юридической неопределенностью и бессодержательностью и узаконяющий палочные удары, как меру пытки и наказания, еще принадлежит к дореволюционной эпохе. Но «что сверх того», то для г. Дюринга от лукавого, и поэтому он совсем игнорирует как современно-буржуазное французское, так и английское право с его совершенно своеобразным развитием и с его еще неизвестным на всем континенте прочным обеспечением личной свободы.

Философия, которая «не признает никакого только видимого горизонта, но в могуче-преобразующем развитии развертывает все земли и все небеса внешней и внутренней природы», эта философия имеет своим действительным горизонтом «границы шести старо-прусских восточных провинций» и, пожалуй, еще пару других уголков земли, в которых действует благородное Земское право; за этим же горизонтом она не развертывает ни земель, ни небес, ни внешней, ни внутренней природы, а только картину собственного грубейшего невежества относительно всего того, что совершается в остальном мире.

Невозможно правильно рассуждать о нравственности и праве, не касаясь вопроса о так называемой свободе воли, о вменяемости человека и об отношении между необходимостью и свободой. Философия действительности также имеет не только одно, но даже два решения этого вопроса.

«На место всяких ложных теорий о свободе надо поставить эмпирическое свойство того отношения, в котором, с одной стороны, рациональное понимание (Einsicht), а с другой—инстинктивные побуждения соединяются, так сказать, в некоторую равнодействующую силу. Основные явления этого рода динамики могут быть взяты из наблюдения, а что касается предвидения события еще не наступившего, то его тоже можно до известной степени определить в общих чертах качественно и количественно. Тем самым нелепые фантазии о внутренней свободе, которыми питались целые столетия, не только устраняются в корне, но и заменяются кое-чем положительным, что может быть применимо в практике жизни для руководства». — Согласно этому мнению, свобода состоит в том, что рациональное понимание тянет человека направо, иррациональное влечение — влево, и в этом параллелограмме сил действительное движение происходит по направлению диагонали. Таким образом, свобода является средним между пониманием и влечением, разумом и неразумностью, и степень ее присутствия в каждом отдельном человеке можно определить эмпирически, если употребить астрономическое выражение, «уравнением личности». Но через несколько страниц читаем: «мы основываем нравственную ответственность на свободе, которая, впрочем, для нас означает не что иное, как восприимчивость к сознательным побуждениям, сообразно природной и приобретенной разумности. Все такие побуждения действуют с неотвратимой естественной законопоспособностью, вопреки возможному проявлению противоречий в поступках; но именно на это неизбежное принуждение мы и рассчитываем, когда применяем рычаг нравственного воздействия».

Это второе определение свободы, которое совершенно бесцеремонно стирает первое определение, представляет, в свою очередь, опять таки не более, как пло-

кое выражение Гегелевского воззрения. Гегель был первым, правильно определившим отношение между свободой и необходимостью. Для него свобода есть понимание необходимости. «Слепа необходимость лишь постольку, поскольку она не понята. Не в воображаемой независимости от законов природы состоит свобода, но в познании этих законов и созданной этим возможности планомерно пользоваться ими для определенных целей. Это относится столько же к законам внешней природы, как и к тем, которые управляют физическим и духовным бытием самого человека, — к законам, которые мы можем разделять разве только мысленно, но не в действительности. Поэтому свобода воли означает не что иное, как способность человека решать вопросы с знанием дела. Чем, следовательно, свободнее решение человека по отношению к известному вопросу, тем с большей необходимостью будет определено содержание этого решения; тогда как неуверенность, покоящаяся на незнании и, повидимому, произвольно выбирающаяся между многими различными и взаимно противоречащими возможными решениями, тем самым доказывает свою несвободу, свое подчинение той действительности, над которой она должна была бы господствовать. Свобода, следовательно, заключается в господстве над самим собой и над внешней природой, основанном на понимании естественной необходимости, и поэтому она необходимо является продуктом исторического развития. Первые выделявшиеся из животного царства люди были во всех отношениях так же несвободны, как и сами животные, но каждый прогресс культуры был шагом вперед к свободе. На заре истории человечества стоит открытие превращения механического движения в тепло: добывание огня трением; в конце заканчивающегося ныне периода развития — открытие превращения теплоты в механическое движение: паровая машина. — Несмотря на гигантский освободительный переворот, который совершила в социальном мире паровая машина, — он еще не закончен и на полвину. Можно сказать безошибочно, что изобретение паровой машины далеко не имеет того значения, как открытие добывания огня, по своей роли в освободительном движении, так как огонь доставил человеку впервые господство над известной силой природы и тем окончательно отделил его от животного царства. Паровая машина никогда не будет в состоянии произвести такого громадного перелома в развитии человечества, как бы она ни представлялась нам способной, благодаря громадным производительным силам осуществить общественный строй, в котором не будет уже никаких классовых различий, никаких забот о средствах индивидуального существования, и в котором впервые можно будет говорить о действительной человеческой свободе, о существовании в гармонии с познанными законами природы. Как молода еще история человечества и как было бы смешно приписывать нашим теперешним воззрениям какое бы то ни было абсолютное значение, — уже понятно из того, что вся протекшая история человечества может быть охарактеризована, как история периода времени от практического открытия превращения механического движения в теплоту до открытия превращения теплоты в механическое движение.

Конечно, у г. Дюринга история трактуется иным образом. В общем, будучи историей заблуждений, невежества и грубости, насилия и порабощения, она представляется ему противоречащей философии действительности; в частности же, он разделяет ее на два больших отдела, именно: 1) от самому себе равного состояния материи до французской революции и 2) от французской революции до г. Дюринга, при чем XIX столетие «еще в сущности реакционно, оно даже еще более реакционно (!) в духовном отношении, чем XVIII-ое», хотя, однако, оно носит в своих недрах социализм, а тем самым и «зародыш более грандиозного преобразования, чем то, которое представляли себе провозвестники и герои французской революции». Презрение философии действительности к протекшей истории оправдывается следующим образом: «Немногие тысячелетия, которые можно исторически обозреть при помощи писанных источников, вместе с созданным ими доныне строем человечества не имеют боль-

шого значения, если вспомнить о ряде грядущих тысячелетий... Человеческий род, как целое, еще очень молод, и если когда-либо наука, оглядываясь назад, должна будет считаться не с тысячелетиями, а с десятком тысяч лет, то относительно нашей эпохи, которая к тому времени будет считаться седой древностью, неоспоримо будет признано, что она пользовалась духовно незрелыми младенческими учреждениями».

Чтобы не останавливаться долго на этой тираде, мы заметим только следующее. Во-первых, эта «седая древность» при всяких обстоятельствах останется историческим периодом, который будет представлять громадный интерес для всех будущих поколений, так как он образует основу всякого позднейшего высшего развития, имея своим исходным пунктом выделение человека из животного царства, а по содержанию—преодоление таких трудностей, которые никогда уже не представятся будущим ассоциированным людям. А, во-вторых, если, по сравнению с этим конечным моментом седой древности, будущие исторические периоды обещают небывалый научный, технический и общественный прогресс, то было бы во всяком случае крайне странно теперь же самонадеянно навязывать грядущим поколениям окончательные истины в последней инстанции и неизменные и основательные конценции, построенные на основе духовно-незрелого младенчества нашего столь «отсталого» и «ретроградного» столетия. Надо быть философом à la Рихард Вагнер — только без его таланта—чтобы не видеть, что унижительные словечки, которыми бросают в протекшее историческое развитие, попадают в такой же мере и в минимо-последний результат этого развития, в так называемую философию действительности.

Один из характернейших образцов новейшей основательной науки представляет собой отдел, трактующий об индивидуализации и повышении ценности жизни. Здесь через целые три главы проходит, пенясь и бурля с неудержимой силой, поток оракулообразных общих мест. К сожалению, мы должны ограничиться несколькими короткими выдержками.

«Более глубокая сущность всякого ощущения и вместе с тем всяких субъективных форм жизни основывается на различии состояний... Без дальнейших доказательств можно отметить, что не состояние покоя, а переход из одного жизненного состояния в другое является условием полной (!) жизни, благодаря которому повышается чувство жизни и развиваются главнейшие ощущения... Приблизительно само себе равное, так сказать, вялое и как бы находящееся в равновесии состояние, каково бы оно ни было, не имеет большого значения для ощущения бытия. Когда привыкаешь, так сказать, сживаешься с ним, то оно становится чем-то совершенно безразличным, чем-то таким, что не особенно отличается от состояния смерти. Разве только сюда прибавляется, как своего рода отрицательное жизненное возбуждение, мучительная скука... В застоявшейся жизни индивидуума и народа погасает всякая страсть и всякий интерес к существованию. Но только из нашего закона различий можно объяснить все эти явления».

Просто невероятно, с какой быстротой производит г. Дюринг свои в корне своеобразные выводы. Сначала переводится на язык философии действительности общее место, гласящее, что продолжительное возбуждение того же самого нерва или продолжительность того же самого возбуждения утомляет всякий нерв и всякую нервную систему и что в нормальном состоянии должны происходить прорывы и смены нервных возбуждений, т.-е. повторяется все то, о чем уже много лет сообщается в каждом учебнике физиологии и что известно каждому филлистеру по собственному опыту; затем это архи-старое открытие облекается в таинственную форму, и, наконец, открыто провозглашается, что более глубокая сущность всякого ощущения основывается на различии состояний, и такую перефразировку выдают за «наш закон различий»... И этот, закон различий «выполне объясняет» целый ряд явлений, которые опять-таки представляют не что иное, как иллюстрации и примеры приятности перемен, которые даже для самого ordinарного фи-

листерского рассудка не требуют объяснений и которые мы на атом не становятся более ясными, благодаря ссылке на мнимый закон различий.

Но всем этим далеко еще не исчерпывается основательность «нашего закона различий», «Последовательность возрастов жизни и наступление связанных с ними изменений жизненных условий доставляют весьма удобный пример для уяснения нашего принципа различия». «Ребенок, подросток, юноша и мужчина испытывают силу своего чувства жизни в данный период, не столько благодаря уже фиксированному состоянию, в котором они пребывают, сколько благодаря эпохам перехода от одного состояния к другому». Этого недостаточно: «наш закон различий может иметь еще более отдаленное применение, если принять во внимание тот факт, что повторение уже испытанного или совершенного не производит никакого побуждения». А за- сим уж читатель сам может познакомиться с остальной оракульской чепухой (Kohl), которая примыкает к глубоким и основательным положениям вроде выше приведенных. Наконец, г. Дюринг с торжеством провозглашает в конце своей книги: «Для оценки и повышения ценности жизни закон различий имеет решающее значение, как теоретически, так и практически». Равным образом, и для оценки г. Дюрингом духовной ценности его собственной публички: он, должно-быть, верит, что она состоит исключительно из олов или филистеров.

Далее, нам рекомендуются следующие крайне практические правила: «средства для сохранения общего интереса к жизни» (прекрасная задача для филистеров и тех, кто хочет сделаться таковым!) «состоят в том, чтобы дать отдельным, так сказать, элементарным интересам, из которых складается целое, развиваться или сменить друг друга через естественные промежутки времени. Точно так же для того же самого можно пользоваться последовательным рядом в смене низших и легче удовлетворяемых возбуждений высшими и более продолжительно действующими возмущениями, чтобы избежать наступления совершенно лишенных интереса промежутков. Кроме того, надо стараться, чтобы естественно или иначе возникающие напряжения при нормальном ходе общественного существования не учащались и не форсировались произвольным образом, или — что представляет противоположную извращенность — не получали бы удовлетворения уже при самом слабом возбуждении, что препятствовало бы им развиться до той степени, при которой удовлетворение дает наслаждение. Сохранение естественной ритмичности является и здесь, как и в других случаях, предварительным условием равномерного и приятно возбуждающего движения. Не следует также ставить себе неразрешимую задачу — пытаться продлить возмущение, создаваемое каким-либо положением, за пределы времени, отмеренного природой или общественными условиями» и т. д. Если бы кто-нибудь вздумал воспользоваться для урегулирования «познания» жизни этими торжественными филистерскими пророчествами педанта, копающегося в самых нелепых пошлостях, ему, во всяком случае, не пришлось бы жаловаться на «совершенно неинтересные промежутки». Ему нужно бы было все свое время потратить на подготовку и регулирование наслаждений, согласно предписанным правилам, так что для самих наслаждений у него, пожалуй, не осталось бы свободной минуты.

Мы должны познать жизнь, полную жизнь. Только две вещи запрещает нам г. Дюринг: во-первых, «нечистоплотность нюхания табаку», а, во-вторых, «такие напитки и яства, которые имеют свойства, возбуждающие отвращение или вообще противные для более тонкого чувства». Так как, однако, г. Дюринг в курсе политической экономии дифирамбически воспевают винокурение, то под этими напитками он не может подразумевать водки, и мы, таким образом, должны сделать вывод, что его запрещение распространяется только на вино и пиво.. Ему следовало бы еще воспретить мясо, тогда он поднял бы философию действительности на ту самую высоту, на которой подвизался с таким успехом, блаженной памяти, Густав Струве (известный деятель германской революции 1848 г. Прим. пер. в.), т.-е. на высоту чистого ребячества.

Впрочем, именно по отношению к спиртным напиткам г. Дюринг мог бы быть несколько более терпимым. Человек, который, по собственному признанию, все еще не может найти моста от статического к динамическому, имеет полное основание судить снисходительно, если какой-либо бедняк черезчур часто прикладывает к рюмочке и, благодаря этому, также напрасно отыскивает мост от динамического к статическому.

Х. Диалектика. Количество и качество.

«Первое и важнейшее положение о логических основных свойствах бытия касается исключения противоречия. Противоречие, это — категория, которая может принадлежать только мысленной комбинации, но никак не действительности. В вещах нет никаких противоречий, или, другими словами, противоречие, представленное реальным, само является апогеем бессмыслия... Правда, антагонизм сил, которые действуют в противоположном друг другу направлении, составляет даже основную форму всех процессов, обуславливающих существование мира и обитающих в нем существ, но этот антагонизм сил в элементах и индивидуумах, однако, далеко не совпадает с идеей нелепого противоречия... Здесь мы можем быть довольны тем, что рассеяли тот туман, который обыкновенно поднимается из мнимых мистерий логики, и нарисовали ясную картину действительной нелепости понятия реального противоречия, показав бесполезность того фимиама, который там и сям воскуривается в честь подставленного на место антагонистической мировой схематики, довольно грубо отесанного идола диалектики противоречий». Вот и все, что говорится о диалектике в курсе философии. Напротив, в критической истории диалектики противоречий, а с нею особенно Гегеля, характеризуется совершенно иначе. «Противоречие, по логике Гегеля, или, скорее, по его учению о логосе (речи), не есть нечто, находящееся в мышлении, которое, по природе своей, не может быть представлено иначе, как субъективным и созидательным, но оно присутствует объективно в вещах и явлениях и может быть, так сказать, в явном виде, так что бессмысленно не останется только невозможной комбинацией мысли, но и становится действительной силой. Действительность абсурда есть первый член символа веры гегелевского единства логики и нелогичности... Чем противоречивее, тем истиннее, или, — другими словами, — чем абсурднее, тем вероятнее: это правило, даже не вновь открытое, но заимствованное из откровений теологии и мистики, и представляет собою голое выражение, так называемого, диалектического принципа».

Содержание обоих приведенных мест может быть резюмировано в положении, что противоречие равно бессмыслию, а потому не может существовать в мире действительном. Это положение может представляться для людей с довольно здравым человеческим рассудком столь же само собой разумеющимся, как и то, что прямое не может быть кривым, а кривое — прямым. Но дифференциальное исчисление все же, вопреки всем протестам здравого человеческого рассудка, приравнивает при известных условиях прямую линию к кривой и тем достигает таких успехов, которых никогда не достигнуть здравому человеческому рассудку, опирающемуся на признание бессмысленным тождества прямой и кривой. А после той значительной роли, которую сыграла, так называемая, диалектика противоречий в философии, начиная с древнейших греков и доныне, даже более сильный противник, чем г. Дюринг, был бы обязан выступить против нее с более сильными аргументами, не ограничиваясь одним уверением в ее несостоятельности, подкрепляемым ругательствами.

Впрочем, пока мы рассматриваем вещи в состоянии покоя и безжизненными, каждую отдельно, подле и после других, мы не наталкиваемся на какие-либо противоречия в них. Мы находим в них известные свойства, которые частью общи, а частью различны и даже противоположны, но во всяком случае распределены между

различными вещами, следовательно, не заключают в себе никакого противоречия. Поскольку эти наблюдения представляются нам достаточными, постольку мы можем довольствоваться метафизическим методом мышления. Но совсем иначе обстоит дело, когда мы начинаем рассматривать вещи в их движении, их изменяемости, в их жизни, их взаимном воздействии одна на другую. В этом случае мы тотчас же попадаем в область противоречий. Движение само по себе есть противоречие; уж даже простое механическое движение в пространстве может совершаться лишь так, чтобы данное тело в один и тот же момент времени было в одном месте и в то же время в другом, чтобы оно находилось в том же самом месте и не находилось в нем. Постоянное возникновение такого противоречия и одновременное его разрешение как-раз и образуют движение.

Здесь, следовательно, мы имеем такое противоречие, которое «в самих вещах и явлениях присутствует объективно и может быть, так сказать, телесно нащупано». А что говорит по этому поводу г. Дюринг? Он утверждает, что вообще до сих пор нет «в рациональной механике моста между строго статическим и динамическим». Тепер, наконец, читатель может заметить, что скрывается за этой любимой фразой г. Дюринга: не более, как следующее: метафизически мыслящий разум абсолютно не может перейти от идеи покоя к идее движения, так как ему здесь преграждает путь вышеуказанное противоречие. Для него движение совершенно непостижимо, ибо оно есть противоречие. А утверждая непостижимость движения, он вынужден признать, что существует объективное противоречие в самих вещах и явлениях, которое к тому же является и фактической силой.

Если уже простое механическое движение в пространстве содержит в себе противоречие, то оно является еще в большей степени в высших формах движения материи, и особенно в органической жизни и ее развитии. Мы видели выше, что жизнь прежде всего состоит в том, что данное существо в каждый данный момент представляется тем же и чем-то иным. Следовательно, жизнь точно также есть существующее в самих вещах и явлениях, нечто создающееся и разрешающееся, противоречие; и как только это противоречие прекращается, прекращается и жизнь, наступает смерть. Точно также мы видели, что и в сфере мышления мы не можем обойтись без противоречий и что, напр., противоречие между внутренней неограниченной способностью человеческого познания и ее действительным осуществлением в отдельных индивидуумах, крайне ограниченных извне и познающих только в ограниченной степени, — разрешается в бесконечном (по крайней мере, практически для нас) ряде последовательных поколений, в бесконечном прогрессе.

Мы уже упоминали, что одним из главных оснований высшей математики является противоречие, заключающееся в тождестве, при известных условиях, прямой линии с кривой. Она также приводит к другому противоречию, которое состоит в том, что линии, которые пересекаются на наших глазах, тем не менее, уже в 5 — 6 сантиметрах от точки своего пересечения должны считаться как бы параллельными, т.-е. такими, которые не могут пересечься даже при бесконечном их продолжении. И, тем не менее, при посредстве этих и еще более сильных противоречий высшая математика достигает не только правильных, но и вовсе недоступных низшей математике результатов.

Но и низшая математика кишит противоречиями. Таким противоречием является, например, то, что корень из A может быть степенью A , а все-таки $A^{\frac{1}{2}} = \sqrt{A}$. Противоречие представляет и то, что отрицательная величина может быть квадратом какой-либо величины, ибо каждая отрицательная величина, помноженная на себя самое, дает положительный квадрат. Поэтому, квадратный корень из минус-единицы есть не просто противоречие, но даже прямо абсурдное противоречие, действительная бессмыслица. И все же $\sqrt{-1}$ является во многих случаях необходимым результатом

правильных математических операций; более того, — что было бы с математикой, как низшей, так и высшей, если бы ей было запрещено оперировать с $\sqrt{-1}$?

Сама математика, занимаясь величинами переменными, вступает в диалектическую область, и характерно, что именно диалектический философ Декарт произвел в ней этот прогресс. Как математика переменных относится к математике постоянных величин, так и диалектическое мышление вообще относится к метафизическому. Это, однако, не мешает тому, чтобы множество математиков признавало диалектику только в области математики, и среди них многие с помощью добытых диалектическим путем методов оперируют на старый, ограниченный, метафизический лад.

Более подробно разобрать антагонизм «сил» г. Дюринга, и то «антагонистическую мировую схематику» совершенно невозможно, так как он не дает для этого никаких материалов, кроме простых фраз. После же того, как они были написаны, этот антагонизм не встречается нам ни разу, ни в мировой схематике, ни в натурфилософии, и это лучше всего доказывает, что г. Дюринг не умеет предпринять абсолютно ничего положительного с своей «основной формой всякой деятельности в бытии мира и обитающих в нем существ».

Оно и понятно: если гегелевское «учение о сущности» низведено до плоскости мысли о силах, движущихся в противоположном направлении, но не противоречиво, то во всяком случае лучше всего уклониться от какого-либо применения этого общего места.

Не менее антидиалектического гнева расточает г. Дюринг и по поводу книги «Капитал» Маркса. «Недостаток в естественной и понятной логике, которым отличаются диалектически-буреватые хитросплетения и арабески мысли... Уже по отношению к появившейся I-ой части («Капитала») надо применить тот принцип, что в известном отношении и даже вообще (!), согласно известному философскому предрассудку, можно в любой вещи отыскивать все и во всем — любую вещь, и что, согласно этому путанному и превратному представлению, в конце-концов все едино есть». Такое понимание известного философского предрассудка позволяет г. Дюрингу с уверенностью предсказать, чем «окончится» экономическое философствование Маркса, что, следовательно, составит содержание следующих томов «Капитала», причем все это говорится через семь строк после того, как он заявил, что, «впрочем, действительно, невозможно догадаться, что собственно, говоря человеческим и немецким языком, может еще появиться в двух следующих томах».

Не первый уже раз, однако, сочинения г. Дюринга оказываются принадлежащими к таким «вещам», в которых «противоречие присутствует объективно и может быть, так сказать, нащупано». Это, однако, не мешает ему продолжать победоносно: «Но здравая логика наверное восторжествует над карикатурой на нее... Важничанье и диалектический таинственный хлам не соблазнят никого, в ком еще осталось хотя немного здравого суждения, погрузиться в этот хаос идей и стилей. Вместо с вымиранием последних следов диалектических глупостей, это средство дурачения теряет свое обманчивое влияние, и никто не поверит более, что он должен мучиться, чтобы отыскать глубокую мудрость там, где ядро, очищенное от витиеватого облачения, обнаруживает в лучшем случае черты обыденных теорий, если не просто обих мест... Совершенно невозможно воспроизводить (Марксовы) хитросплетения по шаблону учения о логосе без того, чтобы не prostituirовать здравую логику». Метод Маркса состоит в том, чтобы «производить для своих верующих диалектические чудеса» и т. п.

Здесь нас еще не интересует вопрос о правильности или неправильности экономических результатов исследования Маркса, но только примененный им диалектический метод. Верно лишь одно: большинство читателей «Капитала» только теперь узнает от г. Дюринга, что, собственно, они читали. Но в числе их был и сам г. Дюринг, который в 1867 г. (Ergänzungsblätter, III, Helt 3), отдавая отчет о прочитанном, еще был в состоянии передать относительно рационально, для мыслителя его пошиба,

содержание книги Маркса, не будучи вынужденным сначала перевести ее изложение на Дюрингов язык, что теперь он объявляет необходимым. Если же тогда он дал маху, отождествляя диалектику Маркса с диалектикой Гегеля, то все же он тогда еще мог различать метод от добытых им результатов и понять, что последние, в частности, вовсе не опровергаются тем, что первый, вообще, раскритикован.

Самым удивительным в сообщениях г. Дюринга, во всяком случае, является то, что, с точки зрения Маркса, «в конце-концов все составляет одно и то же», так что, пожалуй, по Марксу, напр., капиталисты и наемные рабочие, феодальный, капиталистический и социалистический способы производства — все едино есть, а, в конце-концов, и Маркс и г. Дюринг — это тоже все едино. Чтобы объяснить возможность подобной пошлой глупости, остается только допустить, что одно слово «диалектика» уже приводит г. Дюринга в состояние невменяемости, и в таком положении для него, вследствие известного извращения и путаницы понятий, все, что он говорит и делает, в конце-концов, представляет одно и то же. Здесь мы имеем перед собой образец того, что г. Дюринг называет «моим изложением истории в высоком стиле», или еще: «суммарным приемом, который считается с родовым и типичным и не опускается до того, чтобы в глазах тех, кого такой человек, как Юм, назвал ученой чернью, скомпрометировать себя микрологическими частностями; только этот прием возвышенного и благородного стиля совместим с интересами полной истины и обязанностями по отношению к свободной от цеховых уз публике». Действительно, историческое изложение в высоком стиле и суммарный прием, считающийся с родовым и типичным, весьма удобны для г. Дюринга, так как он при этом может игнорировать, приравнять к нулю все конкретные факты, как микрологические, и, вместо того, чтобы доказывать, может только произносить общие фразы, утверждать и просто греметь. К тому же, этот прием имеет еще то преимущество, что не дает противнику никаких фактических точек приложения для полемики, так что ему не остается никакого другого исхода, как точно так же утверждать в высоком стиле и суммарно разливаться общими фразами и, в конце-концов, в свою очередь громить г. Дюринга, что не каждому придется по вкусу. Поэтому мы должны быть благодарны г. Дюрингу за то, что он, в виде исключения, покидает возвышенный и благородный стиль, чтобы дать нам, по крайней мере, два примера превратного учения Маркса о логике.

«Разве не комична, например, ссылка на смутно-туманное представление Гегеля о том, что количество переходит в качество и что, поэтому, сумма сбережений, достигшая известных пределов, становится, благодаря этому количественному увеличению, капиталом?»

Конечно, в таком, «очищенном» г. Дюрингом изложении, эта мысль довольно курьезна. На стр. 313 (2 изд. «Капитала») Маркс выводит из предшествующего исследования о постоянном и переменном капитале и о прибавочной стоимости заключение, что «не всякая произвольная сумма денег или каких бы то ни было стоимостей может быть превращена в капитал, но что для такого превращения, в руках отдельного владельца денег или товаров должен находиться известный минимум денег или каких-нибудь меновых стоимостей». Он, далее, говорит, что, если, например, в какой-либо отрасли труда рабочий в среднем работает 8 час. на самого себя, т.-е. для воспроизведения стоимости своей заработной платы, а следующие четыре часа на капиталиста, для производства притекающей в карман последнего прибавочной ценности, то в этом случае хозяин, чтобы жить при помощи присвоенной им прибавочной стоимости так, как существуют простые рабочие, т.-е. ограничиваясь только удовлетворением самых необходимых потребностей, — он уже должен располагать такой суммой ценностей, которая была бы достаточна для снабжения двух рабочих сырым материалом, орудиями труда и заработной платой. А так как капиталистическое производство имеет своей целью не просто поддержание жизни, но увеличение богатства, то хозяин с двумя рабочими все еще не капиталист. Чтобы жить хотя бы вдвое лучше, чем обыкновенный рабочий, и иметь возможность превращать половину произведенной прибавочной цен-

ности в капитал, он уже должен быть в состоянии нанимать 8 рабочих, т.-е. владеть суммой в 8 раз большей, чем в первом случае. И только после этих и притом еще более подробных рассуждений, для освещения и обоснования того факта, что не каждая любая незначительная сумма ценности достаточна для превращения ее в капитал и что в этом отношении каждый период развития и каждая отрасль промышленности имеет свою минимальную границу, — только после всего этого Маркс замечает: «здесь, как и в естествознании, подтверждается верность открытого Гегелем в его логике закона, что чисто количественные изменения в известном пункте переходят в качественные различия».

А теперь можно насладиться более возвышенным и благородным стилем, которым пользуется г. Дюринг, приписывая Марксу противоположное тому, что он сказал в действительности. Маркс говорит: тот факт, что сумма ценности может превратиться в капитал лишь тогда, когда достигнет известной, хотя и различной в зависимости от обстоятельств, но в каждом данном случае определенной минимальной величины, — этот факт является доказательством правильности гегелевского закона. Дюринг же навязывает Марксу следующие слова: так как, согласно закону Гегеля, количество переходит в качество, то «поэтому известная сумма, затраченная на производство, достигнув определенной границы, становится... капиталом». То-есть, как раз наоборот.

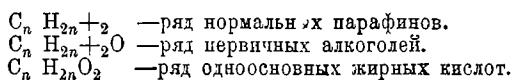
С обыкновением неверно цитировать, «в интересах полной истины» и «во имя обязанностей перед свободной от цеховых уз публикой», мы познакомились уже при разборе г. Дюрингом произведений Дарвина. Чем дальше, тем больше такой прием оказывается необходимо присущим философии действительности, и во всяком случае представляет весьма «суммарный прием». Уж я не говорю о том, что г. Дюринг приписывает Марксу, будто бы он говорит о всякой любой затрате, тогда как речь идет лишь о такой затрате, которая употреблена на сырой материал, орудия труда и заработную плату; таким путем, г. Дюринг заставляет Маркса говорить чистую бессмыслицу. И после этого он еще осмеливается находить комичной им же самим изготовленную нелепость. Как он сотворил фантастического Дарвина, чтобы на нем испробовать свою силу, так и в этом случае он состряпал фантастического Маркса. Воистину «историческое изложение в высоком стиле».

Мы видели уже выше в мировой схематике, что с этой гегелевской узловый линией количественных отношений, по смыслу которой на известных пунктах количественного изменения внезапно наступает качественное превращение, г. Дюринг постигло маленькое несчастье, именно, — что он в минуту слабости сам признал и применил ее. Мы при этом случае привели один из известнейших примеров, — пример изменяемости агрегатных состояний воды, которая при нормальном атмосферном давлении и при температуре 0° Ц. переходит из жидкого состояния в твердое, а при 100° Ц. — из жидкого в газообразное, так что, следовательно, на этих обоих поворотных пунктах простое количественное изменение температуры приводит к качественному изменению воды.

Мы могли бы привести, как из природы, так и из жизни человеческого общества еще сотни подобных фактов для доказательства этого закона. Так, например, в «Капитале» Маркса, в 4-ой главе (производство относительной прибавочной ценности в сфере кооперации, разделения труда, и мануфактурного, машинного и крупного производств) упоминается о множестве случаев, в которых количественное изменение преобразует качество вещей и точно также качественное преобразование изменяет количество их, так что, употребляя ненавистное для г. Дюринга выражение, «количество переходит в качество и наоборот». Таков, например, факт, что кооперация многих лиц, слившись многих отдельных сил в одну общую силу, создает, говоря словами Маркса, «новую потенциальную силу», которая существенно отличается от суммы составляющих ее отдельных сил.

Ко всему этому Маркс в том месте, которое г. Дюринг вывернул наизнанку, в интересах истины прибавил еще следующее примечание: «Примененная в современной химии, впервые научно развитая Лораном и Гергардтом, молекулярная теория основывается именно на этом законе». Но что значит это для г. Дюринга? Ведь он знает, что «превосходные современные образовательные элементы естественно-научного метода мышления отсутствуют именно там, где, как у г. Маркса и его соперника Лассалья, полужнание и некоторое философствование составляют скудную научную аммуницию». Напротив того, у Дюринга в основе лежат «главные завоевания точного знания в области механики, физики, химии» и т. д., а в каком смысле, — мы уже это знаем. Но чтобы и посторонние люди могли составить себе мнение об этом, мы намерены рассмотреть ближе пример, приведенный в названном примечании Маркса.

Там идет речь о гомологических рядах углеродистых соединений, из которых уже очень многие известны и из которых каждое имеет свою собственную алгебраическую формулу состава. Если мы, как это принято в химии, обозначим атом углерода через С, атом водорода — через Н, атом кислорода — через О, а число заключающихся в каждом соединении атомов углерода через n , то мы можем представить молекулярную формулу для некоторых из этих рядов в таком виде:



Если мы возьмем, как пример, последний из этих рядов и примем последовательно $n = 1$, $n = 2$, $n = 3$ и т. д., то получим следующий результат (отбрасывая изомеры):

$\text{C}_1 \text{H}_2 \text{O}_2$	муравьиная к-та	— точка кипения	100°	точка плав.	1°
$\text{C}_2 \text{H}_4 \text{O}_2$	укусы	—	118°	—	17°
$\text{C}_3 \text{H}_6 \text{O}_2$	пропион.	—	140°	—	—
$\text{C}_4 \text{H}_8 \text{O}_2$	масляная	—	162°	—	—
$\text{C}_5 \text{H}_{10} \text{O}_2$	валериан.	—	175°	—	—

и т. д. до $\text{C}_{20} \text{H}_{40} \text{O}_2$ — «каприновая кислота», которая расплавляется только при 80° и не может возвестить о своем кипении, так как она вообще не может улетучиться, не разрушаясь.

Здесь мы видим, таким образом, целый ряд количественно различных тел, образованных простым количественным прибавлением элементов, притом всегда в одном и том же отношении. В наиболее чистом виде это явление выступает там, где все составные элементы изменяют свое количество в одинаковом отношении, как, например, в нормальных парафинах $\text{C}_n \text{H}_{2n+2}$: самый низший из них, водородистый метан CH_4 , — газ; высший же из известных, гексадекан $\text{C}_{16} \text{H}_{34}$, — твердое тело, образующее бесцветные кристаллы, плавящееся при 21° и кипящее только при 288°. В том и другом ряде каждый новый член образуется прибавлением CH_2 , т. е. одного атома углерода и двух атомов водорода к молекулярной формуле предыдущего члена, и это количественное изменение молекулярной формулы образует каждый раз качественно отличное тело. Но эти ряды представляют только особенно наглядный пример; почти повсюду в химии, напр., на различных оксидах азота, на различных оксидах фосфора или серы, мы можем видеть, как «количество переходит в качество», и этим мимо запутанное «туманное представление Гегеля», так сказать, может быть нащупано в вещах и явлениях, причем, впрочем, никто не остается запутанным и туманным, кроме г. Дюринга. И если Маркс первый обратил внимание на это явление, и если г. Дюринг прочел это, ничего не понявши (ибо иначе он, конечно, не позволил бы себе неслыханной дерзости), то этого достаточно, чтобы, и не заглядывая более в знаменитую Дюрингову натурфилософию, выяснить, кому недостает «превосход-

дых современных образовательных элементов естественно-научного метода мышления» — Марксу или г. Дюрингу, и кто из них не обладает достаточным знакомством с главными основаниями химии.

В заключение, мы намерены призвать еще одного свидетеля в пользу превращения количества в качество, именно Наполеона. Последний следующим образом описывает бой плохо маневрирующей французской кавалерии с мамелюками, этими в то время безусловно лучшими в рукопашном бою, но недисциплинированными всадниками: «Два мамелюка безусловно превосходили трех французов; 100 мамелюков были равнопешим 100 французов; 300 французов почти всегда одерживали верх над 300 мамелюками, а 1000 французов уже всегда отражали натиск 1500 мамелюков». Подобно тому, как у Маркса, определенный, хотя и изменчивый, минимум суммы меновой ценности необходим для того, чтобы сделать возможным ее превращение в капитал, точно так же у Наполеона известная минимальная величина конного отряда необходима, чтобы дать проявиться силе дисциплины, заключающейся в сомкнутом строю, и планомерности действия, и чтобы подняться до превосходства даже над более значительными массами нерегулярной кавалерии, лучше сражающейся и лучше маневрирующей и, по крайней мере, столь же храброй. Но говорит ли это что-либо против г. Дюринга? Разве Наполеон не потерпел позорного поражения в борьбе с Европой? А почему? Не потому ли, что ввел запутанное и туманное представление Гегеля в кавалерийскую тактику!

XI. Диалектика. Отрицание отрицания.

«Этот исторический очерк (генезис так называемого первоначального накопления капитала в Англии) представляет сравнительно самое лучшее место в книге Маркса и был бы еще лучше, если б он опирался на научные, а не на диалектические костыли. Первое историческое отрицание приходится здесь, за недостатком лучших и более легких средств, играть роль закваски, которая выводит будущее из недр прошлого. Упразднение индивидуальной собственности, которое совершалось с XVI века указанным способом, представляет первое отрицание. За ним последует второе, которое характеризуется, как отрицание отрицания и, вместе с тем, как восстановление «индивидуальной собственности», но в высшей форме, основанной на общем владении землей и орудиями труда. Если эта новая «индивидуальная собственность» названа у Маркса в то же время общественной собственностью, то в этом проявляется известное гегелевское высшее единство, в котором противоречие преобразуется, т.-е., по известной игре слов, противоречие должно быть одновременно и превзойдено и сохранено... Экспроприация экспроприаторов является, по Марксу, как бы автоматическим результатом исторической действительности в ее материально-внешних отношениях... Едва ли какой-либо разумный человек даст себя убедить в необходимости общности земли и капитала из доверия к гегельянским словесным упражнениям, одним из которых является отрицание отрицания... Впрочем, туманные межеумочные марксовы представления не удивят того, кто знает, какой результат может выйти из гегелевской диалектики, как научной основы, или, вернее, какая бесполоквотина должна из нее получиться. Для незнакомого с этим искусством нужно подчеркнуть, что первое отрицание у Гегеля является заимствованным из катехизиса понятием о грехопадении, а второе — есть понятие об искуплении, ведущем к высшему единству. Конечно, логика фактов не может быть обоснована на такой аналогии, взятой из религиозной области... Г. Маркс остается погруженным в туманный мир своей одновременно индивидуальной и общественной собственности и представляет своим адептам самым разрешить глубокомысленную диалектическую задачу». Так говорит г. Дюринг.

Итак, необходимость социальной революции, восстановления строя, основанного на общественной собственности на землю и на произведении труда средствами

производства, Маркс не может доказать иначе, как ссылкой на гегелевское отрицание отрицания, а, основывая свою социалистическую теорию на этой заимствованной у религии аналогии, он переходит к тому результату, что в будущем обществе будет господствовать одновременно индивидуальная и общественная собственность, как гегельянское высшее единство разрешенного противоречия.

Оставим пока в стороне отрицание отрицания и взглянем на «одновременно индивидуальную и общественную собственность». Последняя охарактеризована г. Дюрингом, как «туманный мир», и в этом он, к удивлению, оказывается действительно правым. Но, к сожалению, в этом туманном мире пребывает не Маркс, но опять-таки сам г. Дюринг. Подобно тому, как раньше он сумел, благодаря своему искусству в пользовании «безумным» гегелевским методом «исключения», без труда установить, что должны содержать в себе еще неоконченные томы «Капитала», так и здесь он без большого труда исправил Маркса по Гегелю, приписывая ему высшее единство собственности, о котором Маркс не говорит ни слова. У Маркса говорится: «Это — отрицание отрицания. Оно восстанавливает индивидуальную собственность, но на почве завоеваний капиталистического периода, положив в ее основу кооперацию свободных работников и общую собственность на землю и на произведенные их трудом средства производства. Превращение основывающейся на собственном труде раздробленной частной собственности отдельных лиц в собственность капиталистическую, естественно, представляет процесс несравненно более медленный, сопряженный с страданиями и более тягостный, чем превращение фактически уже основывающейся на общественном производстве капиталистической частной собственности в собственность общественную». Вот и все. Таким образом, положение, создаваемое экспроприацией экспроприаторов, характеризуется здесь, как восстановление индивидуальной собственности, но на основе общественной собственности на землю и на произведенные самим трудом средства производства. Для всякого, кто понимает немецкий язык, это значит, что общественная собственность распространяется на землю и на другие средства производства, а индивидуальная собственность — на продукты, следовательно, на предметы потребления.

А для того, чтобы это было понятно даже детям шестилетнего возраста, Маркс предлагает на стр. 56 представить себе «союз свободных людей, которые работают при помощи общих средств производства и употребляют свои индивидуальные рабочие силы, как общественную рабочую силу», т.-е. социалистически организованный союз, и говорит: «совокупность продуктов труда союза есть продукт общественный. Часть этого продукта служит вновь в роли средств производства. Она о с т а е т с я о б щ е с т в е н н о й. Другая же часть потребляется членами союза в виде жизненных средств. Она, поэтому, должна быть членами разделена между ними». И все это, казалось бы, должно быть ясно даже для запутавшегося в гегельянстве г. Дюринга.

Одновременно индивидуальная и общественная собственность, это смутное межеумочное понятие, эта бесталковщина, долженствующая получиться в гегелевской диалектике, этот туманный мир, эта глубокомысленная диалектическая загадка, разрешить которую Маркс предоставил своим адептам, — все это опять таки оказывается свободным творчеством и воображением г. Дюринга. Маркс, в качестве мнимого гегельянца, обязывается отыскать в виде результата отрицания отрицания истинное высшее единство, а так как он это делает не по вкусу г. Дюринга, то последний опять, вооружившись своим возвышенным и благородным стилем, старается приписать Марксу, в интересах полной истины, такие вещи, которые представляют собственный фабрикат г. Дюринга. Человек, который так абсолютно не способен, хотя бы в виде исключения, цитировать правильно, должен, разумеется, впадать в нравственное пелендование по поводу «китайской учености» других людей, которые постоянно цитируют правильно, но именно этим «плохо прикрывают недостаток понимания общей идеи цитируемого в каждом данном случае писателя». Прав г. Дюринг. Да здравствует историческое изложение в высоком стиле!

До сих пор мы исходили из того предположения, что упорное фальшивое цитирование г. Дюринга происходит, по крайней мере, вполне добросовестно и покаяется либо на его собственной абсолютной неспособности разума, или же составляет неотъемлемую принадлежность его метода изложения исторических событий в высоком стиле, или же, наконец, зависит просто от неряшливой привычки цитировать на память. Но такое предположение окончательно было подорвано, когда нам пришлось натолкнуться еще на одно невероятное искажение текста «Капитала», и мы тогда поняли, что г. Дюринг перешагнул тот предел, за которым количество переходит в качество. Ибо, если мы примем во внимание, во-первых, что это место у Маркса само по себе изложено совершенно ясно и к тому же дополняется еще другим, абсолютным не допускающим недоразумений пояснением в той же книге; во-вторых, что ни в вышеупомянутой критике «Капитала» (в *Ergänzungsblätter*), ни в критике, помещенной в первом издании «Критической истории», г. Дюринг не открыл этого чудовища — «одновременно индивидуальной и общественной собственности», но только во втором издании ее, т.-е. уже при третьем чтении «Капитала», — и только в этом втором, переработанном на социалистический лад, издании г. Дюринг счел необходимым приписать словам Маркса всевозможный вздор о будущей организации общества очевидно для того, чтобы, в свою очередь, сказать о себе торжествующим тоном (что он и делает): «хозяйственную общину, которую я охарактеризовал экономически и юридически в моем курсе»... — Если мы примем в соображение все это, то сам собою навязывается вывод, что г. Дюринг в этом случае с умыслом «благодетельно развил» мысли Маркса, т.-е. благодетельно для самого г. Дюринга.

Какую же роль играет у Маркса отрицание отрицания? На стр. 791 и следующих он резюмирует окончательные результаты произведенного на предшествующих 50 страницах экономического и исторического исследования о первоначальном накоплении капитала. В до-капиталистическую эру, по крайней мере в Англии, существовало мелкое производство на основе частной собственности работника на средства производства. Так называемое, первоначальное накопление капитала заключалось в экспроприации этих непосредственных производителей, т.-е. в разложении частной собственности, основывавшейся на труде собственника. Это стало возможным потому, что вышеупомянутое мелкое производство совместимо только с ограниченными тесными естественными пределами состоянием производства и общества, и, поэтому, на известной высоте своего развития, оно само создает материальные средства для своего собственного уничтожения. Это уничтожение, обращение индивидуальных и раздробленных средств производства в общественно-сконцентрированные образует первоначальную историю капитала. Как только рабочие превращены в пролетариев, а средства производства в капитал, как только капиталистический способ производства стал на собственные ноги, — дальнейшее стремление к обобществлению труда и обобществлению земель и других средств производства, а следовательно, и дальнейшая экспроприация частных собственников принимает новую форму.

«Теперь остается экспроприировать уже не ведущих собственного хозяйства работников, но капиталиста, эксплуатирующего многих рабочих. Эта экспроприация совершается действием имманентных законов самого капиталистического производства, а именно посредством сосредоточения капиталов. Один капиталист постепенно побирает многих других. Рука-об-руку с этим сосредоточением или экспроприацией многих капиталистов немногими развиваются все в больших и больших размерах кооперативная форма рабочего процесса, сознательное техническое приложение науки, целесообразная эксплуатация земли, превращение орудий труда в такие, которые могут прилагаться только сообща, и экономизирование всех средств производства посредством употребления их, как общих средств производства комбинированного общественного труда. Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, которые похищают и монополизировать все выгоды этого процесса превращения, возрастают бедность, гнет, порабощение, унижение, эксплуатация, но также и возмущение рабочего класса, ко-

торый постепенно возрастает и постоянно обучается, объединяется и организуется самим механизмом капиталистического процесса производства. Монополия капитала становится узлами того способа производства, который развился вместе с ней и под ее влиянием. Концентрация средств производства и обобществление труда достигли такой степени, что они не могут далее выносить своей капиталистической оболочки. Она разрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприирующих экспроприируют!»

Теперь я спрашиваю читателя: где те диалектически кудреватые хитросплетения и арабески мысли, где то путанное и превратное представление, согласно которому, в конце-концов, все едино есть, где диалектические чудеса для верующих, где диалектическая таинственная чепуха и те хитросплетения в духе гегелевской риторики, без которых Маркс, по мнению г. Дюринга, не может построить ход исторического развития? Маркс просто доказывает исторически, а здесь вкратце резюмирует, что, как некогда мелкое производство необходимо должно было создать путем собственного развития условия своего уничтожения, т. е. экспроприацию мелких собственников, так и теперь капиталистический способ производства точно также сам создает те материальные условия, от которых он должен погибнуть. Это процесс исторический, а если он в то же время диалектический процесс, то это вина не Маркса, как бы это фатально ни было для г. Дюринга.

Только теперь, после того, как Маркс покопчил со своим историко-экономическим доказательством, он продолжает: «Капиталистический способ производства и присвоения, а потому и капиталистическая частная собственность, является первым отрицанием индивидуальной частной собственности, основывающейся на собственном труде. Отрицание капиталистического производства производится им же самим с необходимостью естественного процесса. Это—отрицание отрицания» и т. д. (следует вышеупомянутое замечание).

Итак, если Маркс называет этот процесс отрицанием отрицания, он вовсе не думает о том, чтобы доказать этим историческую необходимость процесса.

Напротив того, после того, как он исторически доказал, что этот процесс частью уже совершился и частью еще должен совершиться, только после этого он характеризует его еще, как процесс, совершающийся согласно известному диалектическому закону. Вот и все. Следовательно, только исказивши смысл учения Маркса, г. Дюринг может утверждать, что отрицанию отрицания приходится в данном случае выполнять акушерскую роль для извлечения будущего из недр прошлого, или говорить, что Маркс требует, чтобы убеждение в необходимости общности земли и капитала (что само представляет осязательное противоречие г. Дюринга) строилось на основании веры в отрицание отрицания.

О полной недостаточности понимания природы диалектики свидетельствует тот факт, что г. Дюринг признает ее орудием простого доказательства, подобно тому, как при ограниченном понимании можно считать таковым формальную логику или элементарную математику. Даже формальная логика представляет, прежде всего, метод для отыскивания новых результатов, для перехода от известного к неизвестному, и то же самое, только в гораздо более высоком смысле, представляет диалектика, которая, к тому же, содержит в себе зародыш более широкого мировоззрения, так как она прорывает тесный горизонт формальной логики. Это относится также и к математике.—Элементарная математика, математика постоянных величин, по крайней мере в целом и общем, движется в границах формальной логики; математика переменных величин, существующий отдел которой составляет исключительно бесконечно-малых, есть в сущности не что иное, как применение диалектики к математическим отношениям. Простое доказательство отступает здесь совершенно на задний план, в сравнении с многообразным применением диалектического метода к новым областям исследования. И почти все доказательства высшей математики, начиная с первых доказательств дифференциального исчисления, являются, с точки зрения элементарной ма-

тематики, строго говоря, неверными. Это и не может быть иначе, если добытые в диалектической области данные хотят доказать посредством формальной логики. Затем, пытаться доказать такому заплуму метафизику, как г. Дюринг, что-либо посредством одной диалектики было бы таким же тщетно потраченным трудом, какой испытывали Лейбниц и его ученики, доказывая тогдашним математикам теоремы исчисления бесконечно-малых. Дифференциал вызывал в них такие же судорги, какие вызывает в г. Дюринге «отрицание отрицания», в котором впрочем, дифференциал тоже, как мы увидим, играет некоторую роль. Названные математики, оставшиеся в живых, в конце концов, хотя и не без брюзжания, сдались, — не потому, чтобы были убеждены, но потому, что решения дифференциальных вычислений были всегда верны. Г. Дюринг, как сам он рассказывает, достиг только 40 лет и, если, чего мы ему желаем, он доживет до глубокой старости, то еще, может быть, переживет то же самое.

Но что же такое, все таки, это ужасное «отрицание отрицания», которое так отравляет жизнь г. Дюринга и является в его воображении таким же ужасным преступлением, как у христиан прегрешение против Духа Святого? В сущности очень простая, повсюду ежедневно совершающаяся процедура, которую может понять всякий ребенок, если только сорвать с нее мистическую ветошь, в которую ее закутывала старая идеалистическая философия и в которой она продолжает пребывать в интересах беспомощных метафизиков, вроде г. Дюринга.

Возьмем, напр., ячменное зерно. Биллионы таких зерен размываются, развариваются, идут на приготовление пива, а затем потребляются. Но если одно такое ячменное зерно найдет нормальные для себя условия, если попадет на благоприятную почву, то, под влиянием теплоты и влажности, с ним произойдет нечто такое, что даст росток; зерно, как таковое, исчезает, отрицается; на место его появляется выросшее из него растение, отрицание зерна. Но каков нормальный круговорот жизни этого растения? Оно растет, цветет, оплодотворяется и, наконец, производит вновь ячменные зерна, и как только последние созревают, стебель отмирает, отрицается в свою очередь. Как результат этого отрицания отрицания, мы здесь имеем снова первоначальное ячменное зерно, но не одно, а сам-десять, сам-двадцать или тридцать. Хлебные злаки изменяются крайне медленно, так что современный ячмень совершенно подобен ячменю прошлого века. Но возьмем какое-нибудь пластическое садовое растение, например, далию или орхидею; если мы будем искусственно воздействовать на семя и развивающееся из него растение, то, как результат этого отрицания отрицания, мы получим не только большое количество семян, но и качественно улучшенное семя, могущее производить более красивые цветы, и каждое повторение этого процесса, каждое новое отрицание отрицания, увеличивает это совершенство. Так же, как и с ячменным зерном, процесс этот совершается и у большинства насекомых, как, например, бабочек. Они появляются из яйца путем отрицания его, проходят через различные фазы превращения до половой зрелости, совокупляются и вновь отрицаются, т.-е. умирают, как только завершился процесс продолжения рода и самки положили множество яиц. Что у других растений и животных процесс разрешается не так просто, что они не едижды, но много раз производят семена, яйца или детенышей, прежде чем умрут, — все это нас здесь не касается; нам только нужно было показать, что отрицание отрицания действительно происходит в обоих царствах органического мира. Далее, вся геология представляет ряд отрицаний, подвергнувшихся отрицанию, ряд последовательных разрушений старых и отложения новых горных формаций. Сначала первичная, возникшая от охлаждения жидкой массы земная кора раздробляется океаническими, метеорологическими и атмосферно-химическими воздействиями, и эти раздробленные массы подвергаются на дне морском слоению. Местные поднятия морского дна над поверхностью моря вновь подвергают части этого первого слоения воздействиям дождя, перемены температуры, в зависимости от времен года, воздействиям кислорода и углерода атмосферы; подобным же воздействиям подвергаются вырывающиеся из недр земли, прорывающие ее слои, расплавленные, впоследствии охлаждающиеся

каменные массы. В течение миллионов столетий, таким образом, образуются все новые и новые слои, по большей части вновь и вновь разрушаясь и снова служа материалом для образования новых слоев. Но результат этого процесса весьма положителен: образование почвы, составленной из разнообразнейших химических элементов, находящихся в состоянии механического раздробления, — которая становится благоприятной для значительной и разнообразной растительности.

Также точно и в математике. Возьмем любую алгебраическую величину a . Если мы отрицаем ее, мы получим $(-a)$. Если же мы подвергнем отрицанию это отрицание, помножив $(-a)$ на $(-a)$, то получим $+a^2$, т.-е. первоначальную положительную величину, но на высшей ступени, именно во второй ступени. И для нас, в этом случае, не имеет значения, что то же самое a^2 мы можем получить умножением a положительного на самого себя. Ибо отрицательное a так прочно пребывает в a^2 , что последнее при всяких обстоятельствах имеет два квадратных корня из $+a$ и $-a$. И эта невозможность обойтись без отрицания отрицания, без содержащегося в квадрате отрицательного корня, получает очень осязательное значение уже в квадратных уравнениях. Еще резче отрицание отрицания выступает в высшем анализе, в тех «суммированиях бесконечно-малых величин», которые сам г. Дюринг объявляет наивысшими математическими операциями и которые на обычном языке называются дифференциальным и интегральным исчислением. Как совершаются эти исчисления? Например, у нас в известной задаче имеются две переменные величины x и y , из которых одна не может изменяться без того, чтобы и другая не изменилась в определенном условиях задачи отношении. Я дифференцирую x и y , т.-е. принимаю их столь бесконечно-малыми что от x и y не остается ничего, кроме взаимного их отношения, лишенного, так сказать, всякой материальной основы, остается количественное отношение, лишенное всякого количественного содержания. Следовательно, $\frac{dx}{y}$, т.-е. отно-

шение обоих дифференциалов x и y , равно $\frac{0}{0}$, но это $\frac{0}{0}$ выражает собою $\frac{y}{x}$. Упомяну лишь мимоходом, что это отношение двух исчезнувших величин, этот фиксированный момент их исчезновения, — представляет собой противоречие, хотя последнее так же мало может нас смутить, как оно не смущало вообще математику в течение почти 200 лет. Но не значит ли это, что я отрицаю x и y , но только не в том смысле, как метафизика, т.-е. отрицаю соответственно обстоятельствам дела. Именно, вместо x и y , я имею в данных формулах или уравнениях их отрицание dx и dy . Затем я произвожу дальнейшие действия с этими формулами, обращаюсь с dx и dy как с величинами действительными, хотя и подверженными исключительным законам, а в известном пункте я отрицаю отрицание, т.-е. интегрирую дифференциальную формулу, место dx и dy вновь получаю действительные величины x и y , и тем самым не просто возвращаюсь к исходному моменту, но разрешаю задачу, на которой обыкновенные геометрия и алгебра, быть может, понапрасну обламали бы себе зубы.

Не иначе и с историей. Все культурные народы начинают с общинной собственности на землю. У всех народов, которые перешли известную ступень первобытного состояния, общинная собственность начинает по мере развития земледелия сковывать его производство. Она отменяется, отрицается и, после более или менее долгих промежуточных стадий, превращается в частную собственность. Но на высшей ступени развития земледелия, достигаемой благодаря господству частной собственности на землю, последняя, в свою очередь, налагает оковы на производство, и это в настоящее время наблюдается, как в мелком, так и в крупном землевладении. Отсюда необходимо возникает требование отрицания частной земельной собственности, превращения ее в собственность общественную. Но это требование не означает восстановления первобытной общинной собственности, но установление более высшей, более развитой

формы общинного владения, которое далеко от того, чтобы стать препятствием для производства, которое, напротив того, впервые освободит последнее от оков и даст ему возможность сполна использовать современные химические открытия и механические изобретения.

Или же, например, античная философия представляет первобытный естественный материализм. Как таковая, она не была способна выяснить отношения мысли к материи. Но необходимость выяснения этого вопроса привела к учению об отделенной от тела душе, далее — к утверждению бессмертия души, наконец — к монотеизму. Старый материализм был, таким образом, отрицаем идеализмом. Но при дальнейшем развитии философии идеализм также оказался несостоятельным и отрицается современным материализмом. Последний — отрицание отрицания — не представляет собой простого воскрешения старого материализма, но к прочным основам последнего присоединяет еще все идейное содержание 2-х тысячелетнего развития философии и естествознания, равно как и самой этой 2-х тысячелетней истории. Вообще, он уже не является философией, но просто мировоззрением, которое ищет доказательств и проявляется не в особой науке наук, но в самих реальных науках. Философия, таким образом, «устрачена», т.-е. «одновременно превзойдена и сохранена», превзойдена формально, сохранена в смысле реальности содержания. Таким образом, там, где г. Дюринг видит только «игру слов», оказывается, при более внимательном наблюдении, реальное содержание.

Наконец, даже то самое учение о равенстве Руссо, в сравнении с которым учение г. Дюринга представляет только бледный, искаженный снимок, даже оно не могло быть построено без того, чтобы гегелевское отрицание отрицания не сыграло акушерскую роль (и это еще более, чем за 20 лет до рождения Гегеля). И далекое от того, чтобы стыдиться этого, учение Руссо, в первом своем изложении, можно сказать, блистательно обнаруживает печать своего диалектического происхождения. В естественном и диком состоянии люди были равны, а так как Руссо уже на возникновение речи смотрит, как на искажение естественного состояния, то он имел полное право приписывать равенство и животным, в том числе и тем, гипотетически зачисляемым в класс людей животным, которых в новейшее время Геккель назвал *Alali* — лишенными речи. Но эти люди, похожие на животных, имели одно преимущество перед прочими животными: способность совершенствования, дальнейшего развития, и эта способность стала причиной неравенства. Итак, Руссо видит в возникновении неравенства прогресс. Но этот прогресс был антагонистичен, он в то же время был и регрессом. «Все дальнейшие успехи представляли собою только кажущийся прогресс в направлении усовершенствования отдельного человека, на самом же деле этот прогресс шел в направлении упадка рода человеческого. Обработка металлов и земледелие были теми двумя искусствами, открытие которых вызвало землю), но, вместе с тем, также и господство нищеты и рабства, созданных установлением собственности). «С точки зрения поэта, золото и серебро, а с точки зрения философа — железо и хлеб цивилизовали людей, но и погубили человеческий род». Каждый новый прогрессивный шаг цивилизации есть в то же время и прогресс неравенства. Все учреждения, которые создает для себя общество, возникшее вместе с цивилизацией, превращаются в нечто противоположное своей первоначальной цели. «Бесспорно — и это составляет основной закон всего государственного права — что народы создали себе князей для охраны своей свободы, а не для ее уничтожения». И тем не менее, — говорит Руссо, — эти правители необходимо становились угнетателями народов, и их угнетение усиливается до того момента, когда неравенство, достигшее крайней степени, вновь превращается в свою противоположность, становясь причиной равенства: перед деспотом все равны, именно, каждый равен нулю. «Тут — высшая степень неравенства, та конечная точка, которая замыкает круг и соприкасается с начальной точкой, от которой мы исходим: здесь все частные люди снова становятся равными членами по только

уже потому, что они представляют собой ничто, и подданные не имеют другого закона, кроме воли господина». Но деспот является господином, пока на его стороне сила, а потому, если его изгоняют, он не может жаловаться на насилие... Насилие его поддерживало, насилие его и свергает, все идет своим правильным «естественным путем». Таким образом, неравенство вновь превращается в равенство, но не в старое естественное равенство первобытных людей, лишенных языка, а в высшее равенство — «общественного договора». Угнетатели подвергаются угнетению. Это — отрицание отрицания.

Мы здесь, таким образом, имеем у Руссо не только рассуждение, как две капли воды схожее с рассуждением Маркса в «Капитале», но и в подробностях мы видим целый ряд тех же диалектических оборотов, какими пользуется Маркс: процессы, которые антигонистичны по своей природе, содержат в себе противоречие, превращение известной крайности в свою противоположность и, наконец, как основу всего — отрицание отрицания. Если, следовательно, Руссо в 1754 г. не мог еще говорить «гегелевским жаргоном», то, во всяком случае, он за 23 года до рождения Гегеля глубоко был заражен гегелевским ядом, диалектикой противоречия, учением о Logos'e, теологией и т. д. И если г. Дюринг, опошлив теорию Руссо, затем философствует о равенстве при помощи своих двух мифических личностей, то все-таки и он оказывается на наклонной плоскости, с которой безнадежно скользит в объятия отрицания отрицания. Строй, в котором процветает равенство двух лиц и который при этом представлен, как строй идеальный, назван на стр. 271 философии «первобытным строем». Но этот первобытный строй на стр. 279 необходимым образом заменяется «системой грабежа» — таково первое отрицание. Наконец, из философии действительности, мы узнаем, что система грабежа должна быть уничтожена и на ее место введена открытая г. Дюрингом, покоящаяся на равенстве, хозяйственная коммуна; таким образом мы приходим к отрицанию отрицания, к равенству на высшей ступени. Забавное, благодетельно расширяющее кругозор зрелище: сам г. Дюринг всемиловейше совершает смертный грех — отрицание отрицания.

Итак, что такое отрицание отрицания? Весьма общий и именно потому весьма широко действующий и всезнающий закон развития природы, истории и мышления; закон, который, как мы видели, проявляется в царстве живого и растительном, в геологическом, в математике, в истории, в философии и которому вынужден, сам того не ведая, подчиниться г. Дюринг, несмотря на все свои ухищрения и придирки. Понятно само собой, что я еще ничего не говорю о том особенном процессе развития, который, например, проходит ячменное зерно от проростания до умирания плодоносного растения, если я скажу, что это — отрицание отрицания. Так как такое же отрицание отрицания представляет, напр., и интегральное исчисление, то, утверждая, что в приведенных словах исчерпан предмет, я только утверждаю бы такую нелепицу, что можно было бы, пожалуй, процесс жизни ячменного колоса приравнять к интегральному исчислению или, если хотите, назвать его социализмом. Эту то нелепость и втискивают постоянно в диалектику метафизики. Если же я о всех этих процессах говорю, что они представляют отрицание отрицания, то я лишь обнимаю их этим законом развития и только в этом смысле оставляю без внимания особенности каждого отдельного специального процесса. Диалектика, ведь, представляет собою не более, как науку о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления.

Однако, нам могут возразить: приведенное здесь отрицание не есть действительное отрицание; я отрицаю ячменное зерно и в том случае, если я его размазываю, насекомое — если я его раздавлю, положительную величину a , если я ее вычеркну и т. д. Или я отрицаю положение — роза есть роза, сказав: роза не есть роза; и что выйдет из того, что я вновь отрицаю это отрицание, говоря: роза все-таки есть роза? — Таковы, действительно, главные аргументы метафизиков против диалектики, вполне достойные ограниченности их способа мышления. В диалектике

отрицать не значит просто сказать «нет», или объявить вещь несуществующей, или же уничтожить ее по произволу. Уже Спиноза говорил: *omnis determinatio est negatio* — всякое ограничение или определение есть в то же время отрицание. И далее, способ отрицания определяется здесь, во-первых, общей, а во-вторых, особенной природой данного процесса. И должен не только отрицать, но также затем отрицать это отрицание. Следовательно, первое отрицание я должен произвести таким образом, чтобы было или стало возможным второе отрицание. Но как этого достигнуть? Это смотря по особой природе каждого отдельного случая. Если я размолот ячменное зерно или раздавил насекомое, то я, хотя и совершил первый акт отрицания, но сделал невозможным второй. — Для каждой категории предметов имеется, таким образом, особый, ему свойственный способ такого отрицания, чтобы из него получилось развитие; точно также и для каждой категории представлений и понятий. В исчислении бесконечно малых отрицание происходит иначе, чем в восстановлении положительной степени из отрицательных корней. Этому приходится научиться, как и всему прочему. Зная только, что ячменный колос и исчисление бесконечно малых обнимаются понятием «отрицание отрицания», я не смогу ни успешно вырастить ячмень, ни дифференцировать и интегрировать, точно так же, как знание одних только законов определения тонов в зависимости от измерения струн не дает мне возможности играть на скрипке. Ясно, однако, что при таком отрицании отрицания, которое состоит в детском занятии попеременно ставить *a*, а затем его вычеркивать, или попеременно утверждать о розе, что она есть роза и что она не есть роза, что при таком занятии не выяснится ничего, кроме глупости того, кто предпринимает подобную скучную процедуру. А между тем метафизики хотят нас уверить, что раз мы желаем совершить отрицание отрицания, то его надлежит произвести именно таким образом.

Итак, все-таки никто иной, как г. Дюринг, мистифицирует нас, утверждая, что отрицание отрицания представляет собою комичную аналогию с грехопадением и искуплением, изобретенную Гегелем и заимствованную им из сферы религии. Люди рассуждали диалектически задолго до того, как узнали, что такое диалектика, так же, как говорили прозой уже задолго до того, как появилось слово «проза». Закон отрицания отрицания, который осуществляется в природе и истории, пока он не познал, также бессознательно проявляется в нашем мышлении; он лишь впервые резко формулирован Гегелем. А если г. Дюринг, как оказывается, сам втянут в процесс диалектического мышления, но ему только не нравится его название, так пусть он отыщет лучшее. Если же он намерен изгнать из мышления самую суть дела, то, вместе с тем, он должен изгнать диалектическое развитие из природы и истории и изобрести такую математику, в которой $(-a) \times (-a)$ не даст $+a^2$, а также издать закон, в силу которого дифференцирование и интегрирование были бы воспрещены под страхом наказания.

XII. Заключение.

Мы покончили с философией; то, что еще говорится в «курсе» о фантазиях будущего, займет наше внимание при рассмотрении переворота, произведенного г. Дюрингом в сфере социализма. Что обещал нам г. Дюринг? Все. Что сдержал он из своих обещаний? Ничего. «Элементы философии реальной и соответственно направленной на действительность природы и жизни», «строго научное мировоззрение», «идеи, создающие систему», и все прочие научные истины, рекламированные громкими фразами самого г. Дюринга, оказались, при первом прикосновении к ним, чистой химерой. Мировая схематика, которая, «не жертвуя в чем-либо глубиной мысли, прочно установила основные формы бытия», представляет собою бесконечно поверхностный снимок с гегелевской логики и проникнута, как и последняя, предрассудком, будто бы «эти основные формы» или логические категории ведут таинственное существование где-то вне этого мира, к которому они должны «применяться». Натурфилософия дала

нам космогонию, исходным пунктом которой является «само себе равное состояние материи», состояние, которое может быть представлено только посредством самой безнадёжной путаницы представлений о связи материи и движения и, сверх того, лишь при допущении вне мира находящегося личного Бога, который один может привести это состояние в движение. При рассмотрении органической природы, философия действительности, отвергнув борьбу за существование и естественный подбор Дарвина, как «изрядную дозу скотства, направленного против человечности», должна была ввести затем то и другое через заднюю дверь и принять их как действующие в природе факторы, хотя и второстепенного значения. При этом, она нашла случай проявить в области биологии такое невежество, какого ныне, с тех пор, как нельзя уже избегнуть знакомства с популярно-научными лекциями, — нужно искать днем с фонарем даже среди барышень из образованных сословий. В области нравственности и права оплошление учения Руссо о равенстве привело не к лучшим результатам, чем в предыдущих отделах искажение Гегеля. Точно также и в области правоведения, несмотря на все убеждения автора в противном, обнаружилось такое незнание, которое, и то лишь изредка, можно встретить у самых ординарных старо-прусских юристов. Философия, «которая не признает никакого лишь видимого горизонта», довольствуется в юридической области сферой действия прусского земского права. О «землях и небесах внешней и внутренней природы», которые эта философия обещала показать, развернув их перед нами, — о них, к сожалению, г. Дюринг ничего нам не сообщает точно так же, как и об «окончательных истинах в последней инстанции» и о том, что он называет «абсолютно-фундаментальным». Философ, метод мышления которого исключает всякую возможность впасть в «суб'ективно ограниченное представление мира», оказывается, в действительности, не только сам суб'ективно ограниченным своими крайне недостаточными познаниями, своим ограниченно метафизическим образом мышления и своими ребяческими причудами. Он не может создать свою философию действительности, не навязав предварительно всему человечеству, не исключая евреев, своего отравления в табак, кошкам и евреям в качестве безусловного и всеобщего закона. Его «истинно критическая» точка зрения по отношению к другим людям состоит в том, чтобы неослабно приписывать им вещи, которых они не говорили и которые представляют собственный фабрикат г. Дюринга. Его расплывчатая болтовня на буржуазные темы, как, напр., о ценности жизни и о наилучшем способе жизненных наслаждений, пропитана таким филистерством, которым вполне достаточно объясняется его гнев против «Фауста» Гёте. Оно, конечно, непростительно со стороны Гёте, что он сделал своим героем безнравственного Фауста, а не серьезного философа действительности — Вагнера!

Одним словом философия действительности, в конце-концов, оказывается, употребляя выражение Гегеля, «самым бессознательным отстоем от немецкой настойки», — отстоем, который был бы совершенно жидок и прозрачен, если бы его не сгустили и не замутили крохами оракульских фраз. Таким образом, закончив чтение книги, мы оказываемся знающими столько же, сколько знали прежде, и вынуждены признать, что «новый метод мышления», «в основе своей своеобразные данные и воззрения» и «создающие систему идеи» — все это ряд нелепостей, среди которых нет ни одной строчки, могущей чему-нибудь научить. И этот человек, выхваляющий свое искусство и свои товары под гром литавров и труб, словно обыкновеннейший базарный рекламист, у которого за громким словом не скрывается ровно ничего, — этот человек осмеливается называть шарлатанами таких людей, как Фихте, Шеллинг, Гегель, из которых наименее выдающийся — гигант по сравнению с ним. И впрямь шарлатан..., только кто, собственно?

Второй отдел.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ.

I. Предмет науки и метод.

Политическая экономия, в широком смысле слова, есть наука о законах, управляющих производством и обменом материальных жизненных благ в человеческих обществах. Производство и обмен представляют две различные функции. Производство может происходить без обмена, обмен же, — именно потому, что он прежде всего есть обмен продуктов, — не может, очевидно, обойтись без производства этих продуктов. Каждая из этих общественных функций находится под влиянием особенных внешних воздействий, почему та и другая подчиняются специальным законам, соответствующим их сущности. Но, с другой стороны, эти функции в каждый данный момент обуславливают друг друга и воздействуют друг на друга в такой мере, что их можно обозначать в виде абсциссы и ординаты экономической кривой.

Условия, при которых люди производят и обмениваются продуктами, неодинаковы для разных стран и изменяются в каждой стране из поколения в поколение. Политическая экономия, поэтому, не может быть тождественной для всех стран и всех исторических эпох. Громадная пропасть лежит между странами, в которых находятся еще в употреблении лук со стрелами, каменные ножи, и дикое население лишь редко, в исключительных случаях, вступает в меновые отношения, и такими странами, в которых применяются паровые машины в тысячу лошадиных сил, а также механические ткацкие станки, железные дороги и коммерческие учреждения, в роде английского банка. Жители Огненной Земли не дошли до массового производства и торговли на всемирном рынке, так же точно, как и до вексельных спекуляций и биржевых крахов. Поэтому, кто пожелает объединить одними законами экономику Огненной Земли и экономику современной Англии, тот, очевидно, не извлечет на свет Божий ничего, кроме самых банальных общих мест. Таким образом, политическая экономия по самому существу своему — историческая наука. Она имеет дело с историческим, т.-е. изменяющимся материалом, она прежде всего исследует особые законы каждой отдельной ступени развития производства и обмена и лишь в конце этого исследования может установить немногие, имеющие применение к производству и обмену, вполне всеобщие законы. Причем, однако, само собой разумеется, что законы, имеющие силу только для определенных способов производства и обмена, могут иметь значение для таких лишь исторических периодов, в которых господствуют именно эти способы производства и обмена. Так, например, вместе с введением металлических денег приводится в действие ряд законов, имеющих силу для всех стран и исторических периодов, в которых металлические деньги являются средством обмена.

В зависимости от рода и способа производства и обмена определенного исторического общества и исторических условий существования последнего устанавливаются и

самый род и способ распределения продуктов. В родовой или сельской общине с общей собственностью на землю, с которою или с весьма заметными остатками которой вступают в историю все культурные народы, само собой подразумевается довольно равномерное распределение продуктов; где же возникает более или менее значительное неравенство в их распределении между членами общины, это служит уже признаком начавшегося разложения последней. — Как крупное, так и мелкое землевладение допускают (смотря по историческим условиям, из которых они развились) весьма различные формы распределения. Но очевидно, что крупное землевладение обуславливает всегда иное распределение, чем мелкое: что крупное предполагает или создает противоположность классов — рабовладельцев и рабов, вотчинников и барщинно-обязанных крестьян, капиталистов и наемных рабочих, тогда как при мелком — классовые различия между запятыми в сельскохозяйственном производстве индивидуумами отнюдь не необходимы и, напротив того, самым фактом своего существования указывают на начавшийся упадок парцельного хозяйства. — Введение и распространение металлических денег в стране, в которой до сих пор исключительно или преимущественно велось натуральное хозяйство, всегда соединено с более медленным или более быстрым преобразованием и прежнего распределения и именно в том смысле, что оно все более и более выражается в неравенстве между отдельными личностями и, следовательно, порождает и усиливает противоположность между богатыми и бедными. — Насколько местное цеховое ремесленное производство средних веков делало невозможным существование крупных капиталистов и пожизненных наемных рабочих, настолько же появление этих классов стало неизбежным при современной крупной промышленности, при современном развитии кредита и при соответствующих им формах обмена, основанного на свободной конкуренции.

Таким образом, одновременно с установлением системы, порождающей неравенство в распределении продуктов, возникают и различные классы населения. Общество разделяется на привилегированных и угнетаемых, на эксплуатирующих и эксплуатируемых, на господствующие и управляемые классы, и точно также государство, развившееся из естественно выросших групп одноплеменных общин, сначала только в целях удовлетворения их общих интересов (например, на Востоке — орошение) и для защиты от внешних врагов, — отныне получает специальное назначение: силою охранять условия существования и господства эксплуатирующих классов.

Однако, распределение не является простым пассивным результатом производства и обмена; оно, в свою очередь, влияет обратно на производство и обмен. Каждый новый способ производства или новая форма обмена вначале стесняется не только старыми формами и соответствующими им политическими учреждениями, но и старым способом распределения. Ему приходится лишь путем долгой борьбы завоевать себе соответствующее распределение. Но чем подвижнее данный способ производства и обмена, чем более он способен к преобразованию и развитию, тем скорее и распределение достигает такой стадии, на которой оно перерастает породивший его способ производства и обмена и вступает с ним в противоречие. Старые, естественно выросшие общины, о которых была уже речь, могут существовать целые тысячелетия, как это наблюдается еще теперь у индусов и славян, до тех пор, пока сношения с внешним миром не породят внутри этих общин имущественных различий, следствием которых является их разложение. Напротив, современное капиталистическое производство, едва nascи-гывающее триста лет и получившее решительное господство только со времени появления крупной промышленности, т.-е. всего сто лет тому назад, успело в течение этого короткого срока породить такие противоположности в распределении (с одной стороны, концентрацию капиталов в немногих руках, а с другой, концентрацию нищих масс в больших городах), — от которых оно необходимо должно погибнуть.

Связь между распределением данного общества и его материальными условиями существования настолько коренится в природе вещей, что она соответственным образом отражается в народной психике. Пока известный способ производства нахо-

дится в восходящей стадии своего развития, до тех пор ему воздают хвалу даже те, кто остается от него в накладе. Так было с английскими рабочими во время возникновения крупной промышленности. Более того, пока этот способ производства представляется общественно-нормальным, в общем господствует довольство распределением, и протесты раздаются в то время лишь со стороны лиц, вышедших из среды самого господствующего класса (С. Симон, Фурье, Оуэн), не находя у эксплуатируемых масс никакого отклика. Когда же данный способ производства уже в значительной степени пройдет нисходящую стадию своего развития, когда он уже на половину переживет себя и когда исчезают условия, породившие его существование, — только тогда становящееся все более неравномерным распределение начинает казаться несправедливым, только тогда начинают от отжившей деятельности апеллировать к, так называемой, вечной справедливости. Этот призыв к морали и праву, в научном отношении, не ведет нас ни на шаг далее; экономическая наука может усматривать в нравственном негодовании, как бы оно ни было справедливо, не доказательство, но только симптом. Напротив, ее задачей является показать, что проявившиеся недостатки общего строя представляют необходимые следствия существующего способа производства, но в то же время и признаки наступающего его разложения, и открыть внутри разлагающейся экономической формы движения элементы будущей, могущей уничтожить эти недостатки, новой организации производства и обмена. Гнев, создающий поэтов, вполне уместен, как при изображении этих недостатков, так и при нападении на философов, которые отыскивают гармонию в существующем строе и, служа господствующему классу, отрицают или прикрашивают его недостатки; но как мало он может иметь значения в качестве **д о к а з а т е л ь с т в а** в том или другом случае, это ясно из того, что для гнева всегда было достаточно материала, во все эпохи истории, вне зависимости от их характера.

Политическая экономия, как наука об условиях и формах производства и обмена продуктов в различных человеческих обществах и о соответствующих способах распределения этих продуктов, — такая политическая экономия, в широком смысле этого слова, еще должна быть создана. То, что дает нам в настоящее время экономическая наука, ограничивается почти исключительно генезисом и развитием капиталистического способа производства: она начинает с критики остатков феодальных форм производства и обмена, указывает на необходимость замены их капиталистическими формами, затем развивает законы капиталистического способа производства и соответствующих ему форм обмена с положительной стороны, то-есть, поскольку они соответствуют интересам всего общества, и заканчивает социалистической критикой капиталистического способа производства, т.-е. изложением его законов с отрицательной стороны, указывая на то, что этот способ производства путем собственного своего развития стремится к той точке, где он сам становится невозможным. Эта критика доказывает, что капиталистические формы производства и обмена все более приобретают характер невыносимых оков для самого производства; что необходимо обусловленный этими формами способ распределения создал постоянно возрастающую непримиримость классовых отношений, с каждым днем обостряющееся противоречие между немногими, все более богатеющими капиталистами и многочисленными, в общем все хуже и хуже обеспеченными немущими наемными рабочими; и, наконец, что созданные в пределах капиталистического способа производства массовые производительные силы, которые не могут быть им рационально использованы, только ждут перехода во власть организованного для планомерной совместной работы общества, чтобы обеспечить всем членам общества средства к существованию и к свободному развитию их способностей, равно как и постоянно возрастающих потребностей.

Чтобы завершить в полной мере эту критику буржуазной экономии, не достаточно было знакомства с капиталистической формой производства, обмена и распределения. Следовало также, хотя бы в общих чертах, исследовать и привлечь к сравнению формы предшествующие и рядом с ней существующие в менее развитых стра-

нах. Такое исследование и сравнение, в общих чертах, находится пока в трудах только Маркса, и, поэтому, исключительно ему мы обязаны тем что сделано до сих пор для выяснения основных начал до-буржуазной теоретической экономии.

Политическая экономия, в более узком смысле слова, хотя и возникла около конца 17-го столетия, благодаря отдельным гениальным личностям, но ее положительная формулировка получила значение лишь в сочинениях физиократов и А. Смита, и вообще, по существу, она является детищем 18 века, тесно примыкая к эпохе открытий великих французских просветителей,нося на себе следы всех ее достоинств и недостатков. То, что сказано было выше о просветителях этой эпохи, применимо и к современным ей экономистам. Для них новая экономическая наука была не выражением отношений и потребностей их эпохи, а проявлением вечного разума; открытые ею законы производства и обмена были не законами исторически определенной формы экономической деятельности, но вечными естественными законами; их выводили из природы человека. Но при внимательном рассмотрении оказывается, что этот «человек» был просто средний бюргер того времени, превращавшийся в буржуа, и его «природа» заключалась лишь в том, что он производил продукты фабричным способом и торговал на почве господствующих тогда исторических определенных отношений.

После того, как мы в области философии достаточно познакомились с нашим «критическим основоположником», г-ном Дюрингом, и его методом, мы можем легко предсказать, какие взгляды он проводит в политической экономии. В философской области, там, где он не гордил просто вздора (как в натурфилософии), его способ мышления был карикатурой на метод 18 века. Для него дело шло не об исторических законах развития, но об естественных законах, о вечных истинах. Общественные отношения, как мораль и право, разрешались им каждый раз не согласно определенным, исторически данным условиям, но с помощью пресловутых двух личностей, из которых одна либо поработает другую, либо не поработает (последнее, к сожалению, доселе никогда не случалось). Поэтому мы едва ли ошибаемся, если вперед скажем, что г. Дюринг и политическую экономию сведет, в конце-концов, к окончательным истинам в последней инстанции, к вечным естественным законам, к тавтологическим аксиомам, абсолютно лишенным содержания, и в то же время все положительное содержание политической экономии, поскольку оно ему знакомо, проведет контрабандою через заднюю дверь; и что распределение, как общественное явление, оно не выведет из производства и обмена, а просто предоставит его на благоусмотрение своим знаменитым двум лицам для окончательного решения. А так как все это уже давно вам знакомые приемы, то можно ограничиться лишь их кратким разбором.

Так, г. Дюринг уже на второй странице заявляет нам, что его экономия основывается на том, что «установлено» в его философии, и опирается в некоторых существенных пунктах на самые высшие (*übergeordnete*) и совсем уже неоспоримые истины в высшей области исследований». — Повсюду все то же надоедливое самовосхваление. Повсюду торжество г. Дюринга по поводу установленных и неоспоримых истин г. Дюринга. Действительно «неоспоримых», — в этом мы достаточно убедились...

Вслед за тем мы узнаем о «самых общих естественных законах всякого хозяйства» — значит, мы верно угадали. Но эти естественные законы допускают правильное понимание протекшей истории лишь в том случае, если их «исследуют в связи с теми результатами, которые являются следствием влияния политических форм подчинения и группировок. Такие учреждения, как рабство и наемная кабала (*Lohnhörigkeit*), к которым присоединяется их родная сестра — насильственная собственность, должны быть рассматриваемы, как формы социально-экономического строя, чисто политического характера — сфера, внутри которой до сих пор только и могут проявлять свои действия хозяйственно-естественные законы».

Это положение есть трубный звук, который, словно Вагнеровский основной мотив, возвещает нам шествие двух пресловутых лиц. Но оно представляет и нечто

большее: именно основную тему всей Дюринговой книги. При обсуждении права, г. Дюринг не сумел нам дать ничего, кроме плохого перевода на социальный язык теории равенства Руссо, гораздо лучшие образцы которого можно отыскать в болтовне чуть не в каждой парижской кофейне, посещаемой рабочими. Далее, он дает нам несколько не лучший социалистический пересказ жалоб экономистов относительно искажения вмешательством государства вечных экономических естественных законов путем насилия. Тем самым он заслуженно оказывается одиноким среди социалистов. Каждый рабочий-социалист, какой бы то ни было национальности, очень хорошо знает, что насилие только охраняет эксплуатацию, но не создает ее; что отношение капитала и наемного труда есть основание эксплуатации и что последняя возникла чисто экономически, а вовсе не путем насилия.

Далее мы узнаем, что во всех экономических вопросах «можно различить два процесса — процесс производства и распределения». Кроме них, известный поверхностный Ж. Б. Сэй насчитывал еще третий процесс — потребления, но не сумел, как и его последователи, сказать в пользу него ничего умного. Обмен же или обращение представляет только подразделение производства, к которому относится все, что должно совершиться для того, чтобы продукты попали к последнему настоящему потребителю. — Если г. Дюринг позволяет себе соединять в одну кучу два по существу различных, хотя и взаимно обуславливаемых, процесса — производства и обращения, и совершенно бесцеремонно утверждать, что устранение этой путаницы может «только породить путаницу», то он этим лишь доказывает, что не знает или не понимает того колоссального развития, до которого достиг обмен товаров за последние пятьдесят лет, что, впрочем, вообще, и ясно из его книги. Этого не достаточно. Соединяя вместе производство и обмен под именем производства, он ставит рядом с производством распределение, как второй совершенно посторонний процесс, который не имеет ничего общего с первым. Но нам известно, что распределение в главных своих чертах всегда является необходимым результатом существующих способов производства и обмена в данном обществе, а также и исторических условий жизни; следовательно, зная последние, можно с достоверностью предугадать и характер господствующего в данном обществе способа распределения. Между тем, г. Дюринг, если не желает изменить основным положениям, «установленным» в его учении о нравственности, праве и истории, — должен отрицать этот элементарный исторический факт и, в частности, должен отрицать его в том случае, когда решается ввести контрабандой в политическую экономию своих двух необходимых ему субъектов. Только после того, как г. Дюрингу удалось лишить распределение всякой связи с производством и обменом, может, наконец, совершиться это великое событие.

Вспомним, однако, сначала, как происходило дело с рассмотрением вопроса о нравственности и праве. Здесь г. Дюринг начал сперва с одного человека; он сказал: «Человек, поскольку мы его представляем одиноким или, что то же, стоящим вне всякой связи с другими, не может иметь обязанностей. Для него не существует дол ж е н с т в о в а н и я, а только х о т е н и е». Но что же представляет собою этот не знающий обязанностей человек, как не рокового пра-еврея Адама в раю, в котором он не знал греха только потому, что не мог совершить его? — Однако, и этому Адаму, созданному философией действительности, предстоит грехопадение. Внезапно рядом с этим Адамом появляется не Ева с волнистыми локонами, и второй Адам. И тотчас же на Адама возлагаются обязанности, которые он и нарушает.

Вместо того, чтобы прижать к своей груди своего брата, как равноправного, он подчиняет его своему господству, порабощает его, — и от последствий этого первого греха, от наследственного греха порабощения, терпит вся всемирная история вплоть до нынешнего дня, почему, по мнению г. Дюринга, она и не стоит медного гроша.

Заметив по этому поводу мимоходом: г. Дюринг думая, что наградил достаточным презрением «отрицание отрицания», назвав его копией со старой истории грехопадения и искупления, но в таком случае что же мы должны сказать об его собственном

новейшем издании той же истории? Таким образом, старое семитское предание о способах людского размножения выплывает снова на свет Божий, — предание, из которого видно, что размножение было результатом совместного труда мужчины и женщины, с потерей невинности. Припомнить это необходимо, чтобы создать для г. Дюринга славу, вне конкуренции, за открытие нового способа размножения, при помощи только двух мужчин, без содействия женщин...

«Для идеи производства может еще служить пригодной логической схемой представление о Робинзоне, который изолированно противостоит со своими силами природе и не вынужден делить что-либо с кем-либо. Столь же целесообразной для олицетворения существеннейшего в идее распределения является логическая схема двух лиц, которых хозяйственные силы комбинируются и которые, очевидно, должны в той или иной форме противостоять друг другу по вопросу о долях в продуктах того и другого. Действительно, нет никакой нужды в чем либо еще, кроме этого простого дуализма, чтобы вполне строго представить себе некоторые из важнейших отношений распределения и изучить эмбрионально их законы в их логической необходимости... Совместная деятельность на условиях равноправия столь же мыслима в этом случае, как и комбинация сил, приводящая к полному подчинению одного человека другим, которое в таком случае превращает подчиненного человека в раба или в простое орудие для хозяйственных услуг, и существование его, поэтому, поддерживается лишь в качестве такого орудия... Между состоянием равенства и состоянием ничтожества, с одной стороны, и всемогуществом и единственно-активной деятельностью, с другой, находится целый ряд промежуточных ступеней, заполнить которые пестрым многообразием постарались события всемирной истории. Существенным предварительным условием является здесь общий взгляд на различные учреждения права и бесправия в истории... и, в конце-концов, все распределение превращается в «экономическое право распределения».

Теперь, наконец, г. Дюринг вновь имеет твердую почву под ногами. Рука об-руку со своими двумя мифическими лицами он может ввести свое столетие в надлежające пределы. Но за этим тройным созвездием стоит еще некто неназванный.

«Капитал не изобрел прибавочного труда. Повсюду, где одна часть общества владеет монополией на средства производства, работник, свободный или несвободный, должен к рабочему времени, необходимому для его содержания, прибавлять излишнее рабочее время, чтобы произвести жизненные средства для собственника средств производства, будет ли это собственник афинский *καλὸς καγαθὸς*, этрусский теократ, *civis romanus* (римский гражданин), нормандский барон, американский рабовладелец, валахский боярин, современный лэндлорд или капиталист» (Marx Kap., I, 2 auflage; S. 227).

После того, как г. Дюринг, таким образом, знал, что составляет основную форму эксплуатации, общую всем существовавшим до сих пор формам производства — поскольку они движутся в классовых противоположностях, — ему оставалось только привлечь к решению этого вопроса своих двух названных лиц, чтобы выработать коренные основы политической экономии. Он ни на минуту не колеблется выполнить эту «идею, создающую систему». Исходной точкой является здесь работа без эквивалента, длящаяся за пределы рабочего времени, необходимого для поддержания жизни самого работника. Итак, Адам, который здесь носит имя Робинзона, заставляет второго Адама, Пятницу, работать свыше этого предела. Почему же Пятница работает более, чем необходимо для его пропитания? И на этот вопрос находится отчасти ответ у Маркса. Но для двух лиц процесс выработки условий, необходимых для такой работы, чересчур долгая музыка. Дело улаживается на скорую руку: Робинзон «подчиняет Пятницу», принуждает его «как раба или рабочее орудие исполнять хозяйственные услуги», и содержит его «также только как орудие». Подобным новейшим творческим оборотом г. Дюринг, словно хлопнушкой, убивает разом двух зайцев. Во-первых, он сберегает себе труд разъяснить различные, имевшие до сих пор место, формы

распределения, их различие и их причины: они все просто никуда не годятся, они покоятся на насильственном подчинении. Об этом мы впоследствии поговорим. Вторых, всю теорию распределения он переносит с экономической почвы на почву морали и права, т.-е. с почвы предположенных материальных фактов на более или менее шаткую почву мнений и чувствований. Ему, таким образом, приходится даже не исследовать или доказывать, не только слегка декламировать, и поэтому он смело выставляет требование, чтобы распределение продуктов труда совершалось не согласно действительным экономическим причинам, но согласно с тем планом, который представляется г. Дюрингу нравственным и справедливым. Однако, то, что представляется в данном случае справедливым г. Дюрингу, и для него является отнюдь не неизменным началом, а следовательно, оно далеко от того, чтобы быть настоящей истиной. Ведь последняя, по мнению г. Дюринга, «вообще неизменна». Между тем, в 1868 г. он писал (*Die Schicksale meiner sozialen Denkschrift*): «тенденцией всякой высшей цивилизации являлось то, что собственность получала все более резкое выражение, и в этом-то, а не в смещении прав и сфер господства, заключаются сущность и будущее современного развития»; а затем он же, в 1876 г., никак не мог постигнуть, «каким образом преобразование наемного труда в какую-либо новую форму его эксплуатации может когда либо быть согласовано с законами человеческой природы и естественно-необходимым расчленением общественного организма». Итак, в 1868 г. частная собственность и наемный труд естественно необходимы и потому справедливы; а в 1878 г. то и другое—следствия насилия и «грабежа», стало быть, несправедливы. И нет никакой возможности узнать, что именно столь шурло-стремительному гению может через несколько лет казаться нравственным и справедливым. И мы поступим во всяком случае лучше, если, рассуждая о распределении богатств, будем держаться действительных, объективных, экономических законов, а не мимолетного, изменчивого, субъективного представления г. Дюринга о справедливости и несправедливости.

Если бы наша уверенность относительно предстоящего преобразования современного способа распределения продуктов труда, с его вопиющими противоречиями, нищеты и роскошью, голодом и изобилием, опиралась только на сознание, что этот способ распределения несправедлив и что справедливость должна, наконец, когда-нибудь восторжествовать, то наше дело было бы плохо и нам пришлось бы долго ждать такого преобразования.

Средневековые мистики, мечтавшие о близком наступлении тысячелетнего царства, уже сознавали несправедливость классовых противоречий. На заре новой истории, 350 лет назад, Фома Мюнцер громко на весь свет провозгласил такое же мнение. Во время английской и французской буржуазных революций раздавался тот же призыв, но современем он затих. Чем же объясняется, что этот призыв к отмене классовых противоречий и классовых различий, который до 1830 г. не встречал отклика в трудящихся и страждущих массах, теперь вызывает сочувствие миллионов рабочих, и идея классовой борьбы переходит из одной страны в другую, притом в той самой последовательности и с той же интенсивностью, с которой в отдельных странах развивается крупная промышленность? Наконец, мы видим, что в период, захватывающий собою не более одного поколения, эта классовая борьба приобрела такую непреодолимую силу, что может внушать рабочим надежду на победу в близком будущем. Как объяснить все это? Тем, что современная крупная индустрия создала, с одной стороны, пролетариат, класс, который впервые в истории может выставить требование отмены не той или иной специальной классовой привилегии, но вообще разделения общества на классы, и который поставлен в такое положение, что он должен провести это требование под угрозой, в противном случае, впасть в состояние китайских кули. Затем, с другой стороны, та же крупная промышленность создала в лице буржуазии класс, который владеет монополией всех орудий производства и жизненных средств, но который в каждый период спекуляции и следующего за ним краха доказывает, что стал неспособным к дальнейшему господству над силами производства, переросшими его

силу, — класс, под руководством которого общество идет навстречу катастрофе, как локомотив, у которого машинист не имеет сил открыть спасительный клапан. Другими словами, отмеченный факт объясняется тем, что созданные современным капиталистическим способом производства производительные силы и выработанная им система распределения благ находится в вопиющем противоречии с этим самым способом производства, притом в такой степени, что преобразование способа производства и распределения могущее устранить все классовые различия, должны совершиться непременно, под угрозой гибели всего общества. В этом очевидном материальном факте, который в более или менее ясной форме и с непреодолимой необходимостью проникает в сознание эксплуатируемых масс, — в этом факте, а не в представлениях того или другого кабинетного мыслителя о справедливости или несправедливости, коренится наша уверенность в торжестве идеи современного социализма.

II. Теория насилия.

«Отношение общей политики к формам хозяйственного права определено в моей системе столь решительно и вместе с тем своеобразно, что будет излишним дать специальное указание для облегчения изучения этого вопроса. Формы политических отношений представляют собою исторический фундамент, а формы хозяйственной зависимости суть только их следствие или частный случай, а потому всегда являются фактами второстепенными. Некоторые из новейших социалистических систем выставляют руководящим принципом бросающуюся в глаза видимость совершенно обратного взаимоотношения, вывода из экономических условий формы политического подчинения. Действительно, подобные второстепенные причины, влияющие на политические формы, существуют в настоящее время и особенно резко чувствуются; но первичный фактор (das Primitive) все-таки следует искать в непосредственном политическом насилии, а не в одном лишь косвенном влиянии экономической силы».

То же говорится и в другом месте, где г. Дюринг «исходит из того положения, что политические условия являются решающей причиной экономического положения и что обратное отношение представляет лишь второстепенное отраженное действие...; поскольку политическая группировка не делается исходным пунктом ради ее самой, но исключительно рассматривается, как средство для целей кормления (Futterzweck), до тех пор, какой бы радикально-социалистический и революционный характер ни носили взгляды, они всегда будут заключать в себе скрытую дозу реакционности».

Такова теория Дюринга. Здесь и во многих других местах она просто утверждается, так сказать, декретируется, и во всех трех томах нет хотя бы ничтожнейшей попытки доказательства или опровержения противоположного воззрения. И, если бы даже доказательства были дешевле грибов, г. Дюринг все-таки не счел бы пугным собирать их для своей книги. Ведь, для него поставленный вопрос уже решен бесспорно знаменитым грехопадением Робинзона, поработившего Пятницу. Это был акт насилия, стало-быть — деяние политическое. А так как это порабощение составляет исходный пункт и основной факт всей истории до наших дней, то именно оно и создало наследственный грех несправедливости, которая в позднейшие периоды истории была лишь смягчена и «заменена более косвенными экономическими формами зависимости». Так как, затем, на этом первом акте порабощения покоится вся сохранившаяся доселе «насиловственная собственность», то ясно, что все экономические явления должны быть объяснены политическими причинами, в частности насилием. А для кого этого недостаточно, тот скрытый реакционер.

Прежде всего заметим, что надо быть влюбленным в себя так, как влюблен г. Дюринг, чтобы считать это воззрение столь «своеобразным», каким оно на деле вовсе не является. Представление, будто главным фактором в истории являются по-

литические деяния государей и государств, столь же старо, как и сама историография. — Это представление было главной причиной того, что у нас так мало сохранилось сведений о фактах непрерывно совершавшегося умственного развития в самых недрах народных масс. Господство такого искаженного понимания истории впервые было поколеблено буржуазными историками Франции времен реставрации; и оригинально в данном случае лишь то, что г. Дюринг опять-таки ничего не знает обо всем этом.

Далее, если мы допустим на минуту, что г. Дюринг прав, утверждая, что вся история до наших дней может быть сведена к порабощению человека человеком, то это далеко не выяснит нам сути дела. Напротив, прежде всего является вопрос: каким образом Робинзон пришел к тому, что решил поработить Пятницу? Просто ради удовольствия? Отнюдь нет. Напротив, мы видим, что Пятница, «как раб или простое орудие, принуждается к хозяйственной службе и поддерживается только, как орудие». Робинзон порабощает Пятницу только для того, чтобы Пятница работал на Робинзона. А как Робинзон мог извлечь для себя пользу из труда Пятницы? Только тем, что принуждал Пятницу производить своим трудом больше жизненных средств, чем сколько сам должен был ему давать для того, чтобы сохранить его способность к труду. Следовательно, Робинзон, вопреки точному предписанию г. Дюринга, созданному порабощением Пятницы «политическую группировку не делает исходным пунктом ради нее самой, но видит в ней исключительно средство для целей кормления».

Таким образом, детский пример, который г. Дюринг изобрел собственно для того, чтобы доказать, что насилие есть, главный «исторически, фундаментальный» фактор, напротив того, показывает, что насилие есть только средство, целью же, в действительности является экономическая выгода. Насколько цель «фундаментальнее» средства, примененного для ее достижения, настолько и экономическая сторона данного отношения является в истории более основной, по сравнению с политической. Следовательно, приведенный пример доказывает как раз противоположное тому, что он должен был доказать. И точно так же, как с Робинзоном и Пятницей, обстоит дело во всех доселе происходивших случаях господства и порабощения. Угнетение всегда было, если употребить изящное выражение г. Дюринга — «средством для целей кормления» (понимая эти цели в самом широком смысле слова), но никогда и нигде оно не являлось политической группировкой, введенной «ради нее самой». Нужно быть г. Дюрингом, чтобы вообразить, будто бы налоги представляют в государстве только «следствия второстепенные», или что современная политическая группировка между господствующей буржуазией и подчиненным пролетариатом существует «ради нее самой», а не ради «целей кормления» господствующих буржуа, именно, ради барышей и накопления капитала.

Возвратимся, однако, к классическому примеру г. Дюринга. Робинзон «со шпагой в руке» обращает Пятницу в своего раба. Но, чтобы успеть в этом, Робинзон нуждается еще кое в чем, кроме шпаги. Не всякому раб приносит пользу. Чтобы быть в состоянии им пользоваться, нужно располагать вещами двоякого рода: во-первых, материальными орудиями для труда раба, а во-вторых — средствами для поддержания его скудного существования. Следовательно, прежде чем станет возможно рабство, должны уже быть достигнуты известная ступень в развитии производства и известная степень неравенства в распределении. А чтобы рабский труд стал господствующим способом производства во всем обществе, нужно еще более значительное развитие производства, торговли и накопление богатств.

В древних, естественно выросших, общинах с общей собственностью на землю, рабство или вовсе не возникает, или играет лишь весьма подчиненную роль. Так было в первобытном крестьянском городе Рима; когда же он стал всемирным городом и итальянская поземельная собственность стала переходить все более и более в руки малочисленного класса очень богатых собственников, тогда крестьянское население было вытеснено населением рабов.

Во времени персидских войн число рабов в Корифе достигло 460.000, в Эгине — 470.000; следовательно, на каждую голову свободного населения приходилось 10 рабов; для того, чтобы это стало возможным, нужно было нечто большее, чем «насилие», именно: образование высокообразованной художественной и ремесленной промышленности и обширной торговли. Рабство в Американских Соединенных Штатах покоилось гораздо меньше на насилии, чем на английской хлопчатобумажной промышленности; в местности же, где не росло вовсе хлопка или которые не могли, подобно пограничным штатам, содержать рабов для продажи в хлопчатобумажные штаты, рабство вымерло само собой, без применения насилия, просто потому, что оно не оплачивалось.

Если, следовательно, г. Дюринг называет современную собственность «насиленной собственностью» и определяет ее, как «такую форму господства, в основе которой лежит не только исключение ближнего из пользования естественными средствами, необходимыми для существования, но также, — что имеет еще большее значение, — принуждение человека к холопской (Knecht) службе», то он, очевидно, сознательно искажает действительное соотношение исторических факторов. Принуждение человека к холопской службе во всех его формах предполагает на стороне принуждающего распоряжение средствами труда, с помощью которых он только и может пользоваться поработанным, а при невольничестве, сверх того, и распоряжение жизненными средствами, которые необходимы для поддержания существования рабов. Во всех этих случаях предполагается, таким образом, известное, превышающее средний уровень, владение имуществом. Но как возникло последнее? Конечно, оно могло быть нагреблено, следовательно основываться на насилии, но это вовсе не представляет необходимости. Оно могло быть одинаково и произведено трудом, и украдено и вымощено, и добыто спекуляцией. Но, во всяком случае, оно должно было быть выработано, произведено трудом, прежде чем сделаться нагребленным имуществом.

Вообще, частная собственность проявляется в истории далеко не как результат грабежа и насилия. Напротив того, она существовала уже, хотя и ограниченная известными предметами, в первобытной естественно выросшей общине всех культурных народов. Еще в пределах этих общин, в процессе обмена продуктов труда с чужеземцами, эти продукты стали облекаться в товарную форму. Чем более продукты общины принимали товарную форму, т.е. чем меньшая часть их производилась для собственного потребления производителя, тем более обмен получал значение фактора, вызвавшего внутри самой общины преобразование первобытного, естественно возникшего, разделения труда, тем более неравным становилось имущественное состояние отдельных членов общины, тем глубже подкапывалось старое общинное владение землей и тем быстрее община шла навстречу своему разложению, а земельделы превращались в парцельных собственников-крестьян. Восточный деспотизм и смеявшиеся господство завоевателей-кочевников могли в течение тысячелетий не оказать никакого влияния на эти старые общины; но постепенное разрушение их естественно выросшей домашней промышленности конкуренцией продуктов крупной индустрии неизбежно приводило к уничтожению этих общин. О насилии здесь можно говорить так же мало, как и в ныне еще замечаемых случаях раздела общей земли, принадлежавшей «миру» (Gehöferschaft), — на Мозеле и в Гохвальде: крестьяне считают выгодной для себя замену общинной собственности на полевою землю частной собственностью. Даже образование естественно выросшей аристократии, как она возникла на почве общинного землевладения у кельтов, германцев и в Индийском Пятиречье, даже и оно покоится прежде всего не на насилии, но на добровольном подчинении и привычке. Повсюду, где образуется частная собственность, это происходит вследствие изменения условий производства и обмена, в интересах повышения производительности и развития торговли, следовательно, по экономическим причинам. Насилие при этом не играет никакой роли. Ведь ясно, что институт частной собственности должен существовать прежде, чем разбойник сможет присвоить себе чужое добро; что,

следовательно, насилие, хотя и может переменить владение, но не может создать частную собственность, как таковую.

Для того, чтобы объяснить «пригнетение человека к холопской службе», в ее современной форме наемного труда, мы также не можем ссылаться на насилие или на насильственную собственность. Мы уже упомянули, какую роль при разложении старых общин, следовательно, при распространении посредственным или непосредственным образом частной собственности на все общество, — играло превращение продуктов труда в товары, т.-е. производство их не для собственного потребления, а для обмена. Маркс в «Капитале» блистательно показал (и г. Дюринг остерегается хотя бы словечком заикнуться об этом), что на известной стадии развития товарное производство превращается в капиталистическое производство и что на этой ступени закон присвоения или закон частной собственности, покоящийся на товарном производстве и товарном обращении, превращается, благодаря своей собственной внутренней неизбежной диалектике, в свою противоположность: обмен эквивалентов, в форме первичной операции, изменяется таким образом, что теперь обмен происходит только видимый, поскольку, во-первых, обмененная на рабочую силу часть капитала сама представляет только часть присвоенного без отдачи эквивалента продукта чужого труда; а, во-вторых, поскольку эта часть капитала замещается продуктом рабочего и замещается с плюсом... Первоначально же собственность являлась основанной на собственном труде...

Теперь (т.-е., в конце процесса, исследованного Марксом) собственность является на стороне капиталиста, как право на чужой неоплаченный труд; для рабочего же она является фактором, лишаящим его возможности присвоить в собственность продукт своего труда. Отделение собственности от труда становится необходимым последствием закона, который, повидимому, исходит из их тождества. Другими словами, если мы даже исключим всякую возможность грабежа, насильственного действия и обмана, если мы примем, что вся частная собственность первоначально покоилась на личном труде собственника и что при этом тогда обменивались только равные стоимости на равные, все-таки же мы должны признать, что при дальнейшем развитии производства и обмена неизбежно возник бы современный капиталистический способ производства, т. е. монополизация орудий и жизненных средств производства в руках одного малочисленного класса и изведение другого класса, составляющего громадное большинство, до положения немущих пролетариев; это повело бы, в свою очередь, к периодической смене спекулятивной горячки и торгового кризиса и создало бы современную анархию производства. Весь процесс объясняется чисто экономическими причинами, и нет никакой необходимости для его понимания ссылаться на грабеж, насилие, государственное или какое-либо иное политическое вмешательство. Насильственная собственность и в этом случае оказывается просто зазорной фразой, которая должна прикрывать недостаток понимания действительного хода вещей.

Этот последний процесс, выражаясь исторически, есть история развития буржуазии. Если политические условия являются «решающей причиной экономического положения», то современная буржуазия не должна была бы развиваться в борьбе с феодализмом, но была бы просто добровольно рожденным и любимым детищем последнего. Всякий знает, однако, что дело происходило как раз наоборот. Представляя из себя первоначально угнетенное сословие, обязанное повиноваться феодальному дворянству, рекрутировавшееся из крепостных и обязанных людей всякого рода, буржуазия постепенно в продолжительной борьбе с дворянством отвоевывала одну позицию за другой, пока, наконец, в наиболее развитых странах не стала господствующим классом: во Франции — прямо свергнув дворянство, а в Англии — делая его все более и более буржуазным, включила часть его в свой состав, а другую превратила в свою орнаментальную верхушку. Но как же буржуазия достигла этого? Просто путем изменения «экономического положения», вслед за которым, рано или поздно, добровольно или вынуждено, совершилось изменение и политических условий. Борьба буржуазии с

феодалным дворянством есть борьба города против деревни, промышленности против землевладения, денежного хозяйства против натурального, и решающим оружием буржуа в этой борьбе были их экономические средства господства, постепенно усиливавшиеся в развитии ремесленной промышленности, позднее превратившейся в мануфактуру, и с расширением торговли. В течение всей этой борьбы политическая сила была на стороне дворянства, за исключением одного периода, когда королевская власть пользовалась буржуазией в борьбе с дворянством, чтобы ослабить одно сословие при помощи другого; когда же буржуазия, благодаря росту своего экономического могущества, начала становиться опасной политической силой, монархия вновь соединилась с дворянством для борьбы с буржуазией и вызвала этим сначала в Англии, а потом во Франции буржуазную революцию. «Политические условия во Франции оставались неизменными, несмотря на перемену «экономического положения». В политическом отношении дворянство было всем, буржуа—ничем; по социальному же положению буржуазия была теперь важнейшим классом в государстве, тогда как дворянство утратило все свои социальные функции и только еще в виде своих доходов взимало вознаграждение за эти исчезнувшие функции. При таких условиях буржуазия в сфере производства оставалась еще долго втиснутой в феодально-политические формы средневековья. Производство, не только мануфактурное, но даже ремесленное стеснялось бесчисленными цеховыми привилегиями и местными и провинциальными таможенными границами. Буржуазная революция положила этому конец. Но она это сделала не тем, что, согласно Дюрингову положению, приспособила экономическое положение к политическим условиям (это в течение долгого времени тщетно пытались сделать дворянство и монархия), но тем, что, наоборот, отбросила старый гнилой политический хлам и создала такие политические условия, в которых могло существовать и развиваться новое экономическое положение. И последнее блестяще развилось в новой подходящей для него политико-правовой атмосфере, так блестяще, что буржуазия уже не далека от того положения, которое занимало дворянство в 1789 г.: она все более становится не только излишней, но и препятствием к социальному развитию, так как все более и более отдаляется от непосредственной производительной деятельности и все более и более становится, как в свое время дворянство, классом, только получающим доходы. Это коренное изменение в положении буржуазии рядом с образованием нового класса — пролетариата, совершилось без всяких насильственных фокусов, чисто экономическим путем. Буржуазия, конечно, вовсе не ожидала и не желала такого результата своей собственной деятельности; он был осуществлен с неопределимой силой против ее воли и вопреки ее намерениям; он был собственными производительными силами перерос ее руководство и как бы с естественной необходимостью двигают все буржуазное общество навстречу либо гибели, либо к преобразованию. И если буржуазия теперь апеллирует к власти, чтобы охранить от крушения распатывающееся экономическое положение, то она доказывает этим лишь то, что находится в таком же заблуждении, как и г. Дюринг, будто бы «политический строй является решающей причиной экономического положения», т.-е. воображает совершенно так же, как и г. Дюринг, будто бы при помощи «первичного элемента», «непосредственно политической силы», она может переделать эти «факты второстепенные», т.-е. экономическое положение и его неотвратимое развитие, и таким образом стереть с лица земли, опираясь на крупновские пушки и маузеровские ружья, экономические результаты паровой машины и приведенной ею в действие современной крупной индустрии, мировой торговли и банковской и кредитной системы.

III. Теория насилия (продолжение).

Посмотрим, однако, несколько ближе на это всемогущее «насилие» г. Дюринга. Робинзон «со пистолетом в руке» поработает Пятницу. Откуда же он взял эту пистолет? Даже на фантастических островах Робинзонады до сих пор пистолеты не росли на деревьях,

и г. Дюринг не дает никакого ответа на этот вопрос. Если Робинзон мог достать себе шпагу, то с таким же правом мы можем представить себе, что в одно прекрасное утро Пятница является с заряженным револьвером в руке, и, в таком случае, все отношения «силы» переменятся: Пятница повелевает, а Робинзон должен строить окопы. Мы просим у читателя извинения в том, что мы постоянно возвращаемся к истории Робинзона, в сущности более уместной в детской комнате, чем в науке. Но что же делать? Мы вынуждены добросовестно применять аксиоматический метод г. Дюринга, и не наша вина, если при этом мы постоянно вращаемся в сфере ребяческих вопросов. Итак, револьвер одерживает победу над шпагой, но, ведь, самому младенческому аксиоматике должно быть понятно, что насилие не есть просто волевой акт, но требует весьма реальных предпосылок для своего совершения, именно некоторых орудий; что эти орудия должны быть произведены; что производитель более совершенных орудий насилия, или попросту оружия, побеждает производителя несовершенного оружия; и что, таким образом, победа основывается на производстве оружия, а последнее, в свою очередь, на производстве вообще, следовательно, на «экономической силе», на «экономическом положении», на материальных средствах, которыми может располагать сила.

Сила в настоящее время, это—армия и военный флот, а то и другое стоит «чертовски много денег», как все мы знаем, к нашему несчастью. Но сила сама по себе не в состоянии производить денег и в лучшем случае может лишь способствовать присвоению уже произведенных ценностей; деньги же, в свою очередь, тоже приносят не много пользы, как мы опять таки, к нашему несчастью, знаем по опыту с французскими миллиардами. Следовательно, деньги должны быть, в конце концов, добыты посредством экономического производства; значит, и сила опять-таки определяется экономическим положением, доставляющим ей средства для вооружения и поддержания орудий борьбы. Но это не все. Ничто так не зависит от экономических условий, как именно армия и флот. Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия прежде всего зависят от достигнутой в данный момент ступени развития производства и от путей сообщения. Не «свободное творчество разума» гениальных полководцев действовало в этом направлении преобразующим образом, но изобретение улучшенного оружия и изменение солдатского материала; влияние гениальных полководцев, самое большое, ограничивается тем, что приспособляет ведение борьбы к новому оружию и новым борцам.

В начале XIV в. порох, изобретенный арабами, вошел в употребление среди западно-европейских народов и, как известно всякому школьнику, совершенно преобразовал способ ведения войн. Но введение пороха и огнестрельного оружия вообще не было делом насилия, а делом промышленного, т.-е. экономического прогресса. Промышленность остается промышленностью, занята ли она производством полезных товаров или же таких, которые могут служить для целей разрушения. Но введение огнестрельного оружия повлияло преобразующе не только на самое ведение войны, но и на политические отношения господствовавших и угнетенных классов. Для того, чтобы добыть огнестрельное оружие, нужны были промышленность и деньги, а тем и другим владели горожане. Огнестрельное оружие было, поэтому, с самого начала оружием городов и монархий, опиравшейся на города в своей борьбе против феодального дворянства. Недоступные доселе каменные стены рыцарских замков не устояли перед пушками горожан; пули бюргерских ружей пробили рыцарские панцири. Вместе с облеченной в броню дворянской кавалерией исчезло и господство дворянства, и с развитием буржуазии пехота и артиллерия все более и более становились главными факторами военных успехов; вынужденное потребностями артиллерии военное ремесло должно присоединить к себе новое чисто промышленное предприятие—инженерное дело.

Усовершенствование огнестрельного оружия шло очень медленно. Пушки долгое время были тяжеловесными, а ружья, несмотря на многие частичные изобретения,—грубыми. Прошло более 300 лет, пока явилось ружье, годное для вооружения всей

пехоты. Только в начале XVIII в. кремлевое ружье окончательно вытеснило пику из вооружения пехоты. Тогдашняя пехота состояла из прекрасно маневрировавших, но совершенно ненадежных, лишь палкой сдерживаемых в порядке, самых испорченных элементов общества, часто из военнопленных, силой принуждаемых сражаться; единственной формой борьбы, в которой эти солдаты могли применять новое оружие, была линейная тактика, достигшая наивысшего совершенства при Фридрихе II. Вся пехота данной армии выстраивалась в три линии, в виде длинного и внутри пустого четырехугольника, и двигалась в боевом порядке, как одно целое; только в крайнем случае одному из двух флангов позволялось выдвинуться несколько вперед или отступить назад. Эта беспомощная масса могла двигаться в порядке лишь на совершенно плоской равнине, да и то крайне медленно (75 шагов в минуту); изменение боевого порядка в пылу сражения было невозможно, и победа и поражение, с той минуты, как пехота вступила в бой, решались в короткое время одним ударом.

Против этих беспомощных по своей боевой организации армий выступили в американской войне за независимость банды инсургентов, которые, правда, не умели маневрировать, но зато лучше стреляли из своих винтовок; они сражались за свои интересы, почему не дезертировали, подобно на вербованным войскам; они не доставляли англичанам удовольствия выступать против них в принятом боевом порядке на ровном месте, но нападали разрозненными, подвижными отрядами стрелков в лесах, служивших им прикрытием. В конце концов, армия оказалась бессильной и терпела поражение от невидимых и недоступных противников. Таким образом, было изобретено тиральберство — новый способ борьбы, как результат изменившегося солдатского материала.

Преобразования в военной области, вызванные американской революцией, были окончательно завершены французской. Против обученных наемных войск коалиции она точно также могла выставить только плохо обученные, но многочисленные массы — ополчение всего народа. С этими массами приходилось защищать Париж, следовательно, прикрывать определенную местность, а этого нельзя было достичь без победы в открытом массовом сражении. Простой перестрелки было уже недостаточно: нужно было найти подходящую форму для применения масс, и эта форма была найдена в колонне. Благодаря колонне, и менее обученные войска могли двигаться в достаточном порядке и даже более ускоренным маршем (сто и более шагов в минуту); колонна позволяла прорывать неповоротливые формы старого линейного строя, сражаться в любой местности, следовательно, и в наиболее благоприятной для линейного строя, группировать войска любым, в каком-нибудь отношении, удобным образом, и в связи с перестрелкой, удерживать и занимать известные позиции, утомляя неприятельские войска до тех пор, пока не наступал момент, когда им можно было нанести решительный удар в известном пункте при помощи масс, сохранявшихся в резерве. Этот новый боевой метод, основанный на соединении стрелковых команд с колоннами пехоты и на разделении армии на самостоятельные, составленные из всех родов оружия, дивизии или армейские корпуса, — был вполне разработан Наполеоном, как со стороны тактики, так и стратегии. Он сделался необходимым, прежде всего, благодаря изменению солдатского материала французской революцией. Но для его успешного применения требовались еще два очень важных технических условия: во-первых, более легкие лафеты полевых орудий, устроенные Гребовалем, благодаря чему только и стала возможной требуемая отныне большая скорость движения и, во-вторых, введенное во Францию в 1777 г., заимствованное у охотничьего ружья искривление ружейного приклада, представлявшего дотоле прямое продолжение ствола, что сделало возможным целить в определенного человека, не делая неизбежных промахов; без этого последнего изменения нельзя было применить в широких размерах тиральберскую систему, пользуясь кремневым ружьем.

Революционная система вооружения целого народа была скоро заменена принудительным набором (с правом замещения за деньги для людей имущих), и такая воинская повинность была принята большинством крупных государств континента. Пруссия пыталась при помощи своей системы ландвера развить до наибольшего размера военную силу палии; она же была первым государством, которое после непродолжительного опыта (1830 г.—1860 г.) с нарезным ружьем, заряжавшимся с дула,—вооружала всю пехоту новейшим нарезным ружьем, заряжающимся с казенной части. Общим этим нововведениям Пруссия обязана своими успехами 1866 г.

Во франко-прусской войне впервые выступили друг против друга две армии, вооруженные нарезными ружьями, заряжающимися с казенной части, и притом обе с одинаковой, по существу, тактикой, которая была в ходу в период старого гладкоствольного кремневого ружья, с той только разницей, что пруссаки сделали попытку в «ротной» колонне найти боевую форму, подходящую к новому вооружению. Но когда 18 августа, при С. Прива, прусская гвардия пыталась серьезно применить эту ротную колонну, пять полков, принимавших наиболее сильное участие в битве, потеряли в каких-нибудь два часа более $\frac{1}{2}$ своего состава (176 оф. и 5114 рядовых), и с тех пор применение в бою ротной колонны было осуждено так же, как и применение батальонных колонн и линейного строя. Тогда же была оставлена всякая попытка впредь подвигать под неприятельский огонь какие-либо сомкнутые отряды, и затем борьба со стороны немцев велась только теми небольшими сомкнутыми отрядами стрелков, на которые уже и прежде обыкновенно колонна сама собой распадалась под градом ядер, несмотря на осуждение воинских начальников, видевших в этом нарушение порядка. Точно также в сфере действия неприятельского огня сделался единственной формой передвижения быстрый шаг. Солдат опять-таки оказался разумнее офицера: он инстинктивно избрал единственную боевую форму, которая доселе выдерживает натиск под огнем ружей, заряжаемых с казенной части, и с успехом отстоял ее вопреки противодействию начальства.

С франко-прусской войной наступил новейший период военной истории, имеющий совершенно иное значение, чем все предыдущие. Во-первых, теперь оружие так усовершенствовано, что уже невозможен какой-либо новый прогресс в этом отношении, который мог бы иметь сколько-нибудь революционизирующее влияние. Когда есть пушки, из которых можно обстреливать батальон с того момента, как только его можно различить, и ружья, из которых можно целить в отдельного человека, при чем на заряжание требуется меньше времени, чем на прицеливание,—при таких условиях все дальнейшие усовершенствования для полевой войны более или менее безразличны. Таким образом, эра развития в этом отношении в существенном закончена. Во-вторых, эта война вынудила все континентальные великие державы ввести у себя усиленную прусскую систему ландвера и наложила на них, вместе с тем, бремя милитаризма, под тяжестью которого они через немного лет должны рухнуть. Армия стала главной целью государства, она стала самоцелью; народы существуют только для того, чтобы поставлять и кормить солдат. Милитаризм господствует над Европой и поражает ее. Но этот милитаризм таит в себе и начало собственной гибели. Взаимное соперничество отдельных государств принуждает их, с одной стороны, тратить все более и более на армию, флот, пушки и проч., т.-е. более и более ускорять финансовую катастрофу, а с другой стороны — все серьезнее и серьезнее применять всеобщую воинскую повинность и тем самым, в конце-концов, освоить весь народ с употреблением оружия и, таким образом, дать ему возможность в известный момент осуществить свою волю, несмотря на сопротивление командующего военного начальства. И этот момент наступит, когда масса народа — деревенские и городские рабочие, а также крестьяне — будут иметь определенную волю. На этой ступени развития государево войско превратится в войско народное; оно откажется служить, и милитаризм погибнет под действием собственного диалектического развития. Буржуазная демократия 48 г.,

именно потому, что она была буржуазной, а не пролетарской, не могла внушить трудящимся массам определенную волю, содержание которой соответствовало бы их классовому положению; по это непременно совершит социализм. Тогда будет окончательно уничтожен милитаризм и вместе с ним исчезнет необходимость в постоянных армиях.

Пока мы коснулись только одной стороны современной истории пехоты. Другая же, опять неизбежно сталкивающая нас с г. Дюрингом, поучает нас, что организация и боевой метод армии, а вместе с тем успех и поражение последней, оказываются зависящими от материальных, т.-е. экономических условий: от материала человеческого и от оружия, следовательно, — от качества и количества населения и от техники. Только охотничий народ, как американцы, мог изобрести тиральберскую систему; охотниками же американцы были по чисто экономическим причинам, точно так же, как теперь те же самые янки старых штатов по чисто экономическим причинам превратились в крестьян, промышленников, моряков и купцов, которые более не стреляют в девственных лесах, но зато тем лучше подвизаются на поле спекуляции, на котором они также очень далеко подвинули искусство пользоваться массами.

Только такая революция, как французская, которая экономически эмансипировала буржуа и особенно крестьянина, могли изобрести массовую армию и в то же время найти для нее свободные формы движения, — военную силу, сумевшую разбить сражавшуюся в рядах союзных войск старую неуклюжую армию, представлявшую собою военный слепок с абсолютизма. Каким же образом успехи техники, поскольку они вообще применимы к военным целям и фактически были к ним применены, — каким образом они тотчас же вслед затем почти насильственно часто даже против воли войскового начальства, побуждают к новым изменениям, иногда к полному преобразованию боевых методов, — это мы уже проследили на каждом отдельном случае. Насколько сверх того ведение войны зависит от производительных сил и средств сообщения собственной страны так же, как и от армии военных действий, на этот счет в наши дни может просветить г. Дюринг всякий рачительный унтер-офицер. Одним словом, всюду и всегда экономические условия и средства позволили «силе» одержать победу, без которых она перестает быть силой, и т.т. кто желал бы реформировать военное дело, руководствуясь противоположной точкой зрения, соответствующей основной идее г. Дюринга, тот ничего не мог бы пожать, кроме поражения¹⁾.

Если затем мы от суши перейдем к морю, то за последние 20 лет можно констатировать, хотя совершенно иного рода, но не менее решительный переворот. Боевое судно в крымскую войну представляло деревянный двух- и трехпалубный корабль с 69 — 100 пушками, — судно, двигавшееся, главным образом, парусами и имевшее только для вспомогательной работы слабую паровую машину. На нем помещались преимущественно 32 фун. орудия весом в 50 цент., и лишь немногие 68 ф. — весом в 95 цент. К концу войны появились броненосные пловучие батареи, тяжелые, почти неподвижные, но при тогдашней артиллерии — неуязвимые чудовища. Вскоре броня была перенесена и на боевые суда; вначале она была тонка: 4 дюйма толщины железного покрытия считалось крайне тяжелой броней. Но прогресс артиллерии скоро справился с броней; для брони любой толщины, которая последовательно применялась, было найдено новое грандиозное тяжелое орудие, которое легко могло пробить ее. Таким образом мы уже дошли теперь, с одной стороны, до 10-ти, 14-ти и 24-х дюймов брони (Италия намерена построить суда с броней в 3 ф. толщины);

¹⁾ В прусском генеральном штабе это знают, как нельзя лучше. «Основной военной дела прежде всего является экономический строй жизни народов вообще», говорят Макс-Иенс, капитан генерального штаба, в одном научном реферате. «Köln. Zeit» (20 апр. 1876, III).

а, с другой стороны, — до нарезных орудий в 25, 35, 80 и даже 100 тонн (по 20 центн.) веса, выбрасывающих на неслыханные прежде расстояния ядра в 300, 400, 1.700 и до 2.000 фунтов. Нынешнее боевое судно представляет гигантский броненосный винтовой пароход в 8 — 9.000 тонн вместимости и в 6 — 8.000 лошадиных сил, с вращающимися башнями, с четырьмя, в крайнем случае, с шестью тяжелыми орудиями и с выступающим ниже ватерлинии тараном для пробивания неприятельских судов. Это судно вообще представляет колоссальную машину, в которой пар дает возможность не только быстро двигаться броненосцу, но и управлять рулем, подымать и опускать якорь, вращать башни, направлять и заряжать орудие, выкачивать воду, поднимать и спускать лодки, которые отчасти также приводятся в движение паром.

Соперничество между броненосным и артиллерийским делом еще так далеко от завершения, что в настоящее время обыкновенно все строящиеся суда почти не удовлетворяют требованиям, считаются уже устарелыми, прежде чем их успеют спустить в воду. Современное боевое судно есть не только продукт крупной индустрии, но в то же время и образец ее. Эта пловучая фабрика существует, впрочем, преимущественно для расточения денег. Страна с наиболее развитой крупной промышленностью пользуется почти монополией по постройке этих судов. Все турецкие, почти все русские и большинство германских броненосцев построены в Англии; брони для какого угодно назначения приготавливаются почти исключительно в Шеффилде: из трех железоделательных заводов Европы, которые одни в состоянии изготовлять самые тяжелые орудия, два (в Вулвиче и Эльсвике) находятся в Англии, а третий (Крупна) в Германии. Этот пример показывает наиболее наглядно, что «непосредственно политическое насилие», которое, по г. Дюрингу, является «решающей причиной экономического положения», напротив того, совершенно подчинено экономическому положению; что не только постройка, но и управление орудием насилия, в мире — боевым судном, само сделалось отраслью современной крупной промышленности. От того обстоятельства, что дело приняло именно такой характер, никому не пришлось так солоно, как именно «силе», государству, которому в настоящее время одно судно стоит столько же, сколько прежде целый небольшой флот; к тому же, государству приходится мириться с тем, что эти дорогие суда, прежде чем спущены в воду, считаются уже устарелыми и, следовательно, обесцениваются; кроме того, государству не может быть приятно, как и г. Дюрингу, что человек «экономического положения», инженер, имеет ныне большее значение на борту корабля, чем человек «непосредственной силы» — капитан. Напротив, мы с своей стороны не имеем никакого основания тревожиться тем, что, благодаря соперничеству между броней и орудием, боевое судно доведено до такой степени искусства, которое делает его столь же неуязвимым, как и непригодным к войне¹⁾, и что благодаря этому и на попрание морской войны проявляются те внутренние законы диалектического движения, согласно которым милитаризм, как и всякое другое историческое явление, гибнет от последствий своего собственного развития.

В данном случае обнаруживается, как нельзя более ясно, что отнюдь неверно, будто бы «первичное должно быть отыскиваемо в непосредственно политическом насилии, а не в посредственной экономической силе». Напротив того. В самом деле, поставим вопрос: что является первичным в самом насилии? Экономическая сила, возможность распоряжаться силами современной промышленности. Политическая сила на море, представителями которой являются современные военные суда, — оказывается вовсе не «непосредственной», но прямо зависящей от экономической силы, от высо-

¹⁾ Усовершенствование последнего продукта крупной промышленности, работающей для военно-морского дела, — самодвижущейся торпеды, повидимому, должно осуществить этот идеал; малейшая миноноска, в таком случае, окажется сильнее громаднейшего броненосца. (Пусть вспомнят, впрочем, что примечание написано в 1878 году).

кого развития металлургии, от наличия искусных техников и обильных угольных копей.

Однако к чему все это? Пусть только в ближайшей морской войне передадут высшее командование г. Дюрингу, и он все поработанные «экономическим положением, броненосные неприятельские суда уничтожит без торпед и прочих чудес искусства, единственно посредством своего «непосредственного насилия».

IV. Теория насилия (окончание).

«Весьма важное обстоятельство заключается в том, что в действительности господство над природой вообще (!) имело место только благодаря господству над человеком (господство, вытекающее из господства!). Обработка земельной собственности на значительных пространствах никогда и нигде не осуществлялась без посредства предшествующего порабощения человека, обреченного на тот или иной вид рабского или барщинного труда. Осуществление какого-либо экономического господства над вещами имело своей предпосылкой социальное и экономическое господство человека над человеком. Можно ли представить себе крупного землевладельца, чтобы в то же время не предположить его господства над рабами или крепостными, или косвенно несвободными рабочими? Что, в самом деле, означала бы сила одного человека, которому в крайнем случае могло быть оказано только содействие родных для ведения земледелия в крупных размерах? Эксплуатация земли или распространение экономического господства над нею в размере, превышающем естественные силы отдельной личности, были возможны в истории до сих пор только потому, что ранее основания господства над землей или одновременно с ним было проведено соответствующее порабощение человека. В позднейшие периоды развития это рабство смягчилось; его теперешней формой в более развитых государствах является более или менее руководимый полицейской опекой (Polizeiherrenschaft) наемный труд. На нем основывается, следовательно, практическая возможность той категории современного богатства, которая представляется в виде обширного земельного господства и (!) крупного землевладения. Разумеется, и все другие категории богатства, в его разных исторических формах, должны быть объяснены подобным же образом, и косвенная зависимость человека от человека, которая в настоящее время образует основную черту экономически наиболее развитого строя, не может быть понята и объяснена сама из себя, но только как несколько видоизмененное наследие прежнего прямого подчинения и экспроприации». Так говорит г. Дюринг.

Тезис: Порабощение природы (человеком) предполагает предварительное порабощение человека (человеком).

Доказательство: Обработка земельной собственности на значительном пространстве никогда нигде не производилась иначе, как трудом слуг (Knechte).

Доказательство доказательства: Как могут существовать крупные землевладельцы без рабов, если крупный землевладелец с своей семьей, без слуг, может обработать всего лишь ничтожную часть своего владения?

Итак, чтобы доказать, что человек для подчинения себе природы должен предварительно поработить человека, г. Дюринг превращает, не говоря худого слова, «природу» в «земельную собственность на больших пространствах» и эту земельную собственность—неизвестно чью?—обращает тотчас же в собственность крупного вотчинника, который, конечно, не может обрабатывать свою землю без слуг.

Во-первых, «господство над природой» и «обработка земельной собственности» вовсе не одно и то же. Господство над природой осуществляется в промышленном в гораздо более колоссальном масштабе, чем в земледелии, которое до сих пор вынуждено

подчиняться погоде, вместо того, чтобы подчинить ее себе. Во-вторых, если мы ограничимся обработкой земельной собственности на большом пространстве, то важно знать, кому принадлежит эта земельная собственность. А относительно этого мы находим, в начале истории всех культурных народов, не «крупного вотчинника», которого подсовывает нам здесь г. Дюринг со своей обычной манерой фокусника, называемой им «природной диалектикой»,—но родовые и сельские общины с общинным землевладением. От Индии и до Ирландии обработка больших пространств земельной собственности производилась первоначально такими родовыми и сельскими общинами, при чем пашня либо обрабатывалась сообща за счет общин, либо делилась на отдельные, на известный срок поделенные общиной между семьями, участки земли, при постоянном обихом пользовании лесом и лугами. Опять так характерно «для тщательнейших специальных запятий» г. Дюринга «в области политической науки и юриспруденции», что он ничего не знает обо всем этом, что все его сочинения дышат полным незнанием с произведшим эпоху трудом Маурера об организации первобытной германской общины (Mark), этой основе всего германского права, точно так же, как и с вызванной преимущественно трудами Маурера и постоянно растущей литературой, которая занята доказательством существования первобытного общинного землевладения у всех европейских и азиатских культурных народов и исследованием его различных форм существования и разложения. В области французского и английского права г. Дюринг «сам приобрел свое полное незнание», этим же он может похвастаться и относительно германского права. Человек, яростно негодующий на ограниченность горизонта университетских профессоров, сам в области германского права еще и поныне стоит, в лучшем случае, на той точке зрения, которая была свойственна профессорам лет 20 тому назад.

Чистый продукт свободного творчества и воображения г. Дюринга представляет утверждение, что будто бы для обработки больших пространств земельной собственности требовались частные земельные собственники и рабы. На всем востоке, где земельным собственником является община или государство, нет в туземных языках даже и слова «частный собственник», о чем г. Дюринг может потолковать с английскими юристами, которые так же щетно мучились в Индии над вопросом, «кто здесь земельный собственник», как блаженной памяти принц Генрих LXXII von Reuss-Greiz-Schleits-Lobenstein-Eberswalde—над вопросом—«кто здесь городской?» Только турки ввели на Востоке в завоеванных ими странах подобие землевладельческого феодализма. Греция уже в героическую эпоху вступает в историю с расчленением на сословия, что, в свою очередь, есть только преходящий результат долгой неизвестной нам предшествующей истории; но и тут земля обрабатывалась почти исключительно самостоятельными крестьянами; более крупные поместья благородных и родовых князей составляли исключение и сверх того скоро исчезли. Италия стала плодородной преимущественно трудом крестьян; когда в последние времена римской республики крупные комплексы имений—латифундии—вытеснили парцельных крестьян и заменили их рабами, они в то же время заменили земледелие скотоводством и, как знал уже Плиний, привели Италию к гибели (*latifundia Italiam perdidere*). В средние века везде в Европе (особенно при распашке пустошей) царил крестьянская культура, при чем для данного вопроса безразлично, должны ли были крестьяне при этом производить и в каком размере платежи в пользу каких-либо феодалов. Фризские, нижне-саксонские, фламандские и нижнерейнские колонисты, которые предприняли обработку отнятых у славян земель на восток от Эльбы, делали это в качестве вольных крестьян, плативших очень льготный чинш, но ни в каком случае не состояли «в барщине какого-либо рода». В С. Америке громаднейшая часть земли стала культурной только благодаря труду свободных крестьян, тогда как крупные помещики юга, со своим рабским трудом и своей хищнической эксплуатацией, истощили землю до того, что на ней стали расти только ели, и культура хлопка должна была перейти далее, на запад. В Австралии и Новой Зеландии все попытки английского правительства покус-

ственно создать земельную аристократию потерпели неудачу. Одним словом, если исключить тропические и подтропические колонии, в которых климат не дает возможности европейцу заниматься земледелием, то крупный помещик, подчиняющий природу своему господству посредством труда рабов или барщинных крепостных, окажется чисто фантастическим бредом. Напротив того, там, где он появлялся в древние времена, как, например, в Италии, он содействовал не превращению пустоши в плодородные поля, а, наоборот, распаханную крестьянами землю превращал в пастбища, обеспложивая и разоряя целые области. Только в новейшее время, когда большая густота населения подняла ценность земли и развитие агрономии сделало годной для обработки и плохую землю, только с этого момента образуется крупное землевладение с целью распахивки пустошей и лугов в обширных размерах, преимущественно путем расхищения крестьянских общинных земель как в Англии, так и в Германии. Однако и тут дело не обошлось без аномалий. На каждый акр общинной земли, распаханной крупными землевладельцами, приходилось в Шотландии, по меньшей мере, три акра плодородной земли, обращенной в пастбища для овец, а под конец просто в охотничий парк красной дичи.

Таким образом, утверждение г. Дюринга, что возделывание более крупных участков земли, то-есть в сущности почти всей культурной земледельческой площади, никогда и нигде не совершалось иначе, как крупными землевладельцами при помощи подчиненных им в той или другой степени рабочих,—как оказывается, «имеет своей предпосылкой» поистине неслыханное незнание истории. Затем, мы оставим здесь в покое как вопрос о том, насколько в различные эпохи уже плодородные земли совершенно или большею частью обрабатывались рабами (как это было в период расцвета Греции) или крепостными (каковы тягловые дворы со времен средних веков), так и вопрос о том, какова была общественная функция крупных землевладельцев в разные эпохи.

После того, как г. Дюринг мастерски нарисовал нам приведенное выше фантастическое изображение образования земледельческого производства, в котором не знаешь, чему более удивляться,—фокусничеству ли дедукции или искажению истории,—после этого он торжествующе восклицает: «разумеется, все прочие категории распределения богатства исторически могут быть объяснены подобным же образом». Этим он, конечно, избавляет себя от труда потратить хоть еще одно словечко для объяснения, например, возникновения капитала.

Если г. Дюринг своим господством человека над человеком, как предпосылкой господства человека над природой, вообще хочет лишь сказать, что весь наш современный экономический строй, в его целом, и достигнутая ныне степень развития земледелия и промышленности представляют результат социальной истории, развивавшейся в классовых противоречиях, в отношениях господства и рабства, то он говорит нечто такое, что со времени «Коммунистического манифеста» уже давно стало общим местом. Но речь ведь идет о том, как объяснить возникновение классов и установившихся на их почве отношений господства и рабства, и если г. Дюринг по этому поводу знает всего только одно слово «насилие», то такое объяснение ни на шаг не подвинет дела вперед. Одного того факта, что угнетенные и эксплуатируемые во все времена были гораздо многочисленнее, чем угнетатели и эксплуататоры, благодаря чему действительная сила всегда была на стороне первых,—уже этого факта достаточно, чтобы показать всю пелепость теории насилия. Следовательно, необходимо найти иные причины и объяснения происхождения господства и рабства.

Они возникли двояким путем. Выйдя из животного (в тесном смысле слова) мира, люди вступают в историю со следами своего происхождения: еще полуживотными, грубыми, бессильными перед силами природы, не сознавшими собственных сил и поэтому столь же бедными, как и животные, и едва ли более производительными, чем они. Между ними господствует определенное равенство жизненного положения, а для глав семейств и известного рода равенство общественного положения, по крайней мере,—отсутствие общественных классов, следы которых не обнаруживались и в есте-

ственно-выросших земледельческих общинах позднейших культурных народов. В каждой такой общине с самого начала существуют известные общие интересы, соблюдение которых возлагается на отдельных членов при общественном контроле: разрешение спорных вопросов; репрессии по поводу правонарушений со стороны отдельных лиц; падзор за водохранилищами, особенно в жарких странах; и, наконец, в первобытные времена и некоторые религиозные функции. Подобные обязанности даже в самых первобытных общинах возлагается на особых должностных лиц, как это было, например, в древнейших германских марках или как это существует до сих пор в Индии. Они, понятно, снабжены известными полномочиями и представляют зародыш государственной власти. Постепенное увеличение производительных сил и плотности населения создает в одном случае общность, в другом—столкновение интересов между отдельными общинами; группировка последних в более крупное целое вызывает опять-таки новое разделение труда и учреждение новых органов для охраны общих и для отражения сталкивающихся с ними интересов. Эти органы, которые, как представители общих интересов целых групп, уже занимают по отношению к каждой отдельной общине обособленное, а при известных условиях даже враждебное положение, и становятся вскоре еще более самостоятельными, отчасти благодаря возникновению наследственности общественных должностей, которая устанавливается почти естественным порядком в такой сфере, где все происходит стихийно; частью же благодаря растущей необходимости в такой власти при учащающихся конфликтах с другими группами. Каким образом эта самостоятельность отдельных общественных функций по отношению к обществу со временем превратилась в господство над обществом, каким образом прежний слуга, при благоприятных условиях, постепенно превратился в господина, как, смотря по обстоятельствам, этот господин выступал то в качестве восточного деспота или сатрапа, то как греческий родовой государь или как кельтский начальник клана и т. д., в какой мере он пользовался, при этом превращении, силой и как, наконец, отдельные господствующие личности сплотились в господствующий класс,— в этот вопрос нам здесь не приходится вдаваться. Нам важно только установить, что в основе политического господства повсюду лежало отправление общественной службы и что политическое господство лишь в том случае сохранялось надолго, когда оно выполняло эти общественные функции. Каждая из многочисленных восточных деспотий, последовательно расцветавших и склонявшихся к упадку в Персии и Индии, знала очень хорошо, что она прежде всего является представительницей народа в деле орошения речных долин, без чего там было немыслимо и самое земледелие. Только просвещенные англичане сумели проглядеть это в Индии; они запустили оросительные каналы и плюзы, и лишь теперь, благодаря регулярно повторяющимся голодовкам, поняли, что они пренебрегли единственной деятельностью, которая могла бы укрепить их господство в Индии и сделать его, по крайней мере, столь же правомерным, как и господство их предшественников.

Но на ряду с этим процессом образования классов происходил еще и другой. Естественное разделение труда внутри ведущей земледельческой хозяйства семьи позволяло на известной ступени благосостояния применять одну или несколько посторонних рабочих сил. Это особенно имело место в таких странах, где старое общинное владение землей уже пало или, по крайней мере, прежняя общая обработка уступила место частной обработке земледельческих наделов соответствующими семьями, и где, рядом с этим, производство развилось настолько, что человеческая рабочая сила могла произвести теперь более, чем требовалось для простого ее существования и вследствие этого явились средства для содержания большого количества рабочих сил, чем давала собственная семья, а также и возможность найти для них занятие. Таким образом рабочая сила получила ценность. Но отдельные общины и союз, к которому они принадлежали, еще сами не выделяли из своей среды свободных излишних рабочих сил. Зато их доставляли войны, которые велись издавна, с тех пор, как образовались отдельные и независимые друг от друга общественные группы. Прежде труд военно-

писанных не умели эксплуатировать, и, поэтому, их просто умерщвляли, а иногда, при этом, пожирали их мясо. Теперь, с развитием производительной силы труда, они получили известную ценность, и, в виду этого, им стали дарить жизнь и пользовались их трудом. Вместо того, чтобы господствовать над экономическим положением, насилие, наоборот, было вынуждено служить целям экономического прогресса. Так появилось рабство. Оно сначала сделалось господствующим фактором производства у всех народов, развившихся до пределов разложения старой общины, но, в конце-концов, оно стало одной из главных причин их упадка. Только благодаря рабству сделалось возможным разделение труда в более или менее крупном масштабе между земледелием и промышленностью; и ему обязан своим расцветом древний мир, эллинизм. Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и науки; без рабства не было бы и римской империи. Далее, на основах греческого и римского мира развилась современная Европа: без рабства, следовательно, не могла бы возникнуть новая цивилизация. Мы никогда не должны забывать, что все наше экономическое, политическое и интеллектуальное развитие имело своим предварительным условием такой строй, в котором рабство являлось необходимым элементом, как это и признано всеми в настоящее время. В этом смысле мы имеем право сказать: без древнего рабства не было бы и современного социализма.

Очень легко раздражаться общими фразами и высоконравственным гневом по поводу рабства и тому подобных позорных явлений. К сожалению, этим негодованием выражается лишь то, что всякому известно, именно,—что эти античные учреждения не соответствуют нашим современным условиям и чувствам, определяемым этими условиями. Но такое отношение к истории не дает никакого материала для уяснения того, как возникли эти учреждения, почему они существовали и какую роль они сыграли в истории; если же мы коснемся этого вопроса, то должны сказать — как ни противоречиво и еретично может это звучать,—что введение рабства при тогдашних условиях было крупным прогрессом. Несомненен факт, что человечество начало свое развитие с состояния зверства, а потому ему требовались и варварские, почти зверские средства, чтобы выйти из варварского состояния. Старые общины там, где продолжается их существование, образовали в течение тысячелетий устой самой грубейшей государственной формы — восточного деспотизма на пространстве от Индии до России. Только там, где они разложились, народы собственными силами двинулись по пути развития, и на первой его ступени, их экономический прогресс состоял в увеличении и развитии производства посредством рабского труда. Ясно, что пока человеческий труд был еще так мало производителен, что доставлял лишь ничтожный излишек над необходимыми средствами существования, некоторое повышение производительных сил, расширение обмена, развитие государства, права, искусств и науки, — все это было возможно лишь с установлением разделения труда между массой населения, на которую возлагалась простая ручная работа, и немногими привилегированными, занятыми руководством труда и торговлей, государственными делами, а позднее наукой и искусствами. Простейший, наиболее естественной формой этого разделения труда и было именно рабство. При наличности исторических условий древнего, в частности, греческого мира, — прогресс, ведущий к основанному на классовых противоречиях обществу, мог совершиться только в форме рабства. Даже для самих рабов это было прогрессом: военнопленные, из которых рекрутировалась масса рабов, получали теперь, по крайней мере, жизнь, вместо того, чтобы, как прежде, подвергаться умерщвлению или, как еще ранее, — быть изжаренными.

Кстати заметим, что все до сих пор сменявшие друг друга исторические противоречия между эксплуатирующими и эксплуатируемыми, господствующими и угнетенными классами, находят свое объяснение в той же самой, относительно неразвитой, производительности человеческого труда. До тех пор, пока действительно трудящееся население настолько занято своим необходимым трудом, что у него же

остается времени для участия в общих делах общества, а именно: для надзора за работами, для заведывания государственными делами и правосудием, а также для занятия искусствами и науками и проч., — до тех пор всегда должен был существовать особый класс, который, будучи свободен от действительного труда, заботился бы об этом, при чем он никогда не упускал случая эксплуатировать трудящиеся массы в свою собственную пользу. Только достигнутый крупной промышленностью громадный рост производительных сил позволяет распределить труд между всеми без исключения членами общества и тем ограничить рабочее время каждого так, чтобы для всех оставалось достаточно досуга для участия в общих вопросах общества, как теоретических, так и практических. Следовательно, только теперь господствующий и эксплуатирующий класс стал излишним и даже препятствием для общественного развития, и он неизбежно должен быть устранен, хотя пока он и имеет в своем распоряжении «непосредственную силу».

Если, следовательно, г. Дюринг задирает нос перед греческим миром по поводу того, что он был основан на рабстве, то в таком случае он вправе поставить в упрек грекам то, что они не имели паровых машин и электрических телеграфов. Если он утверждает, что наше современное наемное рабство представляет унаследованную, но только видоизмененную и смягченную форму прежнего рабства и не может быть объяснено само собой (т.-е. экономическими законами современного общества), то это утверждение либо значит, что наемный труд, как и рабство, представляет форму подчиненного положения рабочих и классового господства, что знает любой ребенок, либо же это утверждение ложно. Ведь с таким же правом можно было бы сказать, что наемный труд является смягченной формой людоедства, которое, как в настоящее время положительно установлено, было не что иное, как первобытный способ утилизации побежденного врага.

Отсюда ясно, какую роль играет сила в истории по отношению к экономическому развитию. Во-первых, всякая политическая сила основывается первоначально на экономической общественной функции и растет по мере того, как, благодаря разложению первоначальных общин, члены общества превращаются в частных производителей и, благодаря этому, мало-по-малу удаляются от участия в общественных делах. Во-вторых, после того, как политическая сила стала самостоятельной по отношению к обществу и из слуги стала госпожой, она может проявляться в двояком направлении. Или она действует в духе и направлении закономерного экономического развития общества, — и тогда между этими двумя факторами не происходит никакого конфликта, и при этом самое экономическое развитие прогрессирует; или же она действует наперекор этому развитию, и тогда она, за немногими исключениями, обыкновенно разрушает экономическое развитие. Это последнее явление, исключительное по своему характеру, наблюдалось в тех единичных случаях завоевания, когда более варварские народы истребляли или изгоняли туземное население известной страны и уничтожали его производительные силы, не умея ими воспользоваться. Так, между прочим, христиане в мавританской Испании разрушили оросительные предприятия, на которых покоилось высокоразвитое хлебопашество и садоводство мавров. Каждое вторжение варварских народов в культурные страны, само собой разумеется, прерывает экономическое развитие и уничтожает производительные силы. Но при более или менее длительном завоевании чаще всего варвары бывают вынуждены приспособиться к высшему «экономическому положению завоеванной страны» в том виде, каким оно оказывается после завоевания: они ассимилируются туземными жителями и, большей частью, усваивает даже их язык. Где же — оставляя в стороне случаи завоевания — туземная политическая сила какой-либо страны вступали в противоречие с ее господствующими экономическими факторами, как это до сих пор замечалось на известной степени развития во всех государствах, там борьба всякий раз оканчивалась поражением политической силы. Всегда, без исключений, неумолимое экономическое развитие пролагало себе путь; наиболее яркий в этом отношении пример

представляет собою французская революция. Если бы экономическое положение, а вместе с ним и экономический строй какой-либо страны зависел, согласно учению г. Дюринга, от политической силы, то нельзя было бы вовсе понять, почему Фридриху-Вильгельму IV, после 1848 г., не удалось, несмотря на все его «доблестное войско», привить средневековое цеховое устройство и прочие отжившие начала к железнодорожному делу и приостановить именно тогда начавшийся процесс развития крупной промышленности; или, почему русский царь, пользующийся еще большею политической властью, не только не платит своих долгов, но даже беспрерывно прибегает к новым займам денег в Западной Европе для сохранения этой власти?

Для г. Дюринга насилие представляет собою абсолютное злое начало; первый акт насилия был, по его мнению, грехопадением, и поэтому все его повествование представляет жалобу на то, что вся история до наших дней была заражена наследственным грехом и являлась искажением всех естественных и социальных законов, благодаря господству дьявольски могущественного насилия. Что сила играет в истории еще и другую роль, — роль революционную, что она, по выражению Маркса, облегчает муки родов старого общества, беременного новым, что она есть то орудие, при помощи которого проводятся в жизнь общественные начала и разрушаются закоренелые, отжившие политические формы, — об этом мы не найдем у г. Дюринга ни слова. Однако, волей-неволей, он все-таки допускает возможность, что для разрушения хищнического хозяйства потребуются, может-быть, применение насилия хотя — увы! — оно всегда, как он уверяет, приводит к деморализации. И все это говорится, несмотря на то, что факты свидетельствуют, что результатом целого ряда революций было проявление высокого нравственного и умственного развития. И где же? — В Германии, где насильственное столкновение, навязанное народу, несомненно, принесло хотя ту пользу, что высвободило национальное сознание из угнетенного положения, созданного тридцатилетней войной. После всего этого, г. Дюринг, этот ничтожный и бездарный проповедник новых идей, еще осмеливается заявлять претензию на то, чтобы его сопричислили к революционной партии, как знатока ее истории!

В. Теория ценности.

Прошло почти сто лет с тех пор, как в Лейпциге появилась книга, которая к началу истекшего века выдержала 31 издание и распространялась в городе и деревне чиновниками, священниками, филантропами всякого рода и всюду рекомендовалась народным школам, как хорошая хрестоматия. Эта книга называлась «Друг детей» Рохова. Она имела целью получать новых сыновей крестьян и ремесленников об их жизненном призвании, об их обязанностях к начальникам общественным и правительственным и в то же время научить их вполне довольствоваться своим земным жребием, — черным хлебом и картофелем, барщиной, низкой заработной платой, отеческими розгами и прочими тому подобными прелестями, и все это при содействии существовавшей тогда системы просвещения. Городской и сельской молодежи пояснялось при этом, что, согласно мудрым законам природы человек должен трудиться, чтобы поддерживать свое существование и наслаждаться, и выставлялось на вид, каким счастливым должен чувствовать себя каждый крестьянин и ремесленник вследствие как богатый обжора, который вечно страдает расстройством желудка, несварением или того, что им приходится услаждать свою трапезу тяжелым трудом, — жить не так, запором и лишь с отвращением питается самыми отменными лакомствами. Те же общие места, которые старый Рохов считал достаточно полезными для саксонских крестьянских парней своего времени, г. Дюринг рекомендует и нам на стр. 14 и след. своего «курса», как нечто «абсолютно фундаментальное» в новейшей политической экономии.

«Человеческие потребности, как таковые, имеют свою естественную законосообразность, и росту их поставлены известные границы; безнаказанно их можно нарушать лишь очень недолгое время, но и это, как ненормальное, неизбежно приводит к положению, в результате которого получается пресыщение жизнью, дряхлость, социальное увечье (*Verkrüppelung*) и, наконец, спасительная смерть. Жизнь, переполненная одними удовольствиями, без всякой более широкой и серьезной цели, скоро ведет к пресыщению или, что то же, к утрате всякой восприимчивости. Действительный труд в какой-либо форме есть социально-естественный закон здоровых существ... Если б влечения и потребности не имели противовеса, они едва ли могли бы обеспечить человечеству существование в его первобытном состоянии, не говоря уже об исторически повышавшемся периоде развития жизни. При полном удовлетворении их без всякого труда этот процесс совершался бы быстрее; в промежутках же между периодическими проявлениями влечений и потребностей человек, лишенный их ощущения, влачил бы жалкое существование... Во всех отношениях, следовательно, зависимость от влечений и страстей, для удовлетворения которых необходимо преодоление экономических препятствий, является благотельным основным законом внешнего естественного строя и внутренних свойств человека» и т. д. Как видите, самые пошлые плоскости почтенного Рохова празднуют в книге г. Дюринга свой столетний юбилей, вдобавок в виде «глубокого основоположения», единственной истинно-критической и научной «социалитарной системы».

Заложив, таким образом, основы, г. Дюринг может продолжать свою постройку. Применяя математический метод, он нам дает сначала, по примеру старика Эвклида, ряд определений. Это тем более удобно, что свои определения он может сразу построить так, что то, что должно быть доказано с их помощью, уже отчасти содержится в их. Так, мы узнаем прежде всего, что руководящее понятие в политической экономии до сих пор называется богатством, а богатство, как оно в действительности понималось до сих пор во всемирной истории и как оно развивалось, есть «экономическая власть над людьми и вещами». Это вдвойне неверно. Во-первых, богатство старых родовых и сельских общин вовсе не было господством над людьми, а во-вторых, даже в таких обществах, которые движутся в классовых противоречиях, богатство, поскольку оно включает господство над людьми, является в силу и по существу господства над вещами. С того весьма давнего времени, когда ловля рабов и эксплуатация рабов стали отдельными отраслями промышленности, эксплуататоры рабского труда должны были покупать рабов, т.-е. приобретать господство над людьми, что было возможно только благодаря господству над вещами, — над средствами, необходимыми для уплаты покупной цены, над средствами содержания рабов и средствами производства. Во все средние века крупное землевладение является предварительным условием, которое связывает феодальное дворянство с оброчными и барщинными крестьянами. А в наше время даже шестилетний ребенок понимает, что богатство господствует над людьми исключительно через посредство вещей. Зачем же г. Дюринг состригал свое неправильное определение богатства, искажая для этого фактическую связь, которая до сих пор существовала во всех классовых обществах? Для того, чтобы перетащить богатство из сферы экономической в моральную. Господство над вещами вполне хорошее дело, но господство над людьми — от лукавого, и так как г. Дюринг сам себе воспретил объяснять господство над людьми господством над вещами, то он опять может произвести смелый оборот и объяснить первое своим любимым насилием. Богатство, как господство над людьми, говорит он, есть «грабеж», и приводит нас вновь к ухудшенному изданию старого-престарого изречения Прудона: «собственность есть воровство». Таким способом г. Дюринг ставит богатство в связь с производством и распределением; богатство, как господство над вещами, составляет производственное богатство — хорошая сторона современного строя, и богатство, как господство над людьми, — это богатство распределения, как оно до сих пор было, — плохая сторона, долой ее! В применении к современным отношениям

это значит: капиталистический способ производства вполне хорош и может остаться, но капиталистический способ распределения не годится и должен быть отменен. К такой бессмыслице можно прийти когда пишешь о политической экономии, не уразумев даже связи между производством и распределением.

После богатства идет вопрос о ценности, и она определяется следующим образом: «Ценность есть то значение, которое имеют хозяйственные предметы и работы в процессе обмена». Это значение соответствует «цене или какому-либо иному эквивалентному термину, например, заработной плате». Другими словами: ценность есть цена. Или, скорее, чтобы не быть несправедливым к г. Дюрингу и передать нелепость его определения, по возможности, собственными его словами, надо сказать: ценность—это цены, ибо на странице 19-й он говорит: «ценность, или выражающие ее в деньгах цены», следовательно, констатирует он сам, что одна и та же ценность имеет весьма различные цены, а, стало-быть, и столь же различные ценности.

Если бы Гегель не умер уже давно, он должен был бы теперь умереть! При всей склонности его к тавтологии, ему не удалось бы создать ценность, которая имеет столько же ценностей, сколько и цен. Нужно опять-таки обладать самоуверенностью г. Дюринга, чтобы новое более глубокое обоснование политической экономии начать с заявления, что между ценой и ценностью нет иного различия, кроме того, что одна выражается в деньгах, а другая нет.

Но это все еще не дает нам никаких указаний на то, что такое ценность, а еще меньше,—чем она определяется.

Г. Дюринг, поэтому, должен представить нам более подробные раз'яснения. «В совершенно общем виде основной закон уравнения и оценки, на котором основываются ценность и выражающие ее в деньгах цены, ближайшим образом коренится в области простого производства, отвлеченного от распределения, которое вносят лишь второстепенный элемент в понятие ценности. Большие или меньшие препятствия, которые различие естественных отношений противопоставляет стремлениям, направленным на производство предметов, и которыми оно принуждает к большей или меньшей затрате хозяйственной силы, также определяют... большую или меньшую ценность, а последние «измеряются» препятствиями, которые поставлены производству природой и условиями... Об'ем вложенной нами собственной силы в них (в вещах) является непосредственно решающей причиной существования ценности вообще и ее определенной величины, в частности».

Поскольку все это имеет какой-либо смысл, оно означает: ценность какого-либо продукта труда определяется необходимым для его изготовления рабочим временем, а это мы знали уже давно и помимо г. Дюринга. Вместо того, чтобы просто сообщить данный факт, он должен по оракульски исказить его.

Прямо неверно, будто бы об'ем, в котором кто-либо влагает свою силу в вещь (если сохранить это высокопарное выражение), является непосредственно решающей причиной ценности и величины ценности. Во-первых, не безразлично, в какую вещь вкладывается сила, а, во-вторых, как она вкладывается. Если кто-либо изготовит вещь, не имеющую никакой потребительной ценности для других, то вся его сила не создает ни одного атома ценности; и если он упорствует в том, чтобы изготовить ручным способом предмет, который машина изготовляет в 20 раз легче, ¹⁹/₂₀ вложенной им силы не создадут ни вообще ценности, ни какой-либо ее величины в частности.

Далее, это значит извратить все дело, если производительный труд, дающий положительные результаты, рассматривать только в чисто отрицательном смысле, как преодоление сопротивления. При таком обороте дела, чтобы падежь, например, рубашку, придется проделать следующее: сначала мы преодолеем сопротивление, оказываемое хлопчатым семенем процессу посева и прозябания, затем сопротивление прелого хлопка процессам сбора, упаковки и пересылки, затем сопротивление процес-

сам распаковки, чесания и прядения, даде сопротивление пряжи процессу тканья, сопротивление ткани процессу беления и шитья и, наконец, сопротивление готовой рубашки процессу ее надевания на человека.

К чему все эти ребяческие выверты и извращения? Для того, чтобы через посредство этого «сопротивления» «производственной ценности», истинной но до сих пор лишь идеальной ценности, перейти к исключительно действовавшей до сих пор в истории, искаженной насилием, «ценности распределительной». «Кроме того, сопротивление, которое оказывает природа, существует еще другое чисто социальное препятствие... Между человеком и природой становится тормозящая сила, и последней является опять-таки человек. Одиноким, изолированный человек свободен по отношению к природе. Но положение принимает иной характер, как только мы представим себе другого человека, который, с мечом в руке, займет все доступы к природе и ее вспомогательным источникам и потребует за вход плату, в той или иной форме. Этот другой... как бы облагает податью первого и является, таким образом, причиной того, что ценность предмета, который стремятся добыть, оказывается большей, чем была бы без такого политического или общественного препятствия на пути добывания или производства... Крайне многообразны формы этого искусственного повышения значения вещей, которое естественно сопровождается соответственным понижением значения труда... Поэтому было бы иллюзией рассматривать ценность наперед, как эквивалент в собственном смысле слова, т.-е. как равнозначущие или как меновое отношение, установленное по принципу равенства данной работы и работы, ее возмещающей... Напротив того, признаком истинной теории ценности будет то, что представленная в ней более общая причина оценки не совпадает с особой формой ценности, основывающейся на принудительном распределении. Эта форма меняется вместе с социальным устройством, тогда как собственно экономическая ценность может быть только производственной ценностью, измеряемой сообразно природе, и потому изменяется только вместе с чисто производственными препятствиями естественного и технического характера».

Таким образом, проявляющаяся на практике ценность какой-либо вещи стоит, по мнению г. Дюринга, из двух частей: во-первых, из содержавшегося в ней труда, а, во-вторых, из надбавки, являющейся результатом обложения, произведенного с «мечом в руке». Другими словами, проявляющаяся в настоящее время ценность, это — монополярная цена. Если же, согласно этой теории ценности, все товары теперь обладают монополярной ценностью, то возможны только два случая: либо каждый, как покупатель, теряет то, что он выиграл в качестве продавца, и тогда цены повышаются только нормально, реальное же их значение в процессе обмена товаров остается без изменения; в таком случае многочисленная ценность распределения является простой фикцией; либо же мнимые надбавки обложения представляют собою только часть действительной суммы ценности, именно ту, которая, хотя произведена рабочим классом, но присваивается классом монополистов, т.-е. эта часть ценности просто состоит из продуктов неоплаченного труда; в этом последнем случае, в гипотезе о человеке с мечом, с его мнимыми надбавками к цене, создающими ценность распределения, нельзя не усмотреть опять-таки в скрытой форме теории Маркса о прибавочной ценности.

Присмотримся, однако, к некоторым примерам пресловутой «распределительной ценности». На стр. 125 и след. говорится: «также и образование цены посредством индивидуальной конкуренции должно считаться формой экономического распределения и взаимного наложения податей; если представить себе, что внезапно запас какого-либо необходимого товара значительно уменьшится, то на стороне продавцов получается непропорционально большая возможность эксплуатации... Насколько колоссально может быть повышение, показывают в особенности те исключительные случаи, когда на долгое время отрезан подвоз необходимых предметов» и т. д. Сверх того, — прибавляет г. Дюринг, — существуют и при нормальном течении событий фактические

монополии, допускающие произвольное повышение цен, как, например, железные дороги, общества для снабжения городов водой и осветительным газом и т. д.

Что существуют такие случаи монопольной эксплуатации, это давно известно. Но что созданные ими монопольные цены должны считаться не исключениями или частными случаями, но именно классическим примером обычного в настоящее время установления ценностей—это новость. Как определяются цены жизненных средств? Ступайте в осажденный город, подвоз к которому отрезан, и поучайтесь! — отвечает г. Дюринг. Как действует конкуренция на установление рыночных цен? Спросите монополию, и она вам раз'яснит загадку!

Впрочем, даже и в подобных случаях монополии нельзя открыть человека с мечом в руке, стоящего за ее ширмой. Как известно, в осажденных городах человек с мечом, т.-е. г. комендант, если только он выполняет свой долг, обыкновенно очень скоро приказывает монополию и конфискует запасы монополистов, в целях равномерного их распределения. А затем вообще, когда люди с мечом пытаются сфабриковать «ценность распределительную», их попытки кончаются всегда тем, что дела их идут плохо и они терпят денежные потери. Голландцы своим монополизированием Ост-Индской торговли привели к гибели свою монополию и торговлю. Два сильнейших правительства какие только когда-либо существовали, именно Северо-Американское революционное правительство и французский национальный конвент, пытались установить максимальные цены, потерпели полную неудачу. Русское правительство хлопочет уже несколько лет о том, чтобы подпять курс русских бумажных денег, понизившийся вследствие того, что было вынуждено в обращение слишком большое количество таких неразменных бумажных рублей; для этого оно беспрерывно, в продолжение нескольких лет, скупало в Лондоне векселя на Россию по повышенным ценам. В результате такая операция обошлась русскому правительству в 60 миллионов рублей и доставила ему лишь то удовольствие, что в настоящее время русский бумажный рубль ценится всего около двух марок, вместо трех.

Если бы меч обладал приписываемой ему эконоимической магической силой, то почему же ни одно правительство не может устроить так, чтобы надолго навязать плохим деньгам «распределительную ценность» хороших или ассигнациям навязать ценность золота? Где же тот меч, который командует на мировом рынке? Далее г. Дюринг, развивая свою гипотезу распределительной ценности, отмечает основные формы безвозмездного присвоения продуктов чужого труда, каковыми являются имущественная рента, т.-е. земельная рента и прибыль на капитал. Мы отмечаем это только для того, чтобы указать сполна на все, что мы узнали о прословутой «распределительной ценности», хотя, впрочем, и это еще не все.

«Несмотря на двойственность точки зрения, выступающей в признании ценности производственной и ценности распределительной, тем не менее, в основе их заключается нечто общее, тот предмет, из которого состоят все ценности и которым, поэтому, они могут измеряться. Непосредственной естественной мерой является трата силы, а простейшей единицей—человеческая сила в грубейшем смысле слова. Последняя сводится к рабочему времени, необходимому для обеспечения существования рабочего, самоподдержание которого опять-таки представляет преодоление известной суммы препятствий в процессе питания и жизни. Ценность распределения или присвоения проявляется в чистой и исключительной форме там, где господствует сила распоряжения вещами, представляющими собою продукты чужого труда, или, выражаясь более обычным языком, там, где подобные вещи вымениваются на труд или на предметы, имеющие действительную производственную ценность. То однородное, что проявляется и выражается в каждой категории, т.-е. одинаково в производственной и распределительной ценности, а, следовательно, и в вещах, присваиваемых монополистами без вознаграждения, — состоит в затрате человеческой силы, которая воплощается в каждом товаре».

Что сказать нам по этому поводу? Если все товарные ценности измеряются воплощенной в товарах затратой человеческой силы, то в таком случае, что же останется на долю ценности распределении, и из какого источника черпаются надбавки к цене, обложение податью? Г. Дюринг, правда, говорит нам, что также продукты, не произведенные трудом, или, иначе, не одаренные собственной ценностью могут приобретать известную ценность распределения и вымениваться на продукты, произведенные трудом, а, следовательно, обладающие производственной ценностью. Но он в то же время утверждает, что все ценности, следовательно, в том числе и ценности исключительного характера, т.-е. распределительная ценность, определяются воплощенной в них затратой труда. При этом мы, к сожалению, не узнаем, как воплощается затрата труда в вещи, не произведенной трудом. Во всяком случае, из всего этого смешения ценностей, в конце-концов, очевидно, что и ценность распределительная, эта, вынужденная социальным положением, надбавка к цене, обложение силой меча, — все это оказывается опять-таки ни к чему: ценности товаров определяются затратой человеческой силы, в просторечии — трудом, который в них воплощен.

Г. Дюринг, если не касаться земельной ренты и немногих монопольных цен повторяет, только беспорядочно и туманно все то, что уже давно определеннее и яснее установлено теорией ценности Рикардо-Маркса. Но он это делает и одновременно утверждает противоположное. Маркс, исходя из исследований Рикардо, говорит: ценность товаров определяется воплощенным в товарах необходимым общечеловеческим трудом, который, в свою очередь, измеряется своей продолжительностью. Труд есть мерило всех ценностей, по сам он не имеет никакой ценности. Г. Дюринг точно так же, приняв труд, как мерило ценности, продолжает: труд «сводится к рабочему времени. необходимому для обеспечения существования рабочего, самоподдержание которого опять-таки представляет преодоление известной суммы препятствий в процессе пропитания и жизни». Оставим в стороне покоящееся на страсти к оригинальности смешение рабочего времени, о котором одном здесь и идет речь, с временем существования, которое еще никогда не создавало или не измеряло ценности. Оставим в стороне и ту ложно «социальную» видимость, которую должно привести «самоподдержание» во время «существования»; с тех пор, как существует мир, и до тех пор, пока он будет существовать, каждый должен лично сам поддерживать свое существование, т.-е. он должен сам потреблять средства, необходимые для поддержания его жизни. Предположим, что г. Дюринг выразился бы точным языком политической экономии; тогда вышеприведенное положение либо ничего не значило бы, либо значило бы следующее: ценность какого-либо товара определяется воплощенным в нем рабочим временем, а ценность этого рабочего времени определяется ценностью жизненных средств, требующихся для содержания рабочего в течение этого времени. А это последнее, при существующих экономических порядках, значило бы, что ценность известного товара определяется содержащейся в нем заработной платой.

Тут мы, наконец, пришли к тому, что г. Дюринг собственно хочет сказать. Ценность товара определяется на языке вульгарной экономии издержками производства, против чего Кери «выдвинул ту истину, что не издержки производства, но издержки воспроизводства определяют ценность» («Критич. история», стр. 401). Какой смысл имеют эти издержки производства или воспроизводства об этом мы поговорим ниже; здесь же заметим, что они, как известно, состоят из заработной платы и прибыли на капитал. По мнению г. Дюринга, заработная плата представляет поглощенную в товаре «затрату силы», т.-е. производственную ценность; прибыль же, вынуждаемую капиталистом при помощи меча, находящегося в его руке, т.-е. подать или надбавку к цене, — он называет ценностью распределительной. И, таким образом, вся полная противоречий путаница Дюринговой теории ценности выясняется, наконец, принимая превосходную гармоническую ясность.

Определение ценности товаров заработной платой, которое у Адама Смита еще смешивается с определением ценности рабочим временем, со времени Рикардо изгнано

из научной политической экономии, и в наши дни влечит существование еще только в вульгарной экономии. Именно, самые плоские сикофанты существующего капиталистического общественного строя проповедают определение ценности заработной платы и в то же время представляют прибыль капиталиста высшим родом заработной платы, платой за воздержание (за то, что капиталист не промотал своего капитала), премией за риск, платой за ведение дела. Г-н Дюринг от них отличается только тем, что объявляет прибыль грабительством. Другими словами, свой социализм г. Дюринг основывает непосредственно на теориях вульгарной экономии худшего сорта. Его социализм имеет такое же научное значение, как и эта вульгарная экономия: и то и другое неразрывно связано между собою.

Ясно, однако, что то, что производит рабочий, и то, что стоит его рабочая сила, представляет вещи столь же различные как то, что производит машина и что она стоит. Ценность, которую создает рабочий в течение рабочего дня в 12 час., не имеет ничего общего с ценностью жизненных средств, которые он потребляет в течение этого рабочего дня и относящихся к нему промежутков отдыха. В этих жизненных средствах может быть воплощено три, четыре или семь часов рабочего времени, смотря по степени развития производительности труда. Если мы примем, что для их производства требуется 7 часов труда, то, по смыслу защищаемой г. Дюрингом вульгарно-экономической теории ценности, оказывается, что продукт 12-ти часового труда имеет ценность 7 часового труда, что 12 часов труда равны 7 часам труда, или что 12-7; или, выражаясь яснее, если сельский рабочий, безразлично при каких именно общественных отношениях, производит в год количество хлеба, скажем, 20 гектолитров пшеницы, сам же в течение этого времени потребляет сумму ценностей, которая выражается всего в 15 гектолитрах пшеницы, — то, в таком случае, 20 гектолитров пшеницы имеют ту же самую ценность, как и 15, и это на одном и том же рынке, при прочих неизменных условиях; иными словами, 20=15. И это называется экономической наукой.

Развитие человеческого общества, после завершения стадии животной дикости, началось с того момента, когда труд семьи стал создавать более продуктов, чем было необходимо для его поддержания; с того дня, когда часть труда могла затрачиваться на производство уже не только жизненных средств, но и средств производства. Избыток продукта труда над издержками содержания труда и, как результат этого, образование и увеличение общественного производственного и резервного фонда стали основой всякого общественного, политического и интеллектуального процесса. До сих пор в истории этот фонд был собственностью привилегированного класса, который вместе с этой собственностью пользовался политическим господством и духовным руководством. Предстоящее общественное преобразование впервые сделает этот общественный производственный и резервный фонд, т.е. совокупность сырых материалов, орудий производства и жизненных средств, действительно общественным, изъяс его из владения этого привилегированного класса и передав его всему обществу, как общее достояние.

Одно из двух. Либо ценность товаров определяется издержками содержания рабочих, необходимых для производства этих товаров, т.е. в нынешнем обществе — заработной платой; в таком случае, каждый рабочий получает в своей заработной плате ценность продукта своего труда, и тогда эксплуатация класса наемных рабочих классом капиталистов немыслима. Предположим, что издержки содержания рабочего выражаются в данном обществе суммой в 3 марки, равной ценности его продукта, как это вытекает из вульгарной экономической теории ценности, и что капиталист, нанимающий этого рабочего, прибавляет к цене этого продукта прибыль, надбавку в 1 марку, и продает, следовательно, продукт за 4 марки. То же делают и другие капиталисты. Но, в таком случае, рабочий уже не может удовлетворить свое дневное пропитание 3 марками, а нуждается для этого опять-таки в 4 марках. Так как все прочие условия предположены неизменными, то и

выражающаяся в жизненных средствах заработная плата должна остаться неизменной, следовательно, заработная плата, выраженная в деньгах, должна подняться именно с 3-х до 4-х марок в день. То, что капиталисты отнимают у рабочего класса в форме прибыли, они должны ему возратить в форме заработной платы. Мы не ушли таким образом ни на шаг от того места, где были сначала: если заработная плата определяет ценность, то невозможна никакая эксплуатация рабочего капиталистом. Но невозможно и образование избытка продуктов, ибо рабочие, по нашему предположению, потребляют как раз столько продуктов, сколько они производят. А так как капиталисты не производят никакой ценности, то нельзя даже представить себе, чем они будут жить. Если же такой избыток производства над потреблением, такой производственной резервной фонд тем не менее существует и притом находится в руках капиталистов, то приходится предположить или такую нелепость, что рабочие потребляют для своего самоподдержания только ценность товаров, а сами товары в натуре сполна остаются в распоряжении капиталистов для дальнейшего их потребления; или же, имея в виду, что производственный и резервный фонд фактически составляет собственность класса капиталистов, возникшая из накопленной прибыли (земельную ренту мы пока оставляем в стороне), — надо признать, что этот фонд образуется из накопленного избытка продукта труда рабочих над суммой заработной платы, уплачиваемой им классом капиталистов. Но в этом последнем случае ценность определяется не заработной платой, а количеством труда; следовательно, рабочий класс доставляет классу капиталистов в продукте труда большее количество ценности, чем какое он получает от него в заработной плате, и в таком случае — прибыль на капитал, как и все другие формы присвоения продуктов чужого неоплаченного труда, объясняется открытой Марксом гипотезой прибавочной ценности. Кстати, о том великом открытии, которым Рикардо начинает свой главный труд, говоря, что «ценность известного товара зависит от необходимого для его производства количества труда, а не от заплаченного за этот труд высшего или низшего вознаграждения», — об этом, произведшем эпоху, открытия г. Дюринг не говорит ни слова в своем курсе политической экономии. В «Критической же истории», он нападает на великого экономиста, отделяясь следующей оракульской фразой: «Он (Рикардо) не думает, что большее или меньшее отношение, в котором заработная плата может представлять требование на жизненные потребности, должно... привести с собой также разнообразие в образовании отношений ценности». Фраза, о которой читатель может думать, что ему угодно; лучше же всего не думать о ней ничего!

А затем пусть читатель сам выбирает тот сорт ценности, какой ему наиболее понравится из пяти различных сортов, которыми угостил нас г. Дюринг: во-первых, ценность производственная, находящаяся в зависимости от природных условий; во-вторых, распределительная ценность, создаваемая людской злобой и отличающаяся от первой тем, что измеряется затратой силы, в ней не воплощенной; в-третьих, ценность, которая измеряется рабочим временем; в четвертых, ценность, определяемая издержками воспроизводства; и, наконец, в-пятых, ценность, измеряемая заработной платой. Выбор богатый, путаница полнейшая, и нам остается только воскликнуть вместе с г. Дюрингом: «учение о ценности есть пробный камень для определения основательности экономической системы!»

VI. Простой и сложный труд.

Грубый экономический промах, достойный ученика 4 класса и в то же время заключающий в себе общественно-опасную социалистическую ересь, открыл г. Дюринг у Маркса. Теория ценности Маркса «не более, как обычное... учение о том, что труд есть причина всех ценностей, а рабочее время мерило их. Вполне неясным остается здесь представление о том, как следует мыслить различную ценность, так

пазываемого, квалифицированного труда. Впрочем, и по нашей теории измерять естественные издержки (Selbstkosten) и тем самым и абсолютную ценность хозяйственных предметов может только потраченное рабочее время, с тою разницею, однако, что мы принимаем рабочее время каждого индивидуума за равные величины, не упуская при этом из вида, что при квалифицированных работах к индивидуальному рабочему времени одной личности присоединяется работа других личностей..., напр., при употреблении разных орудий производства. Дело, следовательно, обстоит не так, как туманно представляет г. Маркс, будто бы чье-либо рабочее время само по себе стоит больше, чем рабочее время других, потому что в первом из них как бы сгущено больше среднего рабочего времени; нет, всякое рабочее время, без исключения и по принципу, следовательно, без необходимости принимать в расчет какой-либо средний уровень, одинаково и совершенно равноценно, и при работах какой-либо личности так же, как в каждом готовом продукте, нужно только высчитать, сколько рабочего времени других лиц скрыто в затрате, повидимому, только его собственного рабочего времени. Будет ли то орудие производства, приводимое в действие рукой, либо сама рука, даже голова, которая без посредства рабочего времени других людей не может получить специального свойства и работоспособности, — это не имеет ни малейшего значения для строгого применения теории. Г-н же Маркс в своих рассуждениях о ценности не свободен от веры в призрак квалифицированного рабочего времени. Отказаться от него ему помешал унаследованный метод мышления образованных классов, которым должно казаться чудовищным признание рабочего времени извозчика и рабочего времени архитектора — вполне экономически равноценными».

То место у Маркса, которое вызвало этот «страшный гнев» г. Дюринга, очень кратко. Маркс исследует, чем определяется ценность товаров, и отвечает: содержащемся в них человеческим трудом. «Последний, — продолжает он, — есть затрата простой рабочей силы, которую обладает в своем физическом организме всякий обыкновенный человек без особого развития... Более сложный труд имеет значение лишь как возведенный в степень или скорее умноженный простой труд, как что меньшее количество сложного труда равняется большому количеству труда простого. Что это приравнение одного труда к другому происходит постоянно, показывает опыт. Известный товар может быть продуктом самого сложного труда, но ценность его приравнивается к продукту простого труда, а потому сам он представляет собою лишь определенно количество простого труда. Различные пропорции, в которых разные виды труда приводятся к труду простому, как к их единице, устанавливаются общественным процессом за спиной производителей и кажутся им, поэтому, существующими по обычаю».

Здесь у Маркса речь идет ближайшим образом лишь об определении ценности товаров, т.-е. предметов, которые произведены внутри общества, состоящего из частных производителей, произведенные этими производителями за частный счет и вымнены один на другой. Здесь, следовательно, говорится отнюдь не об «абсолютной ценности», где бы сия ни влачила свое существование, но о ценности, которая существует в определенной общественной форме. Эта ценность, если не рассматривать с исторической точки зрения, создается и измеряется человеческим трудом, воплощенным в отдельных товарах, а этот человеческий труд оказывается далее затратой простой рабочей силы. Однако, не всякий труд есть простая затрата простой человеческой силы: очень многие виды труда включают в себе применение ловкости или познаний, приобретаемых с большим или меньшим трудом и с затратой времени и денег. Создают ли эти виды сложного труда в равные периоды времени такую же товарную ценность, как и труд простой, затрата простой, голый рабочей силы? Очевидно, нет. Продукт часа сложного труда представляет товар высшей ценности, двойной или тройной, по сравнению с продуктом часа простого труда. Ценность продуктов сложного труда определяется посредством уравнивания, выраженного в определенных

количества простого труда, а это приведение сложного труда к простому совершается общественным процессом за спиной производителей, — процессом, который здесь, при обсуждении теории ценности, может быть установлен, но еще не объяснен.

Именно этот простой факт, ежедневно совершающийся в современном капиталистическом обществе на наших глазах, и констатирует Маркс. Он настолько неоспорим, что сам г. Дюринг не отважится его оспаривать ни в своем курсе ни в «Истории Политической Экономии». Изложение Маркса так просто и ясно, что никто изверное, кроме г. Дюринга, не останется при этом «в полной неясности». Однако, последний, увлекаясь своей гипотезой об «естественных издержках» и об «абсолютной ценности», о которой никогда ничего не говорилось ни в одном курсе политической экономии, — проглядел истинный смысл теории Маркса о товарной ценности, которая и составляла, главным образом, предмет изучения для последнего. Уж по тому, что именно понимает г. Дюринг под «естественными издержками» и какое значение придает своим пяти различным родам ценности, чтобы обосновать понятие об «абсолютной ценности», — можно с уверенностью сказать, что у Маркса не могло быть и речи о всех этих предметах; он всегда говорил только о товарной ценности, как это доказывает и глава «Капитала» о ценности; точно так же у Маркса нет ни малейшего намека на то, в каком объеме считал он применимой к другим общественным формам свою теорию о товарной ценности.

«Но дело обстоит вовсе не так, — говорит г. Дюринг, — как туманно представляет Маркс, будто бы где-либо рабочее время само по себе стоит больше, чем рабочее время другого лица, потому что в первом из них как бы сгущено больше среднего рабочего времени. Напротив, всякое рабочее время, без исключения и принципиально, следовательно, без необходимости принимать в расчет какой-либо средний уровень, — совершенно равноценно». Так полагает г. Дюринг, и поэтому он может считать себя счастливым, что судьба не сделала его фабрикантом, и тем самым предохранила от оценки его товаров по этому новому правилу, а, следовательно, и от необходимости сделаться банкротом. Однако! Уж не находимся ли мы в обществе фабрикантов? Совсем нет. Навязывая нам свои гипотезы об естественных издержках и абсолютной ценности г. Дюринг заставляет нас вместе с тем сделать скачок, настоящим *salto mortale*, из настоящего плохого мира, где господствует эксплуатация, — в его собственную хозяйственную коммуны будущего, в сферу небесного равенства и справедливости, и немного заглянуть, хотя и несколько преждевременно, в этот новый мир.

Без всякого сомнения, по теории г. Дюринга, в его будущей коммуне ценность хозяйственных предметов может быть измерима только затраченным рабочим временем, с тем, однако, условием, что рабочее время каждого индивидуума будет заранее считаться равноценным, без исключения и принципиально и, следовательно, без необходимости принимать в расчет какую-либо среднюю норму для измерения и оценки рабочего времени. Затем это радикально-социальное равенство сравнивается с туманным представлением Маркса о том, что будто бы где-либо рабочее время само по себе стоит дороже, чем рабочее время другого какого-либо лица, на том основании, что в первом из них как бы сгущено более среднего рабочего времени, чем во втором, — туманное представление, возникшее у г. Маркса благодаря унаследованному от образованных классов способу мышления, которым должно казаться чудовищным признание рабочего времени извозчика и рабочего времени архитектора вполне экономически равноценными!

Однако, Маркс в примечании, сделанном к вышеприведенной выписке из «Капитала», говорит: «Читатель должен обратить внимание на то, что здесь идет речь не о заработной плате, которую получает работник за рабочий день, но о стоимости товаров, в которых воплощается его рабочий день». Из этих слов можно заключить, что Маркс как бы предугадал поход г. Дюринга, направленный против него, и сам опасался, чтобы приведенную выше цитату из «Капитала» кто-нибудь не применил к объяснению заработной платы, выплачиваемой за сложный труд

в нынешнем обществе. И если г. Дюринг, недовольный тем, что он уже сделал, еще предписывает приведенной выше цитате из «Капитала» значение основных положений, которые Маркс будто хотел применить к распределению жизненных средств и социалистически организованном обществе, то это просто бесстыдная подтасовка, допускаемая разве только в разбойничьей литературе.

Нам все-таки необходимо несколько ближе познакомиться с учением г. Дюринга о равноценности. Всякое рабочее время, — говорит он, — совершенно равноценно: как рабочее время извозчика, так и рабочее время архитектора. Таким образом оказывается, что рабочее время, а, следовательно, и самый труд, имеют известную ценность. Но, ведь, труд есть создатель всех ценностей. Только он один и придает ценность, в экономическом, смысле добываемым продуктам природы. Следовательно, ценность есть не что иное, как выражение овеществленного в каком-либо предмете общественно-необходимого человеческого труда, а труд сам по себе не может иметь никакой ценности. Говорить о ценности труда и о ценности товаров, измеряемой количеством труда, можно с таким же правом, как толковать о том, что вес составляет свойство не только физических тел, но и самой тяжести. Г. Дюринг разделяется с такими людьми, как С.-Симон, Оуэн и Фурье, называя их социальными алхимиками. Но, копаясь над выраженным в ценности рабочим временем, т.-е. трудом, он доказывает, что он сам стоит гораздо ниже, чем подлинные алхимики. И только этим можно объяснить дерзость, с которою он навязывает Марксу утверждение, будто бы чье-либо рабочее время само по себе стоит более, чем рабочее время других лиц, и что будто бы рабочее время, т.-е. труд, имеет ценность, — Марксу, который впервые заявил, что труд не может иметь никакой ценности и доказал, почему именно.

Для социализма, который хочет эмансипировать человеческую рабочую силу от ее роли товара, весьма важное значение имеет то соображение, что труд не имеет ценности и не может иметь ее. Вместе с тем становятся бессильными все попытки, перешедшие по наследству к г. Дюрингу от стихийного рабочего социализма, который полагал регулировать в будущем распределение средств существования посредством установления особого рода высшей заработной платы. Настоящий социализм, напротив, предполагает, что распределение, поскольку оно управляется чисто экономическими соображениями, будет регулироваться интересами производства, а развитию производства наиболее способствует такой способ производства, который позволяет всем членам общества возможно всесторонне развить, сохранить и применить свои способности. Унаследованному же г. Дюрингом образу мышления образованных классов должно, конечно, казаться чудовищным, что настанет время, когда не будет ни извозчиков, ни архитекторов по профессии, и что человек, который распоряжался в течение $\frac{1}{2}$ часа, как архитектор, будет затем править лошадью в качестве извозчика, пока не явится опять необходимости в его деятельности, как архитектора. Хорошо бы социализм, увековечивающий должность извозчика, как специальную профессию!

Если равноценность рабочего времени должна иметь тот смысл, что каждый работник в равные промежутки времени производит разные ценности и что нет необходимости для определения ценности принимать в расчет какую-либо среднюю норму, то это, очевидно, неверно. Ценность продукта одного часа труда двух работников, хотя бы одной и той же отрасли промышленности, всегда окажется различна, смотря по интенсивности труда и искусству работника; этой беде, которая, впрочем, может казаться таковой только таким социалистам, как Дюринг, — не может помочь никакая хозяйственная коммуна, по крайней мере, на нашей планете. Что же остается, следовательно, от всей равноценности всякого труда? Не более, как задорная фраза, не имеющая иной экономической основы, кроме неспособности г. Дюринга провести различие между определением ценности трудом и определением ценности заработной платы. Он, в сущности, написал указ, основной закон новой хозяйственной коммуны: заработная плата за равный труд должна быть равна. Но, ведь, старые французские

рабочие-коммунисты и Вейтлинг приводили гораздо лучшие доводы в пользу такого равенства заработной платы.

Как же разрешается весь важный вопрос о высшей оплате сложного труда? В обществе частных производителей издержки по образованию обученного рабочего падают на частных лиц или их семейства; поэтому, и частным лицам ближайшим образом достается высшая плата за обученную рабочую силу; как прежде обученный раб продавался дороже, так теперь обученный наемный рабочий оплачивается по высшей цене. В обществе, организованном социалистически, эти издержки оплачивает общество, поэтому ему принадлежат и результаты их, т.-е. созданные более сложным трудом высшие ценности. Сам рабочий не может претендовать ни на какой избыток,—из чего, между прочим, следует вывод, что и излюбленное притязание работника на «весь продукт труда» тоже иной раз оказывается не совсем неуязвимым.

VII. Капитал и прибавочная ценность.

«Под капиталом Маркс не разумеет, прежде всего, бычное экономическое понятие, согласно которому капитал есть произведенные средства производства, но пытается втиснуть в это понятие более частную диалектически-историческую идею, вводящую его в метаморфозную игру понятий и идей. Капитал, по Марксу, образуется из денег; он образует историческую фазу, которая начинается с XVI века, именно с предполагаемых в это время зачатков мирового рынка. Очевидно, при подобном толковании понятия утрачивается острота политико-экономического анализа. В подобных пустых концепциях, которые должны быть наполовину историческими, наполовину логическими, а в действительности представляют только убогие исторической и логической фантастики,—исчезает способность рассудка к различению, а вместе с тем и добросовестное применение понятий»... и в таком же духе продолжается поход на протяжении целой страницы... «помощью Марксовой характеристики понятий капитала может создаться в строгом политико-экономическом учении одна только путаница... легкомыслие, выдаваемое за глубокую логическую истину... шаткость оснований» и т. д.

Итак, по Марксу, капитал яко бы образовался в начале XVI века из денег. Это то же самое, как если бы сказать, что металлические деньги 3.000 лет тому назад образовались из скота, так как раньше скот, в числе других предметов, исполнял функцию денег. Только г. Дюринг способен к такому грубому и двусмысленному способу выражения. У Маркса, при анализе экономических форм, в пределах которых совершается процесс обращения товаров, последней формой оказываются деньги. «Этот последний продукт товарного обращения есть первая форма проявления капитала. Исторически капитал противопоставляется земельной собственности, прежде всего в форме денег, как денежная сила, как торговый капитал или как ростовщический капитал... Эта же история разыгрывается ежедневно на наших глазах. Всякий новый капитал выступает впервые на сцену, т.-е. на рынок,—товарный, рабочий или денежный,—всегда в форме денег,—денег, которые, при посредстве известного, определенного процесса, должны превратиться потом в капитал». Итак, здесь опять-таки Маркс констатирует факт. Неспособный оспаривать этот факт, г. Дюринг извращает его. Капитал, по Марксу, образуется из денег!

Затем Маркс подвергает дальнейшему исследованию те процессы, посредством которых деньги превращаются в капитал, и находит прежде всего, что форма, в которой деньги циркулируют, как капитал, представляет обратное той форме, в которой они циркулируют, как всеобщий товарный эквивалент. Простой товаровладелец продает, чтобы купить: он продает то, в чем не нуждается, и покупает за вырученные при продаже деньги то, что ему нужно. Между тем, приступающий к делу капиталист покупает с самого начала то, в чем он сам не нуждается; он покупает, чтобы продать

и притом продать дороже, чтобы сохранить затраченную первоначально на покупку денежную сумму, увеличенную денежным приростом, и этот прирост Маркс называет прибавочной ценностью.

Откуда происходит эта добавочная ценность? Она не может образоваться ни от того, что покупатель покупает товары ниже их ценности, а продавец продает их выше ценности. В обоих случаях прибыли и убытки каждого лица взаимно уравновешивались бы, ибо каждый попеременно является покупателем и продавцом. Прибавочная ценность не может также явиться результатом обмана, так как обман может только обогатить одного на счет другого, но не может увеличить общую сумму, которую оба обладают, следовательно, не может увеличить общую сумму обращающихся ценностей... «Класс капиталистов известной страны не может сам себя обчитывать».

И тем не менее мы находим, что класс капиталистов каждой страны, взятый в целом, постоянно обогащается на наших глазах, продавая дороже, чем купил, присвоивая прибавочную ценность. Таким образом мы приходим к тому же вопросу, с которого начали: откуда получается это прибавочная ценность? Этот вопрос необходимо решить и притом решить чисто экономическим путем, исключив всякий обман, всякое вмешательство какого-либо насилия, именно вопрос: каким образом можно постоянно продавать дороже, чем куплено, даже предполагая, что постоянно равные ценности обмениваются на равные?

Разрешение этого вопроса составляет великую историческую заслугу труда Маркса. Оно бросило яркий свет на такие экономические области, в которых до сих пор социалисты не менее, чем буржуазные экономисты, бродили в глубоких потемках. И только с момента решения этого вопроса явилась почва для обоснования научного социализма.

Это решение таково. Увеличение суммы обращающихся денег, которые должны превратиться в капитал, не может произойти само собой из денег или образоваться от покупки товаров, ибо деньги в акте покупки только реализуют цену товара, а эта цена, согласно нашему предположению о том, что обмениваются равные ценности, соответствует ценности товара. Увеличение ценности не может возникнуть по тем же основаниям и из акта продажи товаров. Значит, такое изменение должно произойти с товаром, который покупается, но только не с его ценностью, так как он покупается и продается по его ценности, а с его потребительной стоимостью, как таковой; следовательно, изменение в ценности должно происходить из потребления самого товара. Но для того, чтобы извлечь из потребления ценность, нужно, чтобы нашему капиталисту повезло найти на рынке такой товар, потребительная ценность которого обладала бы специфическим свойством быть источником ценностей, так, чтобы самое потребление товара было бы воплощением труда, т.-е. созданием новой ценности. И действительно, владелец «денег находит на рынке такой специфический товар — способность к труду, или рабочую силу». Если, как мы видели, труд, как таковой, не может иметь ценности, то не так обстоит дело с рабочей силой. Последняя получает ценность лишь только она, как это фактически имеет место ныне, становится товаром, и эта ценность определяется, подобно всякому другому товару, рабочим временем, необходимым для производства, следовательно, и для воспроизводства этого специфического предмета, т.-е. рабочим временем, которое требуется для производства жизненных средств, необходимых работнику для поддержания себя в состоянии пригодности к труду и для продолжения своего рода. Примем, что эти жизненные средства представляют ежедневно рабочее время в 6 часов. Наш капиталист закупает для ведения предприятия рабочую силу, т.-е. нанимает работника, и если он уплатит ему денежную сумму, которая представляет собою 6 часов труда, то тем самым он оплатит ему сполна дневную ценность рабочей силы. Но рабочий, отработав 6 часов у данного капиталиста, возместит ему только расход, т.-е. уплаченную ценность дневной рабочей силы, и, в таком случае, деньги еще не превратятся в капитал, не произведут никакой прибавочной ценности. Поэтому, покупатель рабочей силы смотрит совер-

шенно иначе на характер заключенной им сделки. Тот факт, что всего лишь 6-часовой труд необходим для того, чтобы содержать рабочего в течение 24 часов, вовсе не мешает последнему работать 12 часов из этих 24. Ценность рабочей силы и ее реализация в процессе труда суть величины совершенно различные. Владелец денег заплатил дневную ценность рабочей силы, и ему поэтому принадлежит и пользование ею в течение всего дня, труд в продолжение всего дня. То обстоятельство, что ценность, создаваемая употреблением рабочей силы в течение дня, вдвое больше ее собственной дневной ценности, представляет особенное счастье для покупателя, но по законам обмена товаров не составляет никакой несправедливости по отношению к продавцам. Итак, рабочий, как мы приняли, получает от владельца капитала ежедневно известное количество продуктов, равное по ценности 6 часам труда, а сам представляет последнему ежедневно продукт, равный по ценности 12 часам труда. Разница в пользу владельца денег — 6 часов неоплаченного прибавочного труда, т. е. неоплаченного прибавочного продукта, в котором воплощен 6-часовой труд. Фокус проделан. Прибавочная ценность произведена, деньги превратились в капитал.

Доказав, таким образом, как возникает прибавочная ценность и как она только и может возникнуть при господстве законов, регулирующих обмен товаров, Маркс разоблачил механизм современного капиталистического способа производства и опирающийся на него способ присвоения прибавочной ценности, и тем самым разоблачил основной элемент, который находится в центре всего современного общественного строя.

Впрочем, капитализм требует одной существенной предпосылки: «для превращения денег в капитал владелец денег должен найти на товарном рынке свободного работника, свободного в двояком смысле; во-первых, в том смысле, что он, как свободная личность, распоряжается своей рабочей силой, как товаром, а во-вторых, в том, что у него нет для продажи другого товара, что он человек вольный и незанятый, свободный от всех предметов, необходимых для приведения в действие его рабочей силы». Подразделение общества на владельцев денег или товаров, с одной стороны, и на владельцев одной только рабочей силы, с другой — не есть отношение естественное и не является таким, которое было бы обще всем историческим периодам: «оно само, очевидно, есть результат прошлого исторического развития, продукт... упадка целого ряда более древних формаций общественного производства».

Впервые свободный рабочий встречается в массовом количестве в конце XV и начале XVI столетия, вследствие разложения феодального способа производства. Этим обстоятельством, вместе с начавшимся в ту же эпоху созданием мирового рынка и мировой торговли, была дана основа, на которой масса наличного движимого богатства все более и более должна была превращаться в капитал, и капиталистический способ производства, направленный к созданию прибавочной ценности, должен был все более и более становиться исключительно господствующим.

Таковы «пустые концепции» Маркса, эти незаконные детища исторической и логической фантастики, «в которых погибает способность рассудка к различению, вместе со всяким добросовестным применением понятий». Противопоставим же этим «плодам легкомыслия» то «глубокологические истины» и «последнюю и строжайшую научность, в смысле точных знаний», которые нам доставляет г. Дюринг. Итак, под капиталом Маркс понимает не обычное экономическое понятие, согласно которому «капитал есть произведенное средство производства»; напротив того, он утверждает, что известная сумма ценностей лишь тогда превращается в капитал, когда она затрачивается в предприятие (*sich verwertet*), образуя прибавочную ценность. А что говорит г. Дюринг? «Капитал есть основа (*der Stamm*) экономических сил, служащих для ведения производства и для образования долей участия в плодах всеобщей рабочей силы». Как ни оракульски выражено это, несомненно, одно, основа экономических сил может вести производство целую вечность, но она, по собственным словам г. Дюринга, не станет капиталом, пока не образует

«долей участия в плодах всей рабочей силы», т.-е. прибавочной ценности или, по крайней мере, прибавочного продукта. Следовательно, г. Дюринг не только сам совершает тот грех, который он ставит в упрек Марксу, грех игнорирования обычного экономического понятия капитала, но он, сверх того, совершает плохо прикрытый выскопарными фразами, неловкий плагиат у Маркса.

На 262 стр. это развивается подробнее: «Капитал в социальном смысле» (а капитал не в социальном смысле г. Дюрингу еще предстоит открыть) «именно специфически отличается от простого средства производства, ибо тогда, как последнее имеет лишь технический характер и необходимо при всяких обстоятельствах, первый характеризуется своей общественной силой присвоения и образования долей участия в плодах всеобщего труда. Социальный капитал, впрочем, является большею частью ничем иным, как техническим средством производства в его социальной функции; но именно эта-то функция и должна исчезнуть». Если мы примем во внимание, что именно Маркс впервые обрисовал ту «социальную функцию», при помощи которой известная сумма ценностей только и становится капиталом, то во всяком случае «для каждого внимательного наблюдателя должно скоро выясниться, что Марксова характеристика понятия капитала может породить путаницу», но отнюдь не в строго экономической науке, как думает г. Дюринг, а единственно в голове самого Дюринга, который в «Критической истории» уже забыл, как много он пользовался этим понятием капитала в своем «Курсе».

Однако, г. Дюринг не довольствуется тем, что заимствовал свое определение капитала, хотя и в «очищенной» форме, у Маркса. Он вынужден последовать за ним и на путь «игры метаморфоз, понятий и истории», притом хорошо зная, что из этого ничего не выйдет, кроме «пустых концепций», «плодов легкомыслия», «шаткости оснований» и т. д.

Откуда происходит эта социальная функция капитала, которая позволяет ему присваивать плоды чужого труда и которою он только и отличается от простого средства производства? Она основывается, — говорит г. Дюринг, — «не на природе средств производства и их технической необходимости». Следовательно, она возникла исторически, и г. Дюринг на 252 стр. повторяет нам только то, что мы уже слышали десять раз, объясняя возникновение капитала посредством давно известного приключения с двумя легендарными субъектами, из которых, в начале истории, один превратил свое средство производства в капитал, силой покорив другого. Но не довольствуясь тем, что он признает историческое происхождение социальной функции, благодаря которой известная сумма ценностей только и становится капиталом, г. Дюринг пророчит ей также и исторический конец. Именно «она-то и должна исчезнуть».

Явление, исторически возникающее и вновь исчезающее в истории, принято, говоря обычным языком, называть «исторической фазой». Таким образом, капитал является исторической фазой не только у Маркса, но и у г. Дюринга, и последний, нападая на Маркса, придерживается в данном случае иезуитского правила.

Если два человека делают одно и то же, то это еще вовсе не то же самое. Если Маркс говорит, что существование капитала представляет историческую фазу, то это, пустая концепция, незаконное детище исторической и логической фантастики, в которой гибнет способность различения вместе со всяким добросовестным применением понятий. Если же г. Дюринг также говорит, что существование капитала является исторической фазой, то это лишь доказательство остроты народно-хозяйственного анализа и последней строжайшей научности, в смысле точных дисциплин.

Чем же отличается Дюрингово представление о капитале от Марксова?

Капитал, говорит Маркс, «не избрал прибавочного труда. Повсюду, где одна часть общества владеет монополией на средства производства, рабочий, свободный или не свободный, должен к рабочему времени, необходимому для своего поддержания, прибавить лишнее рабочее время для того, чтобы произвести средства к жизни для собственника средств производства». Прибавочный труд, труд длящийся за пределы

времени, необходимого для самоподдержания работника, и присвоение продукта этого прибавочного труда другими, т.-е. эксплуатация труда, таким образом, общи всем до сих пор существовавшим формам общества, поскольку последние движутся в классовых противоречиях. Но только в том случае, когда продукт этого прибавочного труда принимает форму прибавочной ценности, когда собственник средств производства находится, как объект для эксплуатации, свободного работника—свободного от социальных уз и свободного от собственности—и эксплуатирует его в целях производства товаров, только тогда, по Марксу, средство производства принимает специфический характер капитала, а это произошло в значительных размерах только с конца XV и начала XVI столетий.

Напротив того, г. Дюринг объявляет капиталом каждую сумму средств производства, которая образует «доли участия в плодах всеобщей силы», следовательно, всякий прибавочный труд, безразлично в какой бы форме он ни проявлялся. Другими словами, г. Дюринг заимствует у Маркса открытый им прибавочный труд, чтобы при его помощи замолчать не входящую в данную минуту в его расчеты прибавочную ценность, открытую также Марксом. По г. Дюрингу, следовательно, не только движимое и недвижимое богатство коринфских и афинских граждан, хозяйничавших при помощи рабов, но и богатство римских крупных землевладельцев эпохи Империи и, не менее того, богатство феодальных баронов средневековья, постольку оно каким-либо образом служило производству,—все это без различия представляло собою капитал.

Таким образом, сам г. Дюринг разумеет под капиталом даже не обычное понятие, согласно которому капитал есть «произведенное средство производства», но скорее противоположное ему, которое включает в себя уже непроеизведенные средства производства, землю и ее естественные вспомогательные источники. Между тем, представление, по которому капитал есть просто «произведенное средство производства», обычно опять-таки лишь в вульгарной экономии. Вне этой столь дорогой г. Дюрингу вульгарной экономии,—«произведенное средство производства», или известная сумма ценностей вообще, становится капиталом только благодаря тому, что она приносит прибыль или процент, т.-е. прибавочный продукт неоплаченного труда в форме прибавочной ценности, при чем эта прибавочная стоимость присваивается именно только в этих двух определенных частных формах. Затем, не имеет никакого значения то обстоятельство, что вся буржуазная экономия усвоила себе представление, будто бы свойство давать прибыль или процент само по себе принадлежит всякой сумме ценностей, которая при нормальных условиях затрачена в производстве или обмене. Капитал и прибыль или капитал и процент совсем неотделимы в классической экономии друг от друга, состоят между собой в такой тесной связи, как причина и следствие, отец и сын, вчера и сегодня. Слово «капитал», в его современном экономическом значении, появилось впервые около того времени, когда он сам возник, как особое явление, когда движимое богатство стало приобретать все более и более функцию капитала, поскольку оно направлялось к присвоению прибавочного труда свободных наемных рабочих, привлекаемых к производству товаров, при чем слово это вводится в употребление первой исторически-капиталистической нации—итальянцами XV и XVI веков. И если Маркс первый проанализировал до конца свойственный современному капиталу способ присвоения, если он привел понятие капитала в согласие с историческими фактами, которым он обязан своим существованием; если Маркс тем самым освободил это экономическое понятие от неясных и шатких представлений, которые наслонились на нем и в классической буржуазной экономии, и у прежних социалистов,—то это значит, что именно Маркс применил ту «последнюю и строжайшую научность», которая постоянно на устах г. Дюринга и которой мы, к прискорбию, совсем не находим в его сочинениях.

Действительно, у г. Дюринга все это дело принимает иной вид. Он не довольствуется тем, что сначала представление капитала, как исторической фазы, объявил «незаконным детищем исторической и логической фантастики», а затем сам пред-

ставил его, как историческую фазу. Объявляет огулом все экономические средства, все средства производства, которые присваивают «доли в плодах всеобщей рабочей силы», следовательно также и земельную собственность во всех классовых обществах,—капиталом; это, однако, нисколько не мешает ему в дальнейшем изложении земельную собственность и земельную ренту совершенно традиционным образом отделить от капитала и прибыли и обозначить капиталом лишь те средства производства, которые дают прибыли или %, как это можно видеть на стр. 116 его «Курса» и следующих. С таким же основанием г. Дюринг мог бы понимать под словом «локомотив» лошадей, волов, ослов и собак, на том основании, что и при их помощи может двигаться экипаж, и поставить в упрек современным инженерам, что они, ограничивая понятие локомотив в применении только к современным паровозам, делают его исторический фазой, создают пустые концепции, незаконные детища исторической и логической фантастики и т. д.; но затем, конечно, это не помешало бы г. Дюрингу заявить, что все-таки лошади, ослы, волы и собаки должны быть исключены из категории «локомотивов», и милостиво согласиться на то, чтобы в нее включались только паровозы. А потому мы вновь вынуждены подтвердить, что именно при Дюринговом определении понятия капитала пропадает всякая острота народно-хозяйственного анализа и исчезает всякая способность различения, вместе со всяким добросовестным применением понятий, и что пустые концепции, путаница, плоды легкомыслия, выдаваемые за глубокие логические истины, и шаткость оснований—все это как раз составляет достоинство самого г. Дюринга.

Однако, это еще ничего не значит. За г. Дюрингом все же остается заслуга открытия того главного полюса, около которого движется вся существовавшая до сих пор экономика, вся политика и юриспруденция, другими словами, вся история.

Вот это открытие:

«Насилие и труд суть те два главные фактора, которые участвуют в образовании социальных соединений».

В одном этом положении заключается вся организация существующего до сих пор экономического строя. Она может быть выражена кратко и ясно в других пунктах:

1. Труд производит.
2. Насилие распределяет.

В этом, «выражаясь человеческим и немецким языком», и состоит вся экономическая мудрость г. Дюринга.

VIII. Капитал и прибавочная ценность.

(Окончание).

«По мнению г. Маркса, заработная плата представляет оплату рабочего времени, в течение которого работник занят производством лишь для того, чтобы сделать возможным собственное существование. Для этого достаточно сравнительно небольшое число часов; вся остальная часть зачастую сильно растянутого рабочего дня доставляет избыток, в котором содержится, так называемая нашим автором, прибавочная ценность, или, говоря обычным языком, прибыль на капитал. За вычетом рабочего времени, уже заключающегося на какой-либо ступени производства в средствах труда и в сырых материалах, остальной избыток рабочего дня составляет долю капиталистического предпринимателя. Поэтому, удлинение рабочего дня есть чисто эксплуататорская прибыль в пользу капиталиста».

Итак, по г. Дюрингу выходит, что Марксова прибавочная ценность есть не более, как то, что называют на обычном языке барышом капиталиста или прибылью. Послушаем самого Маркса. На 195 стр. «Капитала» прибавочная ценность объясняется в связи с понятиями: «процент, прибыль, рента». На 210 стр. Маркс приводит пример»

в котором показано, как сумма прибавочной ценности проявляется в различных формах, созданных распределением: десятина, местные и государственные налоги—21 шил., земельная рента—28 шил., прибыль арендатора и процент—22 шил., итого, общая сумма прибавочной ценности—71 шил. На 542 стр. Маркс объявляет главным прообразом у Рикардо, что последний «не представляет прибавочной ценности в чистом виде, т.-е., независимо от ее особых форм, как прибыль, земельная рента и т. д.», и что он поэтому непосредственно смешивает законы, управляющие нормой прибавочной ценности, с законом, управляющим нормой прибыли, и Маркс замечает: «впоследствии, в 3-ей книге этого сочинения, я докажу, что та же самая норма прибавочной ценности может выражаться в самых различных нормах прибыли, и различные нормы прибавочной ценности, при определенных условиях, выражаются в одной и той же норме прибыли». На стр. 587 говорится: «капиталист, производящий прибавочную ценность, т.-е. выкачивающий неоплаченный труд непосредственно из рабочих и фиксирующий его в товарах, является, правда, первым присвоителем, но отнюдь не последним собственником этой прибавочной ценности. Ему затем приходится разделить ее с капиталистами, исполняющими другие функции в общем процессе общественного производства, с землевладельцами и т. д. Прибавочная ценность поэтому распадается на различные части, ее доли достаются лицам различных категорий и приобретают разные самостоятельные по отношению одна к другой формы, как-то: прибыль, процент, торговый барыш, земельная рента, и т. д. Эти превращенные формы прибавочной ценности могут быть рассмотрены только в третьей книге». То же во многих других местах.

Нельзя выражаться точнее. При каждом удобном случае Маркс обращает внимание на то, чтобы его прибавочную ценность нельзя было смешивать с прибылью на капитал, так как последняя является только частной формой и часто даже только одной долей прибавочной ценности.

Если же г. Дюринг, тем не менее, утверждает, будто бы Марксова прибавочная ценность есть, «выражаясь обычным языком, прибыль на капитал», и если он копстирует, что вся книга Маркса вертится вокруг прибавочной ценности, то возможно только одно из двух: либо он ничего не понимает, и тогда требуется беспрерывное бесстыдство, чтобы порицать книгу, главного содержания которой не знаешь, или же он понимает в чем дело и в таком случае он совершает намеренное извращение ее смысла.

Далее: «Ядовитая ненависть, с которой Маркс третирует категорию принудительного хозяйства, вполне понятна. Впрочем, и более сильный гнев и еще более безусловное признание эксплуататорского характера хозяйственной формы, основанной на наемном труде, возможны, но без принятия того теоретического приема, который выражается в Марксовском учении о прибавочной ценности».

Итак, употребленный с благим намерением, но ошибочный теоретический прием Маркса вызывает в последнем ядовитую ненависть против принудительного хозяйства, и его гнев по этому поводу приобретает, благодаря тому же ложному «теоретическому приему», безнравственный характер, проявляясь в виде неблагородной ненависти и низменной ядовитости. Напротив того, строжайшая научность г. Дюринга выражается в нравственной страсти соответственно благородного характера, в гнев, который и по форме морален и по своему содержанию стоит выше ядовитой страсти и представляется поэтому гневом более мощным. Пусть же г. Дюринг сам себя хвалит и гладит по голове, а мы между тем постараемся выяснить, из какого источника вытекает его мощный гнев.

«Возникает»,—говорит он,—«вопрос, каким образом конкурирующие предприниматели оказываются в состоянии постоянно продавать весь продукт труда, а с тем вместе и прибавочный продукт, по цене, превышающей в значительной мере естественные издержки производства, как это показывает существование избыточного рабочего времени? Ответа на этот вопрос мы не находим в доктрине Маркса, по той, собственно,

простой причине, что в ней не могла найти места даже постановка этого вопроса. Паразитный характер производства, основанного на наемном труде, не затронут серьезно, и социальное устройство, с его укрепленными позициями, вовсе не признается главной основой белого невольничества. Напротив того, все политически-социальное, по Марксу, всегда должно объясняться экономически».

Между тем, из вышеприведенных мест мы убедились, что Маркс вовсе не утверждает, будто бы прибавочный продукт достается сполна капиталисту, который является его первым присвоителем, и всегда, в среднем, по полной своей ценности, как утверждает г. Дюринг. Маркс говорит буквально, что и торговая прибыль образует часть прибавочной ценности, а это, при наличных предпосылках, возможно лишь в том случае, если фабрикант продает торговцу свой продукт не же его ценности и тем самым уделает ему долю в добыче. Во всяком случае, в том виде, как он ставится г. Дюрингом, этот вопрос не мог быть даже поставлен Марксом. Рационально поставленный, этот вопрос заключается в том, каким образом прибавочная ценность превращается в свои частные формы: предпринимательскую прибыль, процент, торговую прибыль, земельную ренту и т. д.? А этот вопрос Маркс обещает разрешить в третьей книге. Если же г. Дюринг не мог подождать появления III-го т. «Капитала», то он должен был пока что несколько внимательнее перечитать I т. Тогда бы смог бы, кроме приведенных мест, прочесть, например, на стр. 323, что, по Марксу, имманентные законы капиталистического производства, проявляясь во внешнем движении капиталов, превращаются в принудительные законы конкуренции и в этой форме являются в сознании индивидуального капиталиста, как порудительные мотивы; что, таким образом, научный анализ конкуренции возможен лишь постольку, поскольку понятна внутренняя природа капитала; совершенно так, как видимое движение небесных тел понятно лишь тому, кто знает их действительное, но чувственно не воспринимаемое, движение. Затем, Маркс на одном примере показывает, каким образом известный закон, именно закон ценности, проявляется в данном случае в пределах конкуренции и проявляет свою побудительную силу. Г. Дюринг уже из этого мог заключить, что при распределении прибавочной ценности главную роль играет конкуренция; при некоторой же вдумчивости, этих приведенных в I томе указаний совершенно достаточно, чтобы понять, по крайней мере в общих чертах, превращение прибавочной ценности в ее частные формы.

Но, может-быть, для г. Дюринга конкуренция представляется как раз абсолютным препятствием к уразумению прибавочной стоимости?

Он, повидимому, не может понять, каким образом конкурирующие предприниматели могут постоянно продавать весь продукт труда, в том числе и прибавочный продукт, по цене, значительно превышающей естественные издержки производства. Здесь мы имеем опять-таки дело с обычной «строгостью» в употреблении терминов, которая на самом деле является небрежностью. Для производства прибавочного продукта, по теории Маркса, совсем не требуется никаких издержек производства: он представляет собой ту часть продукта, которая ничего не стоит капиталисту. Если бы, следовательно, конкурирующие предприниматели захотели реализовать прибавочный продукт по его собственным издержкам производства, то они должны были бы подарить его. Однако, не будем останавливаться на «микрологических частностях». Разве на самом деле конкурирующие предприниматели не реализуют ежедневно продукта труда по цене, превышающей естественные издержки его производства? По г. Дюрингу, естественные издержки производства заключаются в «затрате труда или силы», а последняя, в свою очередь, может измериться в окончательном счете «затратой питания» (*Nahrungsaufwand*); следовательно, в современном обществе естественные издержки производства состоят из расходов, действительно затраченных на сырой материал, на средства производства и на заработную плату; прибыль же соответствует «обложению», прибыли, надбавке, вынуждаемой с мечом в руке. Между тем известно, что в обществе, в котором мы

живем, конкурирующие предприниматели не реализуют продуктов по естественным издержкам их производства, но присчитывают и обыкновенно получают мнимую «надбавку», прибыль. Таким образом, поставленный вопрос, который, как думает г. Дюринг ему нужно было только выдвинуть вперед, чтобы опровергнуть все здание Маркса, подобно тому, как некогда Иисус Назин разрушил стены Иерихона, — этот вопрос существует только для экономической теории г. Дюринга. Посмотрим же, как он отвечает на него.

«Собственность на капитал (*das Kapitaleigenthum*), говорит он, не имеет никакого практического смысла и не может быть реализована, если в нее не вложено одновременно косвенного насилия над человеческим материалом. Результатом этого насилия является прибыль на капитал, и величина последней зависит, поэтому, от объема и интенсивности этого применения господства...»

«Прибыль на капитал есть политически-социальный элемент, действующий более могущественно, чем конкуренция. Предприниматели, в погоне за прибылью, действуют, как сословие, и каждый в отдельности утверждает за собой свою позицию. Известная высота прибыли на капитал является необходимостью при господствующем способе хозяйства».

К сожалению, мы и теперь все еще не знаем, каким образом конкурирующие предприниматели оказываются в состоянии реализовать продукты труда постоянно выше естественных издержек производства. Г. Дюринг не может же ценить свою публику так низко, чтобы водить ее за нос фразой, в которой голословно утверждается, что прибыль на капитал находится вне зависимости от конкуренции, подобно тому, как в былое время прусский король находился по отношению к законам, считая выше их свой собственный авторитет. Махинации, посредством которых король прусский обеспечивал себе такое положение, нам известны; махинацию же более могущественную, чем конкуренция, при помощи которой добывается прибыль на капитал, казалось, нам должен был бы объяснить г. Дюринг, но он упорно замалчивал этот вопрос. Точно так же он ничего не разъясняет, когда говорит, что предприниматели в погоне за прибылью действуют, как сословие, и при этом каждый отдельный предприниматель утверждает за собой позицию. Мы ведь не должны верить ему на слово, будто бы известному количеству людей нужно только выступить, как сословию, чтобы каждый из них в отдельности утвердил за собой позицию. Цеховые мастера средневековья и французские дворяне в 1789 г. выступали, как известно, очень решительно, как сословие, и тем не менее потерпели поражение. Прусская армия действовала при Иене тоже, как сословие, но вместо того, чтобы утвердить за собой позиции, она должна была, напротив, отступать, а потом даже по частям сдаться на капитуляцию. Так же мало может нас удовлетворить и уверение в том, что при данном господствующем способе хозяйства известная норма прибыли является необходимостью; ведь требуется именно доказать, почему это так. Ни на шаг не приближает нас к цели и заявление г. Дюринга, что «господство капитала выросло в связи с земельным господством. Часть крепостных сельских рабочих, перейдя в города, превратилась там в ремесленных рабочих, а затем и в фабричных рабочих. После земельной ренты образовалась прибыль на капитал, как вторая форма ренты владения».

Но, если даже оставить в стороне историческую неверность в изложении г. Дюринга, оно все-таки представляется лишь простым утверждением, подкрепляемым одними клятвами, именно того, что он должен был разъяснить и доказать. Мы, следовательно, не можем прийти ни к какому иному заключению, кроме того, что г. Дюринг не способен ответить на поставленный им же самим вопрос: каким образом конкурирующие предприниматели могут постоянно реализовать продукт труда выше его естественных издержек производства; следовательно, он не способен объяснить возникновение прибыли. Ему не остается ничего другого, как просто декретировать: прибыль на капитал есть результат насилия, что, впрочем, согласуется вполне с изложенным выше основным положением г. Дюринга: *н а с и л и е р а с п р е д е л я е т*.

Это, конечно, сказано очень красиво, но теперь-то и «возникает вопрос»: насилие распределяет, — а что именно?

Ведь, должно же быть что-либо, что подлежит распределению, иначе даже самая могучая сила не сможет ничего распределить, при всем своем желании. Прибыль, которую кладут в свой карман конкурирующие предприниматели, есть нечто весьма ощутительное и солидное. Насилие может поднять ее, но не может создать. А г. Дюринг упорно отказывается от раз'яснения того, как насилие берет предпринимательскую прибыль, и на вопрос, откуда она берется, из какого источника, отвечает тоже гробовым молчанием. Где ничего нет, там и король, как и всякая другая сила, теряет свои права. Из ничего невозможно что-нибудь создать, а тем более прибыль. И если собственность на капитал не имеет никакого практического смысла и не может быть реализована, поскольку в ней в то же время не заключено насилия над человеческим материалом, то слова спрашивается: во-первых, как капитал, сделавшись собственностью, достиг такой силы, — вопрос, совсем не разрешенный приведенными выше двумя историческими указаниями; во-вторых, как эта достигнутая сила способствует получению прибыли на капитал; и, в-третьих, из какого источника берется эта прибыль?

Мы можем рассматривать Дюрингову политическую экономию с какой угодно стороны, и все-таки мы ни на шаг не подвижемся вперед. Для всех не правящихся ему явлений, каковы прибыль, земельная рента, голодная заработная плата, угнетение рабочего, — он имеет только одно слово для объяснения: насилие, и опять насилие. И сильный гнев г. Дюринга по этому поводу превращается в гнев против этого же «насилия».

Мы видели, во-первых, что эта ссылка на насилие представляет жалкое бегство, удаление из экономической области в политическую, которая не в состоянии объяснить ни одного экономического факта: а во-вторых, что она не сопровождается объяснением возникновения самой силы, что происходит намерено, так как иначе пришлось бы прийти к заключению, что всякая общественная власть и всякая политическая сила коренятся в экономических условиях, в исторически данном способе производства и обмена того или другого общества.

Попытаемся, однако, не сможем ли мы исторгнуть у неумолимого «более глубокого основоположника» политической экономики еще нескольких раз'яснений по поводу прибыли. Быт-может, нам это удастся, если мы познакоимся ближе с его изложением вопроса о заработной плате. Там, на стр. 158, говорится:

«Зарботная плата есть плата (Sold) для поддержания рабочей силы и должна приниматься в соображение, прежде всего, только как основание для земельной ренты и прибыли на капитал. Чтобы совершенно выяснить себе возникающие при этом отношения, следует представить себе земельную ренту, а затем и прибыль на капитал, исторически, сперва без заработной платы, т.-е. на основе рабства или крепостничества... Приходится ли содержать раба или крепостного, или же наемного рабочего — это обуславливает различие только в способах употребления издержек производства. Во всяком случае, добытый и использованный рабочей силой чистый продукт составляет доход хозяина...»

«Таким образом, очевидно, что... именно та главная противоположность, в силу которой на одной стороне появляется какой-либо вид ренты владения, а на другой — наемный труд неимущих, — может быть понята только в том случае, если принимаются во внимание совместно эти два фактора». А рента владения, как мы узнаем на стр. 188, есть общее выражение для земельной ренты и прибыли на капитал.

Далее, на стр. 174 говорится: «характерным в прибыли на капитал является присвоение большей части продукта рабочей силы. Нельзя себе представить прибыль без коррелятива — труда, прямо или косвенно угнетенного в той или другой форме». И на той же 174 стр. сказано, что заработная плата

«при всяких обстоятельствах представляет не более, как наемную плату, посредством которой в общем должно быть обеспечено содержание рабочих и возможность продолжения рода». И, наконец, на стр. 195: «то, что приходится на ренту владения, составляет потерю для заработной платы и, поэтому, должно быть отнято от доходовладельцев то, что достается труду из его общей производительной способности (!)».

Г. Дюринг приводит нас от удивления к удивлению. В теории ценности и в последующих главах, вплоть до учения о конкуренции включительно, следовательно с 1 до 155 стр., товарные цены или ценности распадаются, во-первых, на естественные издержки производства, или ценность производства, т.-е. расходы на сырье, на орудия труда и на заработную плату, и, во-вторых, на надбавку, или ценность распределения, на вынужденный с мечом в руке налог в пользу класса монополистов. Эта надбавка, как мы видели, в действительности ничего не могла изменить в системе распределения богатств, так как при ее существовании то, что отнимается одной рукой приходится возвращать обратно — другой; сверх того, поскольку Дюринг осведомляет нас о ее происхождении и содержании, она оказывается возникшей из ничего, а потому и состоящей из ничего. В двух следующих главах, трактующих о разных родах доходов, т.-е. со стр. 156 до 217, уже ничего не говорится о надбавке. Вместо того, ценность каждого продукта труда, следовательно, каждого товара, подразделяется на 2 части: во-первых, на издержки производства, под которыми подразумевается также и выплаченная заработная плата и, во-вторых, на «достижимый» использованием рабочей силы чистый продукт, образующий доход хозяина. Этот чистый продукт имеет вполне определенную, только несколько прикрытую табуировкой, физиономию. «Чтобы совершенно выяснить возникающие здесь отношения», пусть читатель сопоставит только что приведенные и подчеркнутые места из сочинения г. Дюринга с прежде приведенной цитатой из Маркса о прибавочном труде, прибавочном продукте и прибавочной ценности, и он найдет, что г. Дюринг в этом случае прямо списывает слова из «Капитала», правда, своеобразным способом искажая их.

Прибавочный труд в какой-либо форме, будь то рабство, крепостничество или наемный труд, г. Дюринг признает источником доходов всех господствовавших до сих пор классов; это взято из много раз цитированного места «Капитала», стр. 277: «капитал не изобрел прибавочной ценности» и т. д. А «чистый продукт», который образует «доход хозяев труда», — что это такое, если не избыток продукта труда над заработной платой, которая и у г. Дюринга, несмотря на свое совершенно излишнее облачение в одежду «наемной платы» (Sold) должна обеспечить в общем поддержание жизни и возможность продолжения рода работника? И в самом деле, как может происходить присвоение «большой части продукта рабочей силы», если не тем путем, что капиталист, как это представлено у Маркса, выжимает из работника более труда, чем сколько необходимо для воспроизводства потребленных последних жизненных средств, т.-е. тем путем, что капиталист заставляет работника работать больше, чем требуется для того, чтобы возместить ценность заплаченной работнику заработной платы?

Следовательно, удлинение рабочего дня за пределы времени, необходимого для воспроизводства жизненных средств работника, — этот именно прибавочный труд, о котором говорит Маркс, а не что-нибудь другое, и он фигурирует у г. Дюринга, как продукт, являющийся результатом использования «рабочей силы»; точно так же «чистый доход» капиталистов, о котором говорит г. Дюринг, можно ли его представить иначе, как не в виде Марксовского прибавочного продукта и прибавочной ценности? И чем иным, кроме неточности выражения, отличается Дюрингова рента владения от Марксовой прибавочной ценности? Впрочем, самый термин «рента владения» г. Дюринг заимствовал у Родбертуса, который охватил общим термином «рента» собственно земельную ренту и ренту с капитала, или прибыль на капитал, так что г. Дюрингу

осталось только прибавить «владение»¹⁾. А чтобы уже не осталось никакого сомнения в наличии плагиата, г. Дюринг своеобразно резюмирует развитие Марксом в 15 главе (стр. 539 и след.) законы, касающиеся изменения величины цен рабочей силы и прибавочной ценности, говоря, что то, что достается владельческой ренте, должно пронасть для заработной платы и наоборот, и сводя таким образом весьма содержательные частные законы Маркса к бессодержательной тавтологии, ибо само собой разумеется, что одна часть данной величины, распадающейся на две части, не может возрасти без того, чтобы другая не уменьшилась. И г. Дюрингу удалось совершить присвоение Марксовых идей в такой форме, при которой совершенно утратилась «последняя и строжайшая научность в смысле точных наук», каковая во всяком случае заключается в ходе рассуждения у Маркса.

Таким образом, мы приходим к заключению, что удивительный шум, возбужденный г. Дюрингом в «Критической Истории» по поводу «Капитала, и особенно тот подлый им пресловутый вопрос, который возникает при рассмотрении прибавочной ценности и которого он лучше не ставил бы, раз сам не мог на него ответить, — что все это только военная хитрость, ловкий маневр с целью прикрыть грубый плагиат, совершенный в «Курсе» по отношению к Марксу.

Г. Дюринг имеет в самом деле все основания предостерегать своих читателей от знакомства с «тем клубком (Knäuel), который г. Маркс назвал «Капиталом», от ублюдков исторической и логической фантастики, от гегелевских путанных туманных представлений и уверток и т. д. Дурную болезнь, от которой предостерегает г. Дюринг немецкое юношество, он сам втихомолку привил себе для собственного употребления, чтобы добыть все, что ему было нужно из питомника Маркса. Поздравляем его с этим добытым, благодаря использованию Марксовой рабочей силы, чистым продуктом и с тем своеобразным освещением учения о прибавочной ценности, под именем владельческой ренты, которое дает ему повод настойчиво и последовательно, в двух изданиях, повторять лживое утверждение, будто бы Маркс под прибавочной ценностью понимает только прибыль или доход на капитал.

В заключение, мы должны охарактеризовать заслуги г. Дюринга словами же г. Дюринга, следующим образом: «по мнению г-на» ...Дюринга, «заработная плата представляет только плату того рабочего времени, в течение которого работник трудится только для того, чтобы иметь возможность поддерживать свое собственное существование. Для этого достаточно лишь сравнительно небольшого числа часов; вся прочая часть, зачастую сильно удлиненного, рабочего дня составляет избыток, в котором содержится так называемая нашим автором»... рента владения. «Если оставить в стороне содержащееся в данной стадии производства уже в средствах труда и сырых материалах рабочее время, то этот избыток рабочего дня составляет долю капиталистического предпринимателя. Растяжение рабочего дня является, поэтому, чистей, добытой путем вымогательства, прибылью в пользу капитала».

«Ядовитая ненависть», с которой г-н Дюринг «трактует эту категорию эксплуататорского дела, вполне понятно... Зато менее понятно, каким образом, совершивши плагиат, он отыщет в своей душе место «более могучему гневу?»

IX. Естественные законы хозяйства. Земельная рента.

До сих пор, при всем желании, мы не могли открыть, каким образом г. Дюринг пришел к тому, чтобы на попрание экономии «выступить с притязанием на новую, не просто удовлетворительную для своей эпохи, но и решающую для данной

¹⁾ И это не единственное позаимствование. Родбертус говорит (Soziale Briefe, 2 Brief, S. 59): «Рента по этой (т. е. его) теории—это всякий доход, получаемый без затраты собственного труда, исключительно на основании права владения».

эпохи систему». Но, быть может, то, чего мы не могли усмотреть в теории насилия, в учении о ценности и капитале, окажется прямо очевидным при рассмотрении выставленных г. Дюрингом «естественных законов народного хозяйства». Ибо, как он выражается с обычной оригинальностью и остроумием, «триумф высшей научности состоит в том, чтобы от простых описаний и разделений как бы неподвижного материала достигнуть живых взглядов, освещающих творчество. Познание законов является, поэтому, наиболее совершенным, ибо оно нам показывает, как одно явление обуславливается другим».

Одновременно с естественным законом, управляющим каждым хозяйством, есть другой, открытый специально г. Дюрингом. Ад. Смит «не только не поставил на первый план главнейшего фактора всякого хозяйственного развития, но даже специально его не формулировал, и, таким образом, та сила, которая наложила свой отпечаток на современное европейское развитие, была невольно низведена им на подчиненную роль». «Этот основной закон, который должен быть поставлен во главу угла, есть закон технического снабжения (*Ausrüstung*), можно даже сказать, вооружения естественной хозяйственной силы человека». Этот, открытый г. Дюрингом, «фундаментальный закон» гласит:

Пункт № 1: «Производительность хозяйственных средств, вспомогательных природных источников и человеческой силы повышается благодаря открытиям и изобретениям.

Мы в изумлении. Г. Дюринг поступает с ними так, как известный шутник у Мольера с новоиспеченным дворянином, которому он сообщает ту новость, что он всю свою жизнь говорил, сам того не зная, прозой. Что изобретения и открытия в некоторых случаях увеличивают производительную силу труда (хотя во многих случаях этого и не бывает, как доказывает тяжеловесная архивная макулатура всех ведомств, заведующих выдачей патентов), — это мы уже знаем давно; но что эта старая престарелая шаблонная истина представляет фундаментальный закон всей экономики, — таким откровением мы обязаны г. Дюрингу. Если триумф «высшей научности» в экономике, как и в философии, заключается только в том, чтобы дать громкое научное имя любому общему месту, провозгласить его естественным или даже фундаментальным законом, то действительно: «более глубокие основоположения и преобразования науки» ставовятся возможными для всякого, даже для редакции берлинской «Народной Газеты». Мы вынуждены были бы в таком случае «со всей строгостью» применить к самому г. Дюрингу следующий его приговор о Платоне: «если же нечто подобное должно быть политическо-экономическою мудростью», то автор критических основоположений «владеет ею сообща со всяким, кто вообще имеет случай что-либо подумать или даже просто что-либо сказать «о чем-либо вполне очевидным». Если, например, мы говорим: животные жрут, то мы в своем неведении изрекаем великое слово; ибо нам стоит лишь сказать, что фундаментальный закон всякой животной жизни состоит в том, чтобы жрать, и этими словами мы уже совершаем переворот в зоологии.

Пункт № 2. Разделение труда: «Специализация и разделение работ повышает производительность труда». Поскольку это справедливо, это еще со времен Адама Смита стало общим местом; в какой же именно степени можно признать это справедливым, мы увидим в третьем отделе.

Пункт № 3. «Отдаленность и транспорт суть главные причины, которыми стесняются или же облегчается совместная деятельность производительных сил».

Пункт № 4. «Промышленное государство имеет несравненно большую емкость населения, чем земледельческое государство».

Пункт № 5. «В экономике ничто не совершается без посредства материального интереса».

Таковы «естественные законы», на которых г. Дюринг основывает свою новую экономическую науку. Он остается верен своему уже примененному в философии ме-

тому и в основание своей экономической науки закладывает краеугольные камни в виде двух-трех истин безнадежно-обыденного характера, приклеивая к ним ярлык аксиом, не требующих доказательств, и объявляя их фундаментальными и естественными экономическими законами. Затем, под предлогом развития содержания этих законов, не имеющих никакого содержания, г. Дюринг прибегает к экономической безтолковой болтовне на разные темы, названия которых упоминаются в приведенных мнимых законах, т.-е. об изобретениях, разделении труда, средствах транспорта, населении, интересах, конкуренции и т. п., — болтовне, плоская обыденность которой приправляется оракульскими словоизвержениями, общими ошибочными соображениями и ковырянием, с важным видом, во всевозможных казуистических тонкостях.

Наконец, по порядку изложения, нам приходится перейти к отделу, в котором говорится о земельной ренте, о прибыли на капитал и о заработной плате; но так как в предшествующем изложении мы уже касались последних двух предметов, то здесь, в заключение, мы намерены лишь вкратце исследовать Дюрингово воззрение на земельную ренту.

При этом мы оставляем без всякого внимания те пункты, которые г. Дюринг просто списывает у своего предшественника Кэри; не наше дело разговаривать с Кэри, так же, как и защищать гипотезу Рикардо от извращений и нелепостей названного экономиста. Мы имеем дело только с г. Дюрингом, а этот последний определяет земельную ренту, как «такой доход, который получается собственником, как таковым, от земли». Экономическое понятие земельной ренты, которое г. Дюринг должен разъяснить, он попросту переводит на юридический язык, и таким образом экономический вопрос остается незатронутым. В виду этого наш глубокий основоположник должен, волей-неволей, спизойти до более конкретных объяснений. Он сравнивает сдачу в аренду какого-нибудь полевого участка фермеру с ссудой определенного капитала предпринимателю, но скоро оказывается, что и это сравнение, как и многие иные, не выдерживает критики.

Именно,—говорит он,—«если бы проследить дальше эту аналогию, то прибыль, остающаяся у фермера за выплатой земельной ренты, должна бы соответствовать тому остатку прибыли на капитал, который остается предпринимателю, ведущему дело с помощью капитала, за вычетом процентов. Однако, не вошло в обычай смотреть на прибыль фермера, как на главный доход, а на земельную ренту— как на остаток... Различие в понимании этого вопроса доказывается тем фактом, что в учении о земельной ренте не характеризуется отдельно случай самостоятельного хозяйства и не придается никакого особенного значения громадной разнице, существующей между рентой в форме арендной платы и рентой, достающейся землевладельцу, ведущему самостоятельно хозяйство. По крайней мере не считалось необходимым, чтобы мысленно представить ренту, вытекающую из самостоятельного хозяйствования, разложенной так, чтобы одна часть представляла как бы процент с земельного участка, а другая — избыток прибыли класса предпринимателей. Оставляя в стороне собственный капитал, применяемый фермером, его специальная прибыль, по видимому, большею частью считается видом заработной платы. Однако, рискованно было бы пытаться утверждать об этом что-либо, так как этот вопрос даже не поставлен определенно в этом смысле». «Повсюду, где мы имеем дело с более крупными хозяйствами, легко заметить, что не приходится представлять специфическую прибыль фермера в виде заработной платы. Именно, эта прибыль сама основывается на противоположности по отношению к сельской рабочей силе, эксплуатация которой одна только делает возможным этого рода доход». «Очевидно, в руках фермера остается часть ренты, благодаря которой сокращается полная рента, которая могла бы быть добыта при ведении хозяйства самим собственником».

Теория земельной ренты есть специально английский отдел политической экономии, и это понятно, так как только в Англии существовал такой способ производства, при котором рента в действительности отделялась от прибыли и процента. В

Англии, как известно, господствует крупное землевладение и крупное земледелие. Землевладельцы сдают свои земли в виде крупных, часто очень крупных, имений фермерам, которые обладают достаточным капиталом для обработки их; они не сами работают, подобно нашим крестьянам, но, как настоящие капиталистические предприниматели, применяют труд батраков и поденщиков. Здесь, следовательно, мы имеем три класса буржуазного общества и свойственный каждому из них вид дохода: землевладельца, получающего земельную ренту, капиталиста, получающего прибыль, и рабочего, получающего заработную плату. Никогда ни одному из английских экономистов не приходило в голову, как это кажется г-ну Дюрингу, видеть в прибыли фермера вид заработной платы; и никогда и никто из них не считал рискованным утверждать, что прибыль фермера есть то, чем она является бесспорно и очевидно, именно, — прибылью на капитал. Наконец, прямо смешно заявление, что вопрос о том, что такое, собственно, представляет собой прибыль фермера, даже не поставлен определенно.

В Англии этот вопрос не приходится и ставить, так как ответ уже давно выяснен на самых фактах, и со времени Адама Смита никогда по этому поводу не возникало сомнений. Случай самостоятельного хозяйствования, как выражается г-н Дюринг, или же ведение хозяйств через управляющих за счет землевладельцев, как в действительности большею частью бывает в Германии, эти случаи ничего не меняют в сущности дела. Если землевладелец затрачивает свой капитал и ведет хозяйство за собственный счет, то он, сверх земельной ренты, кладет в карман еще и прибыль на капитал, как это, само собой разумеется, и не может быть иначе при современном способе производства. И если г. Дюринг утверждает, что доселе не признавали необходимым мысленно разлагать ренту (следовало бы сказать доход), возникающую из самостоятельного хозяйствования, то это просто неверно, и в лучшем случае доказывает опять-таки его собственное невежество. Например:

«Доход, добываемый трудом, называется рабочей платой; доход, получаемый при употреблении кем-либо капитала, называется прибылью... и, наконец, доход, получаемый исключительно с земли, называется рентою и принадлежит землевладельцу. Если эти различные доходы достигаются разным лицам, то их легко различить; но если они сосредоточиваются в одном лице, то, выражаясь попросту, их легко перепутать. Землевладелец, сам обрабатывающий часть своей земли, получает, за вычетом расходов на обработку: ренту землевладельца и прибыль арендатора; но сплошь да рядом случается, что он, на обычном языке, весь свой доход называет прибылью и смешивает, таким образом, прибыль с земельною рентою. Большинство наших северо-американских и вест-индских плантаторов находится в таком положении; многие из них сами обрабатывают свою землю, и мы редко слышим о ренте какой-либо плантации, а чаще всего о прибыли. Садовник, обрабатывающий собственноручно собственный сад, сосредоточивает в своем лице землевладельца, арендатора и работника. Его продукт должен был бы ему выплатить ренту первого, прибыль второго и вознаграждение третьего; но обыкновенно все это считается трудовой платой, и рента и прибыль смешиваются, таким образом, с вознаграждением за труд».

Эти соображения находятся в 6-й главе первой книги Адама Смита. Случаи самохозяйничанья исследованы, таким образом, уже сто лет назад, а потому сомнения и колебания, причиняющие г. Дюрингу так много хлопот, являются единственно результатом его неосведомленности.

В конце концов, его выводит из затруднения смелая уловка, а именно: доход арендатора, говорит он, основывается на эксплуатации «земельной рабочей силы», и, поэтому, он является, очевидно, «частью ренты», сокращающей «полную ренту», существовавшую, в сущности, попасть целиком в карман землевладельца. Благодаря этому, мы узнаем две вещи: во-первых, что арендатор «уменьшает» ренту землевладельца, и таким образом, выходит, если согласиться с г. Дюрингом, наперекор общепринятому до

сих пор взгляду,—что не арендатор платит ренту землевладельцу, а, наоборот, землевладелец выплачивает таковую арендатору: это мнение очень своеобразно и, во всяком случае, лишено всякого основания; и во-вторых, мы узнаем, что г. Дюринг подразумевает под земельной рентой, — а именно: весь прибавочный продукт, добываемый приложением рабочей силы в земледелии. Но так как этот прибавочный продукт в существующей политической экономии, за исключением нескольких вульгарных экономистов, — распадается на земельную ренту и прибыль с капитала, то мы утверждаем, что г. Дюринг и относительно земельной ренты «не достигает общепринятого понимания».

Итак, земельная рента и прибыль от капитала, согласно г. Дюрингу, различаются между собой только тем, что первая возникает в земледелии, а вторая—в промышленности или торговле. К этому ниже всякой критики стоящему и сбивчивому способу представления г. Дюринг прибегает по необходимости. Мы видели, что он отступился от «истинного исторического понимания», по смыслу которого господство над землей основывается исключительно на господстве над людьми. Он говорит, что в тех случаях, когда земля обрабатывается той или другой наемной рабочей силой, остается излишек в продуктах для землевладельца, и этот остаток образует собою ренту, подобно тому, как излишек продукта наемных рабочих в промышленности составляет прибыль на капитал. «Таким образом, ясно, что земельная рента везде и во всякое время существует в высшем размере там, где земледелие производится помощью какой-либо подчиненной рабочей силы». При таком-то представлении о ренте, как о совокупном прибавочном продукте, получаемом от земледелия, г. Дюрингу приходится все-таки иметь в виду, с одной стороны, прибыль английских арендаторов, а с другой—признанное всей классической экономией и заимствованное от нее деление этого прибавочного продукта на земельную ренту и прибыль арендатора; но то, что в сущности составляет настоящее и точное определение ренты, становится перед ним поперек дороги. Что же делает г. Дюринг? Он прикидывается, будто бы ни словечка не знает о делении земельного прибавочного продукта на прибыль арендатора и земельную ренту, а, следовательно, совершенно замалчивает теорию ренты, изложенную в классической экономии, как будто бы вопрос, что такое в сущности арендная прибыль, еще вовсе не ставился в политической экономии в таком определенном смысле, и если о ней все-таки трактуют, то как о неисследованном предмете, о котором, кроме чего-то кажущегося и сомнительного, ничего неизвестно. И вот он, спасаясь от роковой Англии, где прибавочный продукт в земледелии, без всякого содействия со стороны какой-либо теоретической школы, безжалостно дробится на свои составные части, то-есть на земельную ренту и прибыль от капитала, — бросается в объятия своего излюбленного, многоценного прусского аграрного права, где самохозяиничанье процветает в наипатриархальнейшем виде, где «землевладелец под рентой подразумевает доходы с своего имения», где взгляды гг. юнкеров на ренту выступают с претензией на руководство наукой и где, следовательно, г. Дюринг еще может надеяться, при своем смутном понятии о ренте и прибыли, как-нибудь проскользнуть и даже найти верующих в его новейшее открытие, заключающееся в том, что не арендатор выплачивает земельную ренту собственнику, а, напротив, собственник — арендатору.

Х. Из «Критических очерков».

В заключение, бросим еще взгляд на «критические очерки национальной экономики», на «это предприятие» г. Дюринга, не имеющее, по его словам, «предшественников». Весьма возможно, что здесь, наконец, мы встретимся с широковежательной и многообещающей строгою наукою.

Г. Дюринг придает огромное значение открытию, что «научное образование» — «это великое современное явление» (стр. 12).

Напомним, что Маркс в «Капитале», между прочим, говорит так: «политическая экономия... собственно, как наука, появилась впервые в период мануфактуры», а в «Критике на политическую экономию», на странице 29-й: «классическая политическая экономия началась в Англии с Петти, во Франции—с Буажильбера и завершилась в Англии—Рикардо, а во Франции—Сисмонди».

Г. Дюринг, следуя указанному пути, тоже дает нам научный обзор предмета, но только у него высшая экономия представлена в жалких образцах, созданных мешапской наукой, когда уже исчезли со сцены главные представители классической экономической науки.

И он торжествует над ними, говоря с пафосом в заключении своего вступления: «Это предприятие, по своим внешним выдающимся особенностям и по повизне значительной части своего содержания, не имеет вовсе предшественников, но еще в большей степени оно замечательно теми особенностями, которые я сумел придать его внутренним критическим чертам и его общей точке зрения» (стр. 9). В сущности он мог бы и с внешней, и с внутренней стороны назвать свое «предприятие» (промышленное выражение не дурно употреблено): «Единственный и его собственность».

Хотя политическая экономия с тех пор, как сделалась достоянием истории, представляет собою, в сущности, не что иное, как научное рассмотрение экономических вопросов в период капиталистического производства, но все-таки различные относительные посылки и теоремы этой науки могли быть давно предвосхищены писателями древне-греческого общества, насколько известные явления, как, например, производство товаров, торговля, деньги, капитал, приносящий проценты, и т. д., были общи для древнего мира и современного общества. Если греки делают иногда удачные выводы в этой области науки, то этим обнаруживают такую же гениальность и оригинальность, как и в других областях. Поэтому, их взгляды исторически создают теоретические исходные пункты современной науки. Теперь послушаем исторического г. Дюринга.

«Что касается научной теории хозяйства древности, то, по истине (!), в ней нет ничего положительного, о чем бы стоило говорить, тем более, что невежественные средние века подают к тому (к тому, чтобы ничего не повествовать) еще гораздо менее повода. Но так как суетный, на показ выставляемый блеск учености... затемнил ясный смысл современной науки, то для выяснения ее положения должны быть приведены некоторые примеры». И г. Дюринг приводит примеры, сопровождаемые критикой, которая, в сущности, также очень далека от «блеска учености».

Посылка Аристотеля, состоящая в том, «что всякое имущество имеет двойное употребление — одно, как свойственное самой вещи, другое же, не обусловленное ее специальным предназначением; так, например, сандалия может служить обувью и в то же время может быть обменной на что-либо другое; и в том и в другом случае сандалия служит предметом для удовлетворения потребностей, так как, если кто-либо и променяет ее на что-нибудь необходимое ему, на деньги или пищу, он все же употребит в дело сандалию, хотя и не соответственно ее настоящему назначению, ибо сандалия вовсе не предназначена для обмена»; — эта посылка, по мнению г. Дюринга, «высказана тривиально и смехотворно», и те, которые в ней «находят установление различия между пригодностью к употреблению и пригодностью к обмену», — впадают, кроме того, еще в «юмор», забывая, вероятно, что в «само-повейшее время» и, в особенности, «в передовой системе» г. Дюринга, пригодность к употреблению и пригодность к обмену считаются равнозначущими.

«В сочинениях Платона о государстве... стремились также отыскать современную идею о разделении народно-хозяйственного труда». Это должно относиться к главе XII, 5, стр. 369, третьего издания «Капитала», где, наоборот, взгляд классической древности на разделение труда излагается, как находящийся «в строжайшей противоположности» с современными. Заблуждением г. Дюринга не называет г. Дюринг гениальное для того времени Платоново изложение вопроса о разделении труда, как о естественно-развивающемся основании города (что у греков было равнозначу-

щим государству), и только потому, что он не упомянул (хорошо, но грек Ксенофонт, г. Дюринг?) о «границах, которые неустановившийся рынок полагает для дальнейшего расчленения профессий и технического разделения специальных операций; представление об этих самых границах есть прежде всего то самое понятие, с помощью которого идея, едва намеченная наукой, становится высшей экономической истиной».

«Профессор» Рошер (Rocher), к которому г. Дюринг относится с таким презрением, провел, однако, эти границы, и с тех пор идея разделения труда впервые стала научною, вследствие чего Адам Смит признает Рошера основателем закона о разделении труда. В обществе, в котором производство товаров составляло господствующую отрасль промышленности, «границы рынка», чтобы хотя раз употребить выражение г. Дюринга, были хорошо известны «деловым» людям; но к этому надо присовокупить, что и без «знания и рутинного инстинкта» можно усмотреть, что не рынок создал капиталистическое разделение труда, но, наоборот, разложение прежних общественных связей и возникшие вследствие этого разделение труда создали рынок (см. «Капитал», I, глава XXIV, 5: восстановление внутреннего рынка для промышленного капитала).

«Деньги играли всегда главную двигательную роль в хозяйственных (!) помышлениях. Но что же знал какой-нибудь Аристотель об этой роли? Откровенно говоря, не более того, что обмен с помощью денег заменил собою первоначальный натуральный обмен».

Но «какой-нибудь» Аристотель указывает, однако, на двоякую форму обращения денег; в одном случае, по его мнению, они являются, как простое средство обращения, а в другом — как денежный производительный капитал. И вот, г. Дюринг говорит, что великий мыслитель этим открытием «возбуждает только нравственную антипатию». Когда «какой-нибудь» Аристотель, более того, осмеливается анализировать «роль» денег с точки зрения измерения ценности и на самом деле ставит правильные проблемы о деньгах, то «какой-нибудь» Дюринг упорно молчит о такой непозволительной смелости, вероятно, по причине каких-либо особых тайных побуждений.

По заключительному выводу Дюринга относительно «достопамятных имен», — греческая древность в сущности обладала «только самыми обыкновенными идеями» (страница 25), если только подобные «Niaiseries» (глупости, см. стр. 29) имеют вообще что-либо общее с обыкновенными или необыкновенными идеями.

Главу г. Дюринга о меркантилизме гораздо лучше прочесть в «оригинале», то есть, у Ф. Листа в «Национальной системе» (глава 29: «Промышленная система, ошибочно названная меркантильною системою»). Как тщательно и здесь г. Дюринг умеет уклониться от «света учености», покажет лучше всего нижеследующее.

Ф. Лист, в 28-й главе об итальянских национальных экономистах говорит: «Италия опередила все новейшие нации в области политической экономии, как в теории, так равно и в применении ее на практике», и затем сообщает, что «первое сочинение по политической экономии было написано в Италии, причем особенно указывает на сочинение Антона Серра, из Неаполя, о способе доставить королевствам избыток золота и серебра (1613 г.)». Г. Дюринг хватается за это и рассматривает, поэтому, «Breve trattato», Серра, «как особый эпиграф к введению в новейшую предварительную историю экономии». Этим «беллетристическим дурачеством» в сущности и ограничивается его рассмотрение «Breve trattato». Между тем, к его несчастью, оказывается, что в 1609 году, т.-е. четырьмя годами ранее «Breve trattato», появилось сочинение «A. Discourse of Trade etc. Томаса Мунса. Это сочинение уже в первом своем издании имело особенное значение в том отношении, что было направлено против мопетной системы, защищаемой английским правительством, и было первым толчком к установлению меркантильной системы в ее чистом виде. Уже в первоначальном своем виде это сочинение выдержало несколько изданий и имело непосредственное влияние на законодательство. Совершенно переделанное самим автором и появившееся уже после его смерти, в 1664 г., под заглавием «England's Treasur etc.», сочинение это в течение последующих веков играло роль евангелия для

меркантилистов. Если меркантильный период и ознаменовался какими-либо сочинениями, создающими эпоху, «как особый род «эпиграфа» к истории экономики, то такая честь всецело принадлежит названному сочинению Т. Мунса, но он-то и замалчивается в Дюринговской «весьма тщательно рассмотренной истории».

Относительно основателя новейшей политической экономики, Петти, г. Дюринг сообщает нам, что он отличался «в значительной степени легкомысленными суждениями» и, далее, «недостатком смысла для понимания... внутренних и тончайших разнообразий, поверхностностью, которая многое знает, но легко перескакивает с предмета на предмет, не давая никакой мысли пустить глубокие корни»... он «в своих рассуждениях о народном хозяйстве обнаруживает свою неподготовленность и доходит до наивностей, от которых, без сомнения, воздержался бы всякий серьезный мыслитель». Итак, разве это не чрезмерное снисхождение, если «серьезнейший мыслитель», г. Дюринг, удостоивает «какого-нибудь Петти» своего благоволения, делая о нем свои заметки. И еще какие заметки!

О рассуждениях Петти относительно «труда и даже рабочего времени, как меры стоимости, на что у него встречаются весьма неясные намеки», г. Дюринг отказывается даже упоминать в своих критических очерках. Неясные намеки! В своем «*Treatise on Taxes and Contributions*» (первое издание, 1662 г.) Петти дает, однако, вполне ясный и правильный анализ величины и стоимости товаров. После того, как он установил приблизительную равноценность благородных металлов и зерна, требующих одинакового труда для своего производства, он этим сказал первое и последнее «теоретическое» слово о стоимости благородных металлов. Затем, Петти определенно высказал также мысль, что стоимость товаров вообще должна измеряться равной работой (*equal labor*). Он поверяет свое открытие помощью разных, отчасти весьма путанных, проблем, причем местами ссылается на различные факты и сочинения, в которых, хотя нет прямых подтверждений главной мысли автора, но находятся важные соображения относительно данного вопроса.

Рядом с этим, он говорит в своем первом сочинении: «Я утверждаю, что это (измерение равною работою) составляет основное положение для сравнения и уравнения стоимостей; однако же, не могу не сказать, что при более подробном развитии этого положения и практическом его применении встречается много разнообразных запутанностей». Петти, таким образом, относится одинаково сознательно как к важности своего открытия, так и к трудностям его детального использования. Поэтому, он изыскивает другие пути для достижения поставленной цели. Нужно найти естественное, равносодержательное отношение (*a natural Par*) между землею и трудом, так, чтобы стоимость могла быть выражена, по желанию, «в каждом из двух, или, еще лучше, в обоих». Даже заблуждение гениально!

Г. Дюринг делает относительно теории стоимости Петти остроумное замечание: «если бы он был остроумнее, то не стал бы отыскивать в другом месте следов противоречивых соображений, о которых упоминалось еще ранее»; это значит, что «еще ранее» ни о чем не упоминалось, кроме того, что «следы» — «неясны». В этом обнаруживается характерная манера г. Дюринга «еще ранее» выступать с какою-либо бессодержательной фразой для того, чтобы, «вслед за тем» дать читателю понять, что он «еще ранее» хорошо понимал сущность главного предмета, по поводу которого тот или другой писатель пишет туда и сюда.

У Адама Смита мы, наконец, находим не только «следы противоречивых соображений» относительно понятия о ценности, и не только два, но три, а еще точнее, — даже четыре противоположных взгляда на ценность, которые очень удобно уживаются друг с другом. Но, что естественно у основателя политической экономики, который, то необходимости, должен ощущивать, исследовать и подвергать критике ранее возникший идейный хаос, то чрезвычайно странно встретить у писателя, победоносно хватающего за более чем полтора столетия тому назад произведенные исследования, результаты которых, благодаря уже одним только книгам, сделались отчасти общим достоянием.

Теперь перейдем от великого к смешному: мы уже знаем, что г. Дюринг предлагает нам точно также на выбор пять различных родов ценностей с такими же противоречивыми соображениями, и если бы «он сам был остроумнее», то напрасно не трудился бы над этим, не подвергал бы своих читателей чрезвычайному смущению и не отвлекал бы тем самым их внимание от более ясных соображений Петти по вопросу о ценности.

Вполне законченное и из одной массы вылитое сочинение Петти, это — его «*Quantulumcunque concerning Money*», изданное в 1682 г., десять лет спустя после его «*Anatomy of Ireland*» (это последнее сочинение появилось «впервые» в 1672, а не в 1691 г., как г. Дюринг говорит в своем «напраспрострашеннейшем руководстве»). Последние следы меркантильных воззрений, встречающиеся в других его сочинениях, здесь совершенно исчезают. Это — маленькое художественное произведение по содержанию и форме; потому-то оно и не упоминается ни разу г. Дюрингом. Да оно и вполне в порядке вещей, что какая-нибудь напыщенная посредственность топом школьного учителя выказывает свое ворчливое неудовольствие против гениальнейшего и оригинальнейшего экономиста и сердится на него за то, что теоретические светлые взгляды не появляются сплошь да рядом, как готовые «аксиомы», а трудно вырабатываются и усложняются, вследствие соприкосновения с сырым материалом, как, напр., с налоговой системой.

Подобно тому, как с чисто экономическими работами Петти, г. Дюринг поступает так же бесцеремонно и «с политической арифметикой», *vulgo* — статистикой. Злобное пожимание плечами над особенностями употребляемых Петти методов! После тех странных методов, которые сам Лавуазье применял в этой области науки сто лет спустя, и ввиду теперешнего состояния статистики, находящейся еще далеко от цели, обрисованной Петти мощными чертами, — два столетия *post festum* появляется, наконец, самохвальное превосходство знаний в форме неуязвимой глупости.

Значительнейшие идеи Петти, которые в «предприятии» г. Дюринга едва заметны, по словам последнего, являются только шутовскими выдумками, умственными случайностями, соблазнительными преувеличениями, которыми в наше время пользуются, вырывая из общей связи цитаты, не имеющие сами по себе никакой цены для действительной истории политической экономии, и если они играют роль, то лишь в новейших книгах, не стоящих критики и траты высокого стиля «бытописателя» г. Дюринга. Он, г. Дюринг, мнит своим «предприятием» блеснуть в глазах слепо верующего круга читателей, надеясь на то, что они не осмелятся потребовать от него необходимых доказательств.

Нам придется вернуться к более ранней эпохе (к Локку и Норту), но сначала мы ознакомимся поближе, мимоходом, с трудами Буажильбера и Лео. Прежде всего сошлемся на «собственные» открытия г. Дюринга. Он открыл и раньше других установил связь между Буажильбером и Лео. Буажильбер утверждал, что благородные металлы в сфере нормальных денежных функций, которые они выполняют в процессе производства товаров, могли бы быть заменены кредитными деньгами (*un moyen de parier*). Лео, сверх того, воображал, что произвольное «умножение» этих «кусочков бумаги» увеличило бы богатство данной нации. Из этого вытекает для г. Дюринга, что «поворот Буажильбера скрывал в себе новый поворот для меркантилизма», другими словами, — самого Лео. Это доказывается ясно, как день, следующим образом: «Стоило бы только простым «кусочком бумаги» павязать ту роль, которую должны были играть благородные металлы, и произошла бы полная метаморфоза меркантилизма». Таким же способом можно было бы произвести метаморфозу дяди в тетку. Правда, г. Дюринг прибавляет к этому многозначительно: «Во всяком случае, Буажильбер не имел такого намерения». Но, чорт возьми, как же он мог променять свои собственные рациональные взгляды относительно денежной роли благородных металлов на суверенные воззрения меркантилистов, когда только после него благородные металлы были заменены в своей роли бумажными деньгами. Однако

г. Дюринг продолжает с серьезным комизмом: «все-таки нельзя не сознаться, что наш автор делает кое-где меткие замечания» (страница 83).

Относительно Лoo г. Дюринг делает только «действительно меткие замечания»: «Лoo также никогда, разумеется, не мог вполне отвергать последнее основание (именно, основу благородных металлов), но он довел выпуск ассигнаций до чрезвычайного, то-есть до разрушения всей системы» (страница 94). В действительности, бумажные бабочки, в качестве денежных знаков, должны были порхать в публике не с целью «забраковать» базис благородных металлов, а для того, чтобы из карманов публики возвратиться обратно в опустевшее государственное казначейство.

Чтобы опять вернуться к Петти и к той невидной роли, которую ему приписывает г. Дюринг в истории политической экономии, послушаем сперва отзыв последнего о Локке и Норте, ближайших последователях Петти, сочинения которых появились одновременно в 1691 году: Локка «*Consideration on Lowering of Interest and Raising of Money*» и Норта—«*Discourse upon Trade*».

«То, что он (Локк) пишет о пошлинах и монете, не выходит из рамок размышлений, бывших обычными во время господства меркантилизма в связи с явлениями государственной жизни» (страница 64). Читателю, после этого «доклада», должно быть ясно, как день, почему «*Lowering of Interest*» Локка, во второй половине XVIII-го столетия, имело такое значительное влияние на политическую экономию во Франции и Италии, хотя и в различной степени.

«Относительно свободы размера процентов некоторые деловые люди были солидарны с Локком; развитие спонений также приводило к мысли о невозможности уничтожения процентов. В такое время, когда некий Дудлей Норт мог написать своп «*Discourse upon Trade*» в защиту свободной торговли, таких идей носилось уже много в воздухе, и этим объясняется появление теоретических сочинений, направленных против ограничения размера процентов, как чего-то неслыханного» (страница 64).

Итак, Локк подцепил мысли некоторых современных дельцов или выпухал то, что в его время «носилось в воздухе», создал на основании этого теорию относительно свободы процентов, и ничего не сказал, что можно было бы назвать «песлыханным»! Но, в сущности, Петти еще в 1662 г. в своем «*Treatise on Taxes and Contributions*» называл процент, который у нас слывет лихвенным (*rent of money which we call usury*), денежной рентой, в противоположность земельной ренте и ренте с недвижимых имуществ (*rent of land and houses*), и прописчески советовал землевладельцам, желавшим путем закона ограничить размер не имущественной, а денежной ренты, бывшей в то время очень высокой,—вместо суежных и бесплодных проектов, прямо создать положительные гражданские законы, вопреки закону природы (*the vanity and fruitlessness of making civil positive law against the law of nature*). В своем «*Quantulumcumque*» (1682) он объясняет по этому поводу, что законное урегулирование процентов так же смешно, как урегулирование вывоза благородных металлов или вексельного курса. В том же сочинении он раз навсегда устанавливает мерило относительно *raising of money*, т.-е. повышения цены монеты, говоря, что, например, $\frac{1}{2}$ шиллинга можно назвать целым шиллингом, если унцию серебра растянуть в двойное количество таких шиллингов.

По отношению к последнему пункту он почти скопирован Локком и Нортом; относительно же процентов Локк присоединяется к параллели Петти между денежным процентом и имущественной рентой, между тем как Норт, идя далее, не только противопоставляет процент, как ренту с капитала (*rent of stock*)—имущественной ренте, но и стоклордов (денежных тузов)—лэндлордам (крупным землевладельцам). Наконец, Локк признает требуемую Петти свободу процентов с ограничениями; Норт же принимает ее в безусловной форме.

Г. Дюринг, будучи завзятым сторонником меркантилизма, в «ограниченнейшем» смысле этого слова, превосходит свою обычную наглость в своем стремлении отделаться от сочинения Дудлея Норта «*Discourse upon Trade*», делая замечание, что оно напи-

сано «в направлении свободы торговли». Это в роде того, как если бы кто-либо сказал, что Гарвэй писал «в направлении» о кровообращении. Сочинения Норта, оставляя в стороне их другие заслуги, составляют классическое, замечательное своей последовательностью изложение теории свободной торговли и всего, что касается ее внешних и внутренних сношений, и притом в 1691 году,—во всяком случае, «нечто неслыханное»!

Затем, г. Дюринг сообщает нам, что Норт был «купец», плохой малый, и что его сочинение «не могло встретить никакого сочувствия». Не мудрено, конечно, что такое сочинение, появившееся во время господства в Англии покровительственной системы пошлин, не могло вызвать сочувствия у задававшей тон черни. Но почему же г. Дюринг скромно умалчивает о том, что идеи Норта имели огромное влияние на целый ряд явившихся непосредственно за ним авторов экономических сочинений и даже еще в XVIII столетии в Англии.

Локк и Норт доставляют нам доказательства того, что первые смелые приемы, которые Петти употреблял для разработки разных вопросов политической экономии, были целиком приняты и точнее разработаны его английскими последователями. Следы этого влияния, в период 1691—1752 г.г., бросаются даже в глаза самым поверхностным наблюдателям, и во всех более замечательных сочинениях, касающихся политической экономии, положительно или отрицательно приписываются Петти. Этот период породил много оригинальных мыслителей и дает, поэтому, богатый материал для исследования постепенного зарождения политической экономии. В «Исторических очерках высокого стиля», отмеченных Марксом, как непростительный грех, совершенно отсутствуют указания на сочинения этого периода, в течение которого, по словам «Капитала», Петти и другие писатели сделали так много для политико-экономических исследований. От Локка, Норта, Буажильбера и Лоо, г. Дюринг перескакивает прямо к физиократам, и только при вступлении в истинный храм политической экономии, появляется Давид Юм. С позволения г. Дюринга, мы восстанавливаем хронологическую точность, а потому, ранее физиократов займемся сочинениями Д. Юма.

Экономические «Опыты» Юма появились в 1752 г. Однородные по своему содержанию статьи последнего: *Of Money, Of the Balance of Trade, Of Commerce*, находятся в тесной связи со взглядами, выраженными в книге Якова Вандерлинта «*Money answers all things*», Лондон, 1734 г. Так как этот Вандерлинт может быть также неизвестен г. Дюрингу, то нам придется напомнить о нем, когда мы перейдем к эпохе конца XVIII-го столетия, так называемой «после-Смитовской».

Подобно Вандерлинту, Юм говорит о деньгах, как о знаках ценности (и это важно заметить, так как он мог бы заимствовать теорию знаков ценности из многих других сочинений); он, далее, копирует почти буквально Вандерлинта, объясняя, почему торговый баланс не может быть постоянен в одной какой-либо стране; подобно Вандерлинту, он учит, что равновесие балансов находится, естественно, в зависимости от различных экономических условий отдельных стран; как и Вандерлинт, он проповедует свободу торговли, хотя и не так смело и последовательно; вместе с Вандерлинтом, но не так глубоко, он высказывает, что потребности вызывают производство; он одинаково с Вандерлинтом впадает в ошибку, приписывая банкам и официальным ценным бумагам влияние на стоимость товаров; он отвергает, вместе с Вандерлинтом, денежный кредит; подобно Вандерлинту, он ставит ценность товаров в зависимость от рабочих цен, а, следовательно, и от вознаграждения за труд; он копирует у него даже странную идею о том, что собирание сокровищ понижает ценность товаров, и т. д., и т. д.

Господин Дюринг уже давно пророчески нашептывал о некоторых заблуждениях относительно денежной теории Юма, причем с угрозой указывал, что Маркс в «Капитале» противным полицейским образом доносил о тайной связи Юма с Вандерлинтом и пристегивал к ним еще также Масси.

Что касается истинной денежной теории Юма, по смыслу которой деньги представляют собою не более, как ценные знаки, вследствие чего, при одинаковых условиях, стоимость товаров падает в цене по мере возрастания денежной массы и, наоборот, возрастает в цене при уменьшении этой массы,—то относительно этого г. Дюринг, при всем желании и даже с присущим ему блестящим красноречием, может беседовать только в компании со своими заблуждавшимися предшественниками. Но Юм, установив названную теорию, отрекся от нее (то же самое сделал Монтескье, выходя из того же предположения), в виду того, что «обнаружилось», что со времени открытия американских рудников стала возрастать промышленность «у всех европейских наций, за исключением владельцев этих рудников», и что причину этого видели, «помимо всех других условий, в приросте золота и серебра». Юм, в действительности, объясняет это явление тем, что «хотя высокая цена товаров была неизбежным следствием прилива золота и серебра, она все-таки не следовала непосредственно за этим приливом; потребовалось некоторое время, пока деньги обошли все государство и произвели свое могущественное действие на все народные слои». В этот промежуток времени прилив драгоценных металлов благотворно влиял на промышленность и торговлю. В заключение этих, вытекающих одно из другого положений, Юм пытается объяснить также, хотя одностороннее многих своих предшественников и современников,—отчего зависит «успех денег» в общественных организациях, и усматривает это в том, что «они подталкивают каждого человека к прилежанию прежде, чем поднимут рабочую плату».

Другими словами, Юм описывает здесь влияние революции в стоимость благородных металлов, а именно их обесценивание, которое равнозначуще понижению массовой их стоимости. Он выводит из этого совершенно правильно, что означенное обесценивание, только при соответствующем ему постепенном уравнивании стоимости товаров, едва в последней инстанции, «поднимет цену труда» — *vulgo*, заработную плату; таким образом, барыш купцов и промышленников увеличивается за счет рабочих (что он находит совершенно в порядке вещей), и это самое вынуждает последних к прилежанию. Но, собственно научного вопроса: как и почему увеличенный подвоз благородных металлов, при неизменной стоимости их, действует на товарные цены,—этого вопроса он себе не задает, а смешивает каждый «прилив благородных металлов» с падением их ценности. Юм, одним словом, разбирает вопрос совершенно так, как об этом говорит, разбирая его сочинения, Маркс («К критике и т. д., стр. 141»). Мы мимоходом вернемся еще раз к этому пункту, но прежде обратимся к опыту Юма об «Interest».

Ясно выраженное Юмом мнение, направленное против Локка, что процент регулируется не массой наличных денег, а размером барыша, и остальные его раз'яснения относительно причин, определяющих рост и падение размера процентов,—все это высказало более точно, но менее остроумно, в сочинении, появившемся в 1750 г., т.-е. два года ранее Юмова «Опыта»: «An Essay on the Governing Causes of the Natural Rate of Interest, wherein the sentiments of Sir W. Petty and Mr. Locke, on that head, are considered». Издатель этого сочинения был И. Масси, писатель во многих отношениях более живой и, как усматривается из современной ему английской литературы, гораздо более начитанный. Масси стоит ближе, чем Юм, к раз'яснениям Адама Смита относительно размера процентов. Затем оба они, Масси и Юм, ничего не знают и не говорят о сущности «прибыли», хотя она у обоих играет роль.

«Вообще,—проповедует г. Дюринг,—при оценке Юма большинство впадало в заблуждение и приписывало ему идеи, о которых он не помышлял». И сам г. Дюринг приводит нам несколько разительных примеров такого «заблуждения».

Так, например, «Опыт» Юма относительно процентов начинается следующими словами: «Ничего так не убеждает в цветущем состоянии народа, как низкий размер процентов; и оно вполне справедливо, хотя я думаю, что причина этому скрывается не в том, в чем ее обыкновенно видят». Итак, тотчас же в первой посылке, Юм вы-

сказывает взгляд, что понижение размера процентов есть вернейший знак цветущего состояния народа,—взгляд, который был уже в его время тривиальным общим местом. На самом же деле эта идея еще ранее, со времени Хильда, в течение целого уже столетия, была уличным достоянием. Между тем, мы читаем: «из взглядов Юма на размер процентов можно, главным образом, извлечь идею, что он истинный барометр состояний (каких?) и его понижение составляет почти безошибочный знак процветания народа» (страница 130). Кто этот «смущенный» и пойманный «некто», который так говорит? Конечно, никто другой, как г. Дюринг.

Но что, главным образом, приводит нашего критического историографа в панв-ное пзумление, это то, что Юм, по поводу какой-либо своей истинно счастливой идеи, «даже не называет себя виновником ее». Этого бы с г. Дюрингом не случилось!

Мы видели, как Юм смешивает всякое возрастание количества благородных металлов с тем их увеличением, которое является результатом революции в производстве этих металлов и сопровождается понижением их стоимости, а, следовательно, и повышением цен на товары. Это смешение у Юма было неизбежным, потому что он не имел ни малейшего понятия о функции благородных металлов, как мерилла стоимости. Да он и не мог иметь такого понятия, потому что ничего не знал о стоимости. Само слово «стоимость» появляется едва ли всего не один раз в его статье, именно в том месте, где он заблуждение Локка, будто благородные металлы обладают «только воображаемого стоимостью», облекает в новую форму, говоря, что они имеют «преимуществом фиктивную стоимость».

В этом он отставал не только от Петти, но даже от многих своих английских современников. Он обнаруживает ту же «несостоятельность», когда, по старой моде, приветствует «к у п ц а», как главную пружину производства — заблуждение, от которого отрекся уже Петти. Что касается утверждения г. Дюринга, что Юм в своих сочинениях обсуждал «главные хозяйственные отношения», то, сравнивая их хотя бы только с цитированными Адамом Смитом сочинениями Шантильона (которые появились одновременно со статьями Юма, в 1752 г., но много лет спустя после смерти автора), нельзя не подивиться, напротив, узости кругозора Юмовых экономических работ. Юм тем не менее, не взирая на выданный ему г. Дюрингом патент, всетаки остается, как уже сказано, весьма почтенным писателем в области политической экономии, но он в ней является не более как оригинальным исследователем, но далеко не ученым, создающим эпоху в науке. Действие экономических статей Юма на образованный круг читателей его времени объясняется не столько превосходным изложением, сколько тем, что они были прогрессивно-оптимистическими прославлениями расцветавшей в то время промышленности и торговли, другими словами, быстро возраставшего в Англии капиталистического общества, в среде которого мысли Юма, естественно, должны были встретить «сочувствие». На это довольно указать пальцем. Каждому известно, как страстно, и именно во время деятельности Юма, боролись английские народные массы с системой косвенных налогов, выработанной по плану Роберта Вальполя и направленной к обременению землевладельцев и преимущественно крупных. В своем «Опыте» относительно пошлин (Of Taxes), в котором Юм, не называя по имени, полемизирует с своим всегдашним врагом, Вандерлингом, страстным противником косвенных налогов и ярым защитником поземельного налога, он говорит: «они (пошлины на припасы) должны считаться очень высокими и неразумными, когда рабочий не в состоянии их оплатить, повышая свое прилежание и бережливость, без повышения платы за труд». Здесь можно подумать, что слышишь самого Роберта Вальполя, в особенности, если к этому прибавить место из «Опыта» о «государственном кредите», где Юм говорит относительно неудобства обложения пошлинами государственных кредиторов: «уменьшение их дохода нельзя скрыть под маской простых акцизов и таможенных пошлин».

Так как ничего другого нельзя ожидать от шотландца, то восхищение Юма благосостоянием мещанства никоим образом не было платонически. Будучи бедняком с

самого начала, он с большим трудом добился тысяче-фунтового годового содержания, по поводу которого, так как здесь идет речь не о Петти, г. Дюринг выражается следующим остроумным образом: «будучи хорошим хозяином и довольствуясь малым, он поставил себя в такое положение, что мог никогда не писать в угоду кому бы то ни было»; но когда, далее, г. Дюринг говорит, «что он никогда не уступал влиянию партий, князей или университетов», то, право, становится сомнительным, чтобы Юм не вступал в литературную компанию с каким-нибудь «спекулянтом», или еще лучше можно предположить, что он был неусыпным партизаном виговой олигархии, «церковь и государство» чтит высоко и, в награду за эти заслуги, получил гораздо важнейшую и более выгодную должность помощника статс-секретаря. «В политическом отношении Юм всегда был консервативных и строго-монархических убеждений, поэтому и не был объявлен еретиком представителями господствующей церкви, как Гиббон». Это сказал о нем старый Шлоссер. «Этот эгоист Юм, этот исторический лгун», — ругались английские монахи, сытые, безбрачные и бессемейные, живущие только подаванием; а «суровый» плебей Кобб говорит: «по он никогда не имел ни жены, ни детей и сам был сытым буршем, откормленным, главным образом, за счет государственных средств и не оказавшим взамен этого никаких государственных услуг». В заключение, г. Дюринг говорит: «Юм в практических взглядах на жизнь, в существенных чертах, имел много общего с Кантом».

Почему, однако, в «Критических очерках» отведено Юму так много места? Просто потому, что этот «серьезный и тонкий мыслитель» воплощает собою для Дюринга XVIII-й век. Подобно тому, как Юм служит для него доказательством, что «создание целой отрасли науки (экономии) было делом просветительной философии», так во всем предшествовавшем Юму хранится лучшее ручательство для «феноменального человека», что эту научную отрасль, в предвидении ее близкого завершения, он превратил, вместе с «просветительной» философией, в абсолютно ясную «действительную философию» и, при этом, совершенно так, как Юм, «чему, впрочем, на немецкой почве до сих пор еще не было примера... чтобы возможно было разработку философии в тесном смысле слова соединить с научными трудами по народному хозяйству». Таково значение Юма. И если мы считаем его, как экономиста, положим, и почтенным, все же слишком бледным для экономической звезды первой величины, то, вероятно, по причине той же зависти, вследствие которой относимся отрицательно к «служащим руководством для эпохи» трудам г. Дюринга.

Физиократическая школа задала нам, как известно, «в экономической таблице» Кенэ загадку, о которую донныне существовавшие критики и историографы экономии тщетно ломали свои зубы. Эта таблица, долженствовавшая с ясностью изобразить, в физиократическом представлении, производительность и обращение богатств известной страны, оставалась и для последующих экономистов весьма темной. Но г. Дюринг и в этом случае просветит нас надлежащим образом. «Какое значение, собственно, у Кенэ должно было иметь это экономическое изображение отношений производства и распределения», говорит он, — это тотчас же делается ясным, «если мы прежде всего точно определим понятия, которыми он, собственно, руководствовался, тем более, что они до сих пор «неопределенно колеблются» и даже Адамом Смитом «не выяснены их настоящие черты». С таким застарелым «легкомысленным» положением вещей г. Дюринг думает покончить раз навсегда. И вот, он занимает читателя на целых пяти страницах, по меньшей мере на пяти страницах, на которых среди всяких натянутых посылок, беспрепятственных повторений и рассчитанных бессвязностей, — скрывается фатальная суть дела относительно «руководящих понятий» Кенэ, о которых, в действительности, г. Дюринг сообщает так же мало, как «распространеннейшие комплиментные учебники», от которых он, впрочем, неумоимо предостерегает. Одна из «опаснейших страниц» это та, на которой мимоходом обнюхивается название известной таблицы, а далее следуют разнообразные «размышления», как, например, «о различии между

«затратами» и «результатами». Если все это, «правда, прямо не вытекает из идеи Кенэ», зато по этому поводу г. Дюринг дает нам случай вперед ознакомиться с его методом объяснения названной таблицы, особенно, когда он от своих монотонных рассуждений о предварительных «затратах» переходит к трудному процессу выяснения вытекающих из них «результатов». Однако, рассмотрим теперь все, но буква в алфавите все, что он находит нужным сообщить нам о таблице Кенэ.

Г. Дюринг говорит: «Само собою разумеется, ему (Кенэ) казалось, что на прибыль (г. Дюринг говорил только о чистом продукте) нужно смотреть и с нею обращаться, как с денежной ценностью, ... далее он тотчас же пристегивает свои размышления (!) к денежной ценности, которую предполагает, как результат продажи сельскохозяйственных произведений на первых рук. Таким способом (!) оперирует он в колоннах своей таблицы с несколькими миллиардами (то-есть денежными ценностями)». Тут нам говорят три раза, что Кенэ в таблице оперирует с «денежными ценностями» и «сельскохозяйственными произведениями», включая сюда «чистый продукт» или «чистую прибыль». Далее в тексте: «Если бы Кенэ избрал путь действительно естественного способа мышления и если бы не только освободился от своих взглядов на благородные металлы и на их запасы, но и от своих взглядов на денежную ценность... А то он считался с одними только денежными суммами и, прежде всего, представлял себе (!) чистый продукт, как денежную ценность». Итак, в-четвертых и пятых: в таблице стоит только денежная ценность.

«Он (Кенэ) нашел его (чистый продукт) в то время, когда определял доход, за вычетом издержек, и главным образом (не обычное и, тем не менее, весьма легкомысленное суждение) думал (!) о той стоимости, которую получал собственник земли, как ренту». Пока еще ничего о деле; но вот, кажется, начинается: «с другой стороны, теперь, наконец, также выходит» (это «теперь, наконец, также» — просто перлы!) — «что чистый продукт, это — не более, как естественный предмет в обращении, и он становится таким способом элементом, благодаря которому «поддерживается», так называемый, непродуцируемый класс. Здесь можно тотчас же (!) заметить возникшую из этого путаницу, потому что в одном случае денежная ценность определяет течение мысли, а в другом — самый предмет». Вообще оказывается, что весь оборот товаров страдает «путаницей», что товары одновременно рассматриваются, как «естественные предметы и как денежные ценности». Но мы все еще вертимся в кругу «денежной ценности», потому что «Кенэ хочет уклониться от двойного определения народно-хозяйственной прибыли».

С позволения г. Дюринга, внизу «анализа» таблицы Кенэ фигурируют различные виды продуктов, как «натуральные предметы», вверху же в самой таблице — их денежные ценности. Позднее, по совету аббата Бодо, Кенэ внес даже прямо в таблицу «натуральные предметы» рядом с их денежными ценностями.

После стольких «затрат» следует, наконец, и «результат». Стоит послушать и подивиться. «Непоследовательность» (если принять в соображение роль, которую Кенэ приписывает землевладельцу) «тотчас же бросится в глаза, если задаться вопросом, что же станется с присвоенным в виде ренты чистым продуктом в народно-хозяйственном круговороте. В этом отношении, объяснение физиократов и экономическая таблица могли опираться только на путаницу и произвол, в основании которых нельзя не заметить мистицизма». Все хорошо, что хорошо кончается.

Итак, г. Дюринг не знает, «что же в хозяйственном круговороте (который представлен в таблице) происходит с чистым продуктом, присвоенным в форме ренты. Для него таблица представляет «квадратуру круга». Он должен признаться, вообще, что ничего не понимает в учении физиократов. После верчения вокруг да около, после пустой болтовни, артекинад, эпизодических вставок, диверсий, повторений и оглушительных заявлений, которые должны были подготовить нас к решению великого

вопроса, «что должна означать у самого Кенэ экономическая таблица»,—после всего этого, в заключение сконфуженное самопоругание г. Дюринга, признание, что он сам этого не знает. Но, сбросив с себя мучительную тайну—эту мрачную думу Горация, которая сидела у него за спиной во время гарпования через страну физиократов,—наш «серьезный и тонкий мыслитель» снова весело ударяет в литавры и провозглашает: «Линии, которые там и сам Кенэ проводит в своей, впрочем, довольно простой (!) таблице» (этих линий всего-на-всего шесть) «и которые должны изображать циркуляцию чистого продукта», заставляют задумываться над вопросом, не участвовала ли в этом удивительном нанизывании столбцов «математическая фантастика», и напоминают о занятиях Кенэ квадратурой круга и т. д. Так как г. Дюрингу эти линии, несмотря на всю их простоту, остаются, по его собственному признанию, непонятными, то он вынужден, по своей излюбленной манере, заподозрить их. А за сим, утешенный, он наносит фатальной таблице последний удар милосердия: «Рассматривая чистый продукт с этой самой роковой стороны, мы» и т. д. Разумеется, «самой роковой стороной чистого продукта» г. Дюринг называет свое вынужденное признание того, что он не понимает первого слова экономической таблицы и той «роли», которую играет «фигурирующий в ней чистый продукт». Какой юмор висельника!

Однако, чтобы наши читатели не оставались в странном неведении относительно таблицы Кенэ, неминуемо выпадающем на долю тех, которые черпают свою экономическую мудрость «из первых рук» г. Дюринга, мы скажем кратко следующее.

Как известно, у физиократов общество делится на три класса: 1) производительный, т. е. занятый фактически в земледелии класс—фермеры и сельские рабочие; они называются производительными, потому что их труд дает избыток—ренту; 2) класс, присваивающий себе эту ренту, в который входят землевладельцы и зависящая от них свита, правители и вообще оплачиваемые государством чиновники и, наконец, церковь, как присвоительница десятины. Ради краткости мы будем называть первый класс просто фермерами, а второй—землевладельцами; 3) промышленный или непроизводительный класс; непроизводительный потому, что, согласно физиократическим воззрениям, он прибавляет в процессе производства к доставляемому ему производительным классом сырым материалам лишь ценность, не превышающую ценности потребляемых им жизненных средств, составляющих продукт труда производительных классов, т. е. земледельцев. Таблица Кенэ и должна представить наглядно, как циркулирует весь ежегодный продукт какой-либо страны (в действительности во Франции), распределяется между этими тремя классами и какую роль он играет в годичном воспроизводстве продуктов. Первой предпосылкой таблицы является повсеместное существование арендной системы и, вместе с ней, крупной агрикультуры в духе эпохи Кенэ, образцом которой служат Нормандия, Пикардия, Иль-де-Франс и некоторые другие французские провинции. Фермер, поэтому, является у него действительным руководителем агрикультуры, представляя в таблице весь производительный (занимающийся земледелием) класс; он же и выплачивает землевладельцу денежную ренту. Совокупности фермеров приписывается основной капитал или инвентарь в 10 миллиардов ливров, из которых одна пятая, или два миллиарда, представляют ежегодно замещающийся оборотный капитал; эта пропорция распределения капитала, принятая в расчетах Кенэ, заимствована из примеров наилучших ферм в упомянутых провинциях.

Дальнейшие предпосылки таковы: 1) постоянство цен и простое воспроизводство,—условия, принимаемые ради простоты; 2) оставляется в стороне всякое обращение внутри отдельного класса и принимается во внимание только обращение между классами; 3) все покупки и продажи, имеющие место в течение производственного года между отдельными классами населения, складываются в одну общую сумму. Наконец, надо иметь в виду, что во время Кенэ во Франции, как более или менее во всей Европе, домашняя промышленность крестьянской семьи удовлетворяла, кроме пищевых, и значительнейшую часть других своих потребностей, почему эта про-

мышленность и принимается в таблице, как само собою подразумевающийся прида-ток к земледелию.

Исходным пунктом таблицы является совокупность всего урожая известной страны, в данном случае Франции, и, поэтому, в самом верху таблицы показана сумма валового продукта земледелия за год. Величина ценности этого валового продукта определяется по средним ценам сельскохозяйственных продуктов у торговых наций. Она равна 5 миллиардам ливров,—сумме, которая, согласно возможным в ту пору статисти-ческим выкладкам, почти точно выражает денежную ценность валового сельско-хозяйственного продукта Франции. Это, и ничто другое, является причиной того, по-чему Кенэ в таблице «оперирует с несколькими миллиардами», именно пятью мил-лиардами, а не просто с 5 ливрами.

Весь валовый продукт ценностью в 5 миллиардов находится, следовательно, в руках производительного класса, прежде всего фермеров, которые его произвели путем затраты ежегодно оборотного капитала в 2 миллиарда, соответствующего основному капиталу в 10 миллиардов. Сельско-хозяйственные продукты, жизненные средства, сырые материалы и т. д., которые требуются для возмещения оборотного капитала, т.-е., между прочим, для содержания всех непосредственно занятых в земледелии лиц, вычитаются в натуре из урожая и относятся к затратам на новое сельско-хозяй-ственное производство. Так как предполагаются, как упомянуто выше, постоянные цены и простое воспроизводство по раз навсегда данному масштабу, то денежная цен-ность этой вычитаемой части валового продукта принимается и в последующие периоды равной двум миллиардам ливров. Эта часть продукта не входит в общее обращение, так как Кенэ совсем не вводит в свои расчеты торговые сделки, совершаемые в пре-делах каждого отдельного класса, а только те, которые приходят между раз-личными классами.

После возмещения оборотного капитала из валового продукта остается избыток в 3 миллиарда, из них: 2 миллиарда в виде жизненных средств и 1 миллиард в виде сырых материалов. Уплачиваемая фермерами землевладельцам рента принята рав-ной $\frac{2}{3}$ этой суммы, т.-е. 2 миллиардам. Почему только эти 2 миллиарда фигурируют под рубрикой «чистый продукт» или «чистый доход»,—это мы скоро увидим.

Кроме сельско-хозяйственного «полного воспроизводства» ценностью в 5 мил-лиардов, из которых 3 миллиарда входят во всеобщее обращение, в руках фермеров до начала процесса, изображенного в таблице, находится еще все сбережение (réserve) нации, в сумме 2 миллиардов наличных денег. А так как исходный пункт таблицы составляет совокупность всего урожая, то он одновременно является тем конечным пунктом экономического года, например 1758 г., с которого начинается новый эконо-мический год. В течение этого нового 1759 года та часть валового продукта, произ-веденного классом фермеров, которая должна войти в обращение посредством целого ряда отдельных уплат, покупок и продаж, распределяется между двумя остальными классами. Эти последовательные раздробленные и растянутые на протяжении года движения продуктов соединены—что, в виду разных обстоятельств, казалось необхо-димым для таблицы—в немногие характерные акты, охватывающие целый год. Затем, в результате этих сделок, к концу 1758 года классу фермеров возвращаются обратно 2 миллиарда, которые в 1757 году были уплачены землевладельцам в виде ренты (как это происходит, показывает сама таблица), так что в 1759 году они вновь могут пустить их в обращение. Так как эта сумма, как замечает Кенэ, гораздо больше, чем в действительности требуется для всего обращения страны (Франция), принимая во внимание, что одна и та же монета служит для нескольких платежей,—то нахо-дящиеся в руках фермеров 2 миллиарда ливров принимаются за всю совокупность обращающихся в стране денег.

Класс получающих ренту землевладельцев является, как сплошь и рядом в наши дни, прежде всего в роли получателей денег. По предположению Кенэ, собственно землевладельцы получали только $\frac{1}{3}$ ренты, общая сумма которой, как сказано, равна

2 миллиардам, $\frac{2}{7}$ шли правительству, а $\frac{1}{7}$ —отчислялась в пользу духовенства. Во времена Кенэ церковь была крупнейшей земельной собственницей во Франции и, сверх того, получала десятину со всей остальной земельной собственности. Затраченный «непроизводительным» классом в течение всего года оборотный капитал (avances annuelles) состоит из сырого материала ценностью в 1 миллиард,—только из сырого материала, ибо орудия, машины и т. д. причисляются к продуктам труда этого класса. Но та многообразная роль, которую эти продукты играют в производстве отдельных отраслей промышленности этого класса, так же мало касается таблицы, как и происходящее внутри класса товарное и денежное обращение. Заработная плата за труд, посредством которого непроизводительный класс превращает сырой материал в мануфактурные товары, равна ценности жизненных средств, получаемых им отчасти прямо от производителя класса, отчасти косвенно—через посредство землевладельцев. Хотя этот непосредственный класс, в свою очередь, распадается на капиталистов и наемных рабочих, он, по основным взглядам Кенэ, как класс, состоит на жалованьи у производительного класса и землевладельцев. Все промышленное производство, а, следовательно, и все обращение, совершающееся в течение следующего за урожаем года, также соединено в одно целое. Поэтому, предполагается, что при начале представленного в таблице движения годичное производство товаров непроизводительного класса находится совершенно в его руках, так что весь его оборотный капитал, т. е. сырой материал ценностью в 1 миллиард превращен в товары ценностью в 2 миллиарда, из которых половина представляет цену полученных в течение этого процесса жизненных средств. На это можно возразить, что, ведь, непроизводительный класс потребляет также и продукты промышленности для собственных своих домашних нужд; где же фигурируют эти продукты, если весь его собственный продукт через посредство обращения переходит к другим классам? На это мы получаем такой ответ: не только сам непроизводительный класс поглощает часть собственных своих товаров, но он стремится также, сверх того, за остальную часть товаров получить как можно больше. Поэтому, он продает свои пущенные в обращение товары выше их действительной ценности и должен делать это, так как мы оцениваем эти товары по полной стоимости их производства; но это не меняет ничего в положениях таблицы, ибо оба другие класса получают мануфактурные товары тоже по полной стоимости их производства.

Таким образом, мы знаем теперь экономическое положение трех различных классов при начале положения, представляемого таблицей.

Производительный класс, после натурального замещения своего оборотного капитала, располагает еще тремя миллиардами сельско-хозяйственного валового продукта и двумя миллиардами денег. Класс землевладельцев фигурирует пока только, как класс, имеющий право на получение ренты в 2 миллиарда от класса производительного. Непроизводительный класс располагает 2 миллиардами мануфактурных товаров. Обращение, совершающееся только между двумя из этих трех классов, называется у физиократов неполным обращением; совершающееся же между всеми тремя—полным.

Перейдем теперь к самой экономической таблице.

Первое (неполное) обращение: фермеры уплачивают землевладельцам, не получая возмещения, 2 миллиарда денежной ренты, приходящейся на их долю. На один из этих миллиардов землевладельцы приобретают жизненные средства от фермеров, к которым, таким образом, притекает обратно половина денег, истраченных ими на уплату ренты.

В своем «Анализе экономической таблицы» Кенэ больше не распространяется о государстве, получающем $\frac{2}{7}$, и церкви, получающей $\frac{1}{7}$ земельной ренты, так как их общественная роль в общем известна. Но относительно землевладельцев, в собственном смысле слова, он замечает, что их затраты, в число которых входят и затраты находящихся у них в услужении лиц, являются, по крайней мере, в большинстве случаев, непроизводительными затратами, за исключением той ничтожной части, кото-

рая затрачивается «для сохранения и улучшения их имений и для под'ема их культуры». Но, согласно «естественному праву», свойственная им функция заключается именно в «заботе о хорошем управлении и о затратах для сохранения своего наследия, или, как это позже объясняется, в avances foncières, т.-е. в затратах, имеющих целью подготовку почвы для обработки и устройство ферм, снабженных всем инвентарем,—затратах, позволяющих фермеру весь свой капитал посвятить исключительно делу обработки земли в тесном смысле слова.

Второе (полное) обращение. На второй, остающийся в их руках миллиард землевладельцы приобретают мануфактурные товары у непроизводительного класса; последний же на полученные таким образом деньги приобретает у фермеров жизненные средства на такую же сумму.

Третье (неполное) обращение. Фермеры покупают у непроизводительного класса мануфактурных товаров на один миллиард; большая часть из этих товаров состоит из земледельческих орудий и других необходимых для земледелия средств производства. Непроизводительный класс возвращает фермерам эти деньги, покупая на них сырых материалов на один миллиард, в возмещение своего собственного оборотного капитала.

Таким образом, в конце концов, к фермерам притекают обратно затраченные ими при уплате ренты 2 миллиарда денег, и все счета покончены. Этим самым и разрешается великая задача, «что собственно станется в хозяйственном круговороте с присвоением в виде ренты чистым продуктом».

Как замечено выше, в руках производительного класса, в начальном пункте процесса оказывается излишек в три миллиарда. Из них только два выплачены, как чистый продукт, землевладельцам в форме ренты. Третий миллиард этого излишка представляет процент на весь основной капитал фермеров, что на 10 миллиардов составляет 10%.

Это процент—что следует отметить—они получают не из обращения; он находится в их руках *in natura*, и они его лишь реализуют в обращении, превращая его в мануфактурные товары равной ценности. Без упомянутого процента фермер, этот главный агент земледелия, не затратил бы в него основного капитала. Уже с этой точки зрения, согласно учению физиократов, присвоение фермерами той части сельскохозяйственного прибавочного продукта, которая представляет процент, является столь же необходимым условием воспроизводства, как и самый класс фермеров, почему этот элемент и не может причисляться к категории национального «чистого продукта» или «чистого дохода», ибо последний характеризуется именно тем, что он может поглощаться без всякого соображения, с непосредственными потребностями национального воспроизводства. Этот же фонд в один миллиард служит, по Кенэ, большею частью для годичного ремонта и частичного возобновления основного капитала, далее, как резервный фонд против несчастных случаев, наконец, где можно, он служит для расширения основного и оборотного капитала, равно как для улучшения почвы и расширения культуры.

Весь процесс, в целом, во всяком случае, «довольно прост». В обращение выброшены фермерами два миллиарда деньгами для уплаты ренты и на три миллиарда продуктов, из которых $\frac{2}{3}$ состоят из жизненных средств и $\frac{1}{3}$ из сырых материалов; непроизводительным же классом—мануфактурных товаров на 2 миллиарда. Из жизненных средств на сумму 2 миллиарда одна половина поглощается землевладельцами и их свитой, другая половина непроизводительным классом в уплату за его труд. Сырые материалы на сумму 1 миллиард возмещают оборотный капитал того же класса.

Из циркулирующих мануфактурных товаров на 2 миллиарда одна половина достается землевладельцам, другая — фермерам, для которых она является только превращенной формой непосредственно заимствованного из сельскохозяйственного воспроизводства процента на основной капитал. Деньги же, которые фермер выбросил в обращение при уплате ренты, возвращаются к нему путем продажи его продуктов,

так что тот же круговорот может снова совершаться в ближайшем экономическом году.

А теперь полюбуемся на «истинно-критическое» изложение г. Дюринга, столь бесконечно возвышающееся над «обычным легкомысленным изложением». После того, как он пять раз подряд, один за другим, таинственно шепнул нам о том, как прискорбно Кенз оперирует в своей таблице с чисто денежными ценностями, что к тому же оказалось ложным, он приходит, наконец, к выводу, что на вопрос, «что же станет с присвоенным в виде ренты чистым продуктом в народно-хозяйственном круговороте, экономическая таблица может дать только путанный и произвольный ответ, граничащий с мистикой». Напротив, мы видели, что таблица—это столь же простое, как и гениальное для своего времени изображение годичного процесса воспроизводства, как оно совершается через посредство обращения,—очень точно отвечающая на вопрос о том, что делается с этим чистым продуктом в народно-хозяйственном круговороте; так что «мистицизм» и «туманные и произвольные ответы»—эти эпитеты вполне отсылаются к самому г. Дюрингу, как «самая прискорбная сторона» и единственный «чистый продукт» его знакомства с учением физиократов.

В такой же мере, как с теорией физиократов, г. Дюринг оказывается осведомленным и с их исторической ролью. «Вместе с Тюрго,—поучает он нас,—физиократы не имели во Франции никакого значения в теоретическом и практическом отношении». И если затем оказывается, что Мирабо в своих экономических воззрениях являлся, по существу, физиократом, что он был первым экономическим авторитетом в учредительном собрании 1789 года и что, наконец, это собрание в своих экономических реформах перевело из теории в практику большую часть положений физиократов, в частности обложив сильным налогом присвоенный землевладельцами «безвозмещения» чистый продукт, т.-е. земельную ренту,—то, очевидно, г. Дюрингу до всего этого нет никакого дела!

Как прежде г. Дюринг одним росчерком пера упразднил всех предшественников Юма за период 1691—1732 г.г., так теперь он совершенно игнорирует жившего в период между Юмом и Ад. Смитом сэра Джемса Стюарта, ни словом не упоминая в своем «предприятии» о его великом сочинении, которое—уж не говоря об его историческом значении—обогатило область политической экономии новыми исследованиями. Зато г. Дюринг наделяет Стюарта самым крепким словом, заключающимся в его лексиконе, заявляя, что он был «каким-то профессором» времен Адама Смита. Но,—увы!—это сообщение представляет чистую выдумку!

Стюарт на самом деле был крупным шотландским землевладельцем, который за мнимое участие в заговоре династии Стюартов был изгнан из Великобритании и, благодаря долгому пребыванию и путешествиям на континенте, ознакомился близко с экономическими условиями различных стран.

Резюмируем сказанное. Если верить «Критической истории», то все значение прежних экономистов заключалось лишь в том, что они либо дали «зачатки» «решающих», глубоких, основных принципов г. Дюринга, либо же служат образцом превратных суждений. Впрочем, не спорим: и в политической экономии встречаются немногие герои, давшие не только «зачатки», но и «положения», из которых основные принципы могут быть если не «развиты», то «скомпонованы», как это пердписывалось натурфилософией. Таковы, например: «несравненно выдающаяся величина»—Лист, который за благо и пользу немецких фабрикантов раздул в «могучие» слова «более тонкие» меркантилистические учения какого-нибудь Феррье и других; далее, Керн, который истинный источник своей мудрости выразил в таком положении: «система Рикардо есть система раздора»... она ведет к воспитанию классовой вражды... его сочинение является справочной книгой для демагога, стремящегося к власти путем раздела земли, междоусобий и грабежа»; наконец, напоследок Конфуций Лондонского Сипи—Маклеод.

Во всяком случае, для тех, кто хочет изучать историю политической экономии, все-таки полезнее знакомиться с нею по «водянистым продуктам», «плоскостям» и «мешанию» самых ходких компилятивных учебников, чем полагаться на историографию в высоком стиле» г. Дюринга.

Что же получается в результате нашего анализа Дюринговой «самостоятельно созданной системы» политической экономии? Только то, что громкие слова и еще более пышные обещания так же мало оправдались, как и в философии.

Теория ценности, «этот пробный камень годности экономических систем», свелась к тому, что г. Дюринг понимает под ценностью пять самых противоположных предметов, а, следовательно, в лучшем случае, не знает, чего он хочет. С такой помпой возведенные «естественные законы всякого хозяйства» оказались просто хорошо известными, часто даже неверно понятыми, банальностями худшего сорта. Единственное объяснение экономических фактов, даваемое «самостоятельно созданной теорией», состоит в том, что они представляют «результат насилия»,—фраза, которую в течение тысячелетий филистеры всех наций утешают себя в испытываемых бедствиях и которая ни на шаг не подвигает нас вперед. Но, вместо того, чтобы исследовать это насилие в его возникновении и вызванные им следствия, г. Дюринг советует нам с благодарностью успокоиться на одном только слове «насилие», как последней конечной причине и конечном объяснении всех экономических явлений. Вынужденный дать более подробное объяснение капиталистической эксплуатации труда, он то представляет ее покоящейся на обложении податью и надбавках к цене, то присваивает себе Прудоновское «предварительное взимание» (prelevement), чтобы затем, переходя к частностям, объяснить ее посредством Марксовой теории прибавочного труда, прибавочного продукта и прибавочной ценности. Таким образом, он ухитряется счастливо примирить две радикально противоположные теории просто тем, что, не переводя духа, списывает их одну за другой. И если в философии он не находит достаточно ругательств для самого Гегеля, которого он непрестанно эксплуатирует, то и в «Критической истории» самое голословное поношение Маркса служит только для замаскирования того факта, что все, что в «Курсе» имеет хоть какой-нибудь смысл, точно также представляет собою плагиаты из сочинений Маркса. Дюринг, не стеснясь, утверждает в своем «Курсе», что история культурных народов начинается с появлением «крупного землевладельца», и ни словом не упоминает об общей собственности на землю родовых и сельских общин, с которой в действительности начинается всякая история; но это, для нашего времени почти непостижимое невежество, едва ли, впрочем, не презрительно тем невежеством, которое в «Критической истории» любитесь своей «универсальной широтой исторического кругозора» и образцы которого мы привели только в двух-трех поражающих своей нелепостью примерах. Одним словом: сначала колоссальная «затрата» самовосхваления, сопровождаемого базарным рекламированием и пышными обещаниями, а затем—«результат», равный нулю.

Третий отдел.

СОЦИАЛИЗМ.

I. Исторический очерк.

Мы видели во введении¹⁾, как французские философы XVIII века, эти подготовители революции апеллировали к разуму, как к единственному судье всего сущего. Они требовали основания разумного государства, разумного общества; все, что противоречило вечному разуму, следовало устранить без всякой жалости. Мы также видели, что этот вечный разум в действительности был не что иное, как идеализированный рассудок среднего бюргера, в то время только начавшего развиваться в буржуа. Когда же французская революция осуществила это разумное общество, это разумное государство, то новые учреждения, как бы рациональны они ни были по сравнению с прежним строем, оказались далеко не абсолютно разумными. Разумное государство совершенно обанкротилось. «Общественный договор» Руссо нашел свое осуществление в эпохе террора, от которого буржуазия, разочаровавшись в своих политических способностях, искала спасения сначала в развращенной директории, а потом под защитой наполеоновского деспотизма. Провозглашенный вечный мир превратился в бесконечную завоевательную войну. Разумное общество постигла не лучшая участь. Противоположность между богатым и бедным, вместо того, чтоб исчезнуть в потоке всеобщего благоденствия, обострилась, благодаря отмене цехов и других привилегий, перекидывавших мост между богатством и бедностью, и упразднению смягчавших эту противоположность церковных благотворительных учреждений. Расцвет промышленности на капиталистической основе сделал бедность и нищету трудящихся масс одним из жизненных условий существования общества. Число преступлений росло из года в год. Если выступавшие прежде безбоязненно на свет Божий феодальные пороки хоть и не были искоренены, но все же временно отступили на задний план, зато тем пышнее расцветали пороки мещанские, дотоле прозябшие в тиши. Торговля все более и более принимала характер мошенничества. «Братство» революционного девиза проявлялось на деле в каверзах и в зависти, сопровождавших борьбу, вызываемую конкуренцией. Насильственное угнетение заменилось подкупом и, вместо меча, главным рычагом общественной силы стали деньги. Право первой ночи перешло от феодальных господ к буржуазным фабрикантам. Проституция распространилась в неслыханном до того размерах. Самый брак остался, как и был, законом признанной формой, официальным покровом проституции, но, сверх того, он дополнялся широко практикуемым адюльтером. Короче сказать, по сравнению с пышными обещаниями

¹⁾ Ср. «Философия», гл. I.

просветителей, общественные и государственные учреждения оказались карикатурой, вызывавшей горькое разочарование. Недоставало только людей, которые копсатировали бы это разочарование, и они явились с наступлением нового столетия. В 1802 году появились «Женевские письма» Сен-Симона; в 1808 году появился первый труд Фурье, хотя основания его теории относятся еще к 1799 г.; 1 января 1800 г. Роберт Оуэн принял руководство фабрикой в Нью-Ланарке.

К этому времени капиталистический способ производства, а вместе с тем и противоположность классовых интересов буржуазии и пролетариата были очень мало развиты. Крупная промышленность, только что возникшая в Англии, во Франции была еще совершенно неизвестна. Между тем, только крупная промышленность развивает, с одной стороны, конфликты, которые делают настоятельно необходимо преобразование способа производства,—конфликты не только между созданными производством классами, но и между созданными им производительными силами и формами обмена,—и только она, с другой стороны, развивает именно в этих гигантских производительных силах также и средства для разрешения этих конфликтов. Если, следовательно, около 1800 г. соответствующие новому общественному строю конфликты только еще зарождались, то это еще более справедливо относительно средств для их разрешения. Если немущие парижские массы могли во время террора только на один момент завоевать господство, то этим они лишь доказали, как невозможно было это господство при тогдашних отношениях. Пролетариат, который лишь начал выделяться из этих немущих масс, как ядро нового класса, был еще неспособен к самостоятельному политическому действию, и ему, как угнетенному и слабому, в виду его неспособности помочь себе самому, необходима была помощь пзвне, сверху.

Это историческое положение оказало влияние и на основателей социализма. Незрелому состоянию капиталистического производства и незрелому классовому сознанию соответствовали и незрелые теории. Способы решения общественных задач, бывшие неясными в атмосфере неразвитых экономических отношений, пытались отыскать теоретическим путем. Общество представляло одни неурядицы; задачей мыслящего разума было устранить их. Речь шла о том, чтобы изобрести новую совершенную систему общественного порядка и навязать ее обществу пзвне, путем пропаганды, а где возможно, увлечь примером образцовых экспериментов. Эти новые социальные системы были наперед обречены на утопизм; чем более они разрабатывались в частностях, тем более они должны были впадать в чистую фантастику.

Установив это, мы уж не будем более ни на минуту останавливаться на этой, неинком относящейся к истории, стороне дела. Мы можем предоставить литературным мелочным лавочникам à la Дюринг торжественно копаться в этих еще до сих пор занимательных фантазиях и проявлять превосходство своего собственного трезвого мышления над подобным «безумием». Мы предпочитаем наслаждаться гениальными проблесками мысли и идеями первых социалистов, которые, скрытые под фантастической оболочкой, обильно рассеяны в их сочинениях, но не замечены флипстерами.

Сен-Симон уже в своих «Женевских письмах» выставляет положение, что «все люди должны работать». В этом же сочинении он уже высказывает, что господство террора было господством немущих масс. «Взгляните,—обращается он к ним,—что произошло во Франции, когда ваши товарищи господствовали в ней: они вызвали голод». Но рассматривать французскую революцию, как классовую борьбу между дворянством, буржуазией и немущими,—было в 1802 г. весьма гениальным открытием. В 1816 г. он объявляет политику наукой о производстве и предсказывает полное растворение политики в экономии. Если тут только в зародыше обнаруживается понимание того, что экономическое положение есть базис политических учреждений, то все-таки уже ясно выражена идея о превращении политического правления над людьми в управление вещами и в руководство процессом производства; следовательно, еще недавно провозглашенная с необыкновенным шумом и чрезмерно раздутая идея об уничтожении государства была ясно высказана уже Сен-Симоном. Также высоко он

подымается над своими современниками, когда в 1814 г., немедленно по вступлении союзников в Париж, и еще в 1815, во время войны 100 дней,—настаивал на необходимости союза Англии и Франции, а затем этих двух стран с Германией, указывая на это, как на единственную гарантию успешного развития и мира Европы. Проповедывать французам 1815 г. союз с победителями при Ватерлоо,—для этого, во всяком случае, требовалось больше мужества, чем для того, чтоб объявить бумажную войну немецким профессорам.

Если мы находим у Сен-Симона гениальную широту взгляда, благодаря которой у него в зародыше содержатся почти все, хотя и не строго экономические, идеи позднейших социалистов, зато Фурье обнаруживает истинно французски-остроумную и, вместе с тем, глубоко проникновенную критику существующего общественного строя. Фурье ловит на слове буржуазию, ее вдохновенных пророков до-революционной эпохи и ее заинтересованных апологетов позднейшего времени. Он безжалостно разоблачает материальное и моральное убожество буржуазного мира, подвергая критике при этом блестящие обещания просветителей об устройстве нового общества, в котором будет царить только разум, их мечты о цивилизации, которая всех осчастливит, и их трактаты о безграничной способности человека к усовершенствованию, равно как и пышные фразы современных ему идеологов буржуазии; он показывает, как самой громкой фразе везде соответствует самая жалкая действительность, и это безнадежное фиаско фразы он преследует язвительной насмешкой. Фурье не только критик; его веселый характер делает его сатириком и, притом, одним из величайших сатириков всех времен. Столь же мастерски, как и забавно, изображает он разыгравшуюся с падением революции спекуляцию, а также мелочное торгашество, царившее повсюду в тогдашней Франции. Еще более мастерской является его критика буржуазной формы отношений между полами и положения женщины в буржуазном обществе. Он впервые высказывает мысль, что в каждом данном обществе степень эмансипации, достигнутой женщиной, служит естественным мерилom общей эмансипации. Но наиболее замечателен взгляд Фурье на историю общества. Всю историю до новейших времен он делит на 4 периода развития: дикость, варварство, патриархат и цивилизацию, при чем в последнюю включает так называемое буржуазное общество. Он доказывает, что «цивилизация доводит до высшей, сложной, двусмысленной, лицемерной формы» каждый порок, который варварство практикует в простом виде, что цивилизация движется в «прочном кругу», в противоречиях, вечно ею создаваемых заново, не будучи в состоянии их преодолеть, так что всегда достигает противоположного тому, чего хочет достигнуть или тому, что она выдает за цель своих стремлений. Так, например, «в цивилизации бедность возникает из самого избытка». Фурье, как видите, применяет диалектику с таким же мастерством, как и современник его Гегель. С тем же диалектическим искусством он, в виде возрождения на обычную болтовню о неограниченной способности человека к совершенству, подчеркивает, что всякий исторический фазис заключает в себе не только период подъема, но и период упадка. ■ применяет это воззрение также и к будущности всего человечества. Подобно тому, как Кант ввел в естествознание идею о будущей гибели земли, так и Фурье ввел в историческое мировоззрение идею о будущей гибели человечества.

В то время, когда во Франции ураган революции потрясал страну, в Англии происходил медленный, но все-таки не менее могучий переворот. Пар и новые машины превратили мануфактуру в современную крупную промышленность и тем революционизировали все основание буржуазного общества. Валиый ход развития периода мануфактуры сменился периодом настоящих бурь и натиска в производстве. С все растущей быстротой происходило разделение общества на крупных капиталистов и неимущих пролетариев, среди которых владели жалкое существование, вместо прежнего устойчивого сословия, меняющаяся в своем составе масса ремесленников и мелких торговцев, эта наиболее текучая часть населения. Новый способ производства еще находился в самом начале периода своего подъема; еще он представлял собой нормаль-

ный, только и возможный при данных условиях способ производства. Но уже в то время он порождал вопиющие социальные неурядицы: скопление оторванного от родного очага населения в грязных жилищах больших городов; разложение всех традиционных уз происхождения, патриархальных отношений подчиненности и семьи; чрезмерный труд, особенно женщин и детей, в размерах, вызывавших ужас; массовую деморализацию трудящегося класса, внезапно брошенного в совершенно новые условия. В это время выступил реформатором один 29-летний фабрикант, человек с детской, доходившей до возвышенности, простотой характера, который, вместе с тем, обладал талантом выдающегося вожака масс, каких было мало в историю. Роберт Оуэн усвоил себе учение материалистических просветителей о том, что характер человека представляет продукт, с одной стороны, свойственной ему природной организации, а, с другой—условий, окружающих человека в течение его жизни и особенно в период его развития. В промышленной революции большинство товарищей Оуэна по профессии видело только смятение и хаос, пригодные для того, чтобы ловить рыбу в мутной воде и быстро обогащаться. Он же видел в ней удобный повод к тому, чтобы применить к жизни свои любимые идеи и тем самым внести в этот хаос известный порядок. Он уже сделал в этом направлении успешную попытку в Манчестере, в роли управляющего фабрикой с более чем 500 рабочими; а с 1800 г. по 1829 г. он руководил, как заведующий делом пайщик, крупной бумагопрядильней в Нью-Ланарке, в Шотландии, пользуясь большой свободой действия, с успехом, доставившим ему европейскую славу. Из населения этой фабрики, постепенно увеличивавшегося до 2.500 человек и состоявшего сначала из самых смешанных и по большей части весьма деморализованных элементов,—он образовал вполне образцовую колонию, в которой пьянство, полиция, уголовные дела, тяжбы, призрение бедных и потребности в благотворительности были совсем неизвестны. И этого он достиг только тем, что поставил людей в обстановку, достойную человека, и особенно тем, что дал тщательное воспитание подростающему поколению. Он был первым основателем школ для маленьких детей дошкольного возраста. Со второго года жизни дети начинали посещать школу, где чувствовали себя так хорошо, что их с трудом можно было увести отсюда домой. На других конкурентных фабриках работали от 13-ти до 14-ти часов, в Нью-Ланарке же труд продолжался только 10½ часов. Когда хлопчатобумажный кризис принудил Роберта Оуэна к 4-месячной приостановке производства, он продолжал уплачивать бастовавшим рабочим полный заработок. При этом, предприятие удвоило свою ценность и до конца давало своим собственникам значительную прибыль.

Всем этим Оуэн был, однако, недоволен. Положение, которое он создал для своих рабочих, все еще было в его глазах недостойным человека; «эти люди были моими рабами», говорил он; сравнительно благоприятные условия, в которые он их поставил, были еще далеко недостаточны для того, чтобы добиться рационального и разностороннего развития их характера и понятий, уже не говоря о свободной жизнедеятельности. «А между тем, рабочие из этих 2.500 человек совместно производили столько реального богатства для общества, сколько за полстолетие до того едва могло произвести население в 600.000 человек. Я спросил себя: куда делась разница между богатством, потребленным этими 2.500 лицами, и тем, которое должны были потреблять те 600.000 человек»? Ответ был ясен. Эта разница шла на то, чтобы выдавать владельцам предприятия 5% на основной капитал и, сверх того, еще более 300.000 ф. стер. (6.000.000 марок) прибыли. И то, что имело силу для Нью-Ланарка, в еще большей степени можно было отнести ко всем фабрикам в Англии. «Без этого нового, созданного машинами богатства нельзя было бы вынести войны против Наполеона и поддерживать аристократический строй общества. Между тем, эта новая сила была создана трудящимся классом». А потому и плоды примерения новой силы должны принадлежать этому классу. Новые грандиозные производительные силы, которые до сих пор служили только для обогащения отдельных лиц и порабощения масс, представлялись в

глазах Оуэна основой для преобразования общества и для того, чтоб, в качестве общей собственности, служить общему благу.

Таким-то чисто деловым образом возник оуэновский коммунизм, являясь плодом, как бы сказать, купеческого расчета. Тот же практический характер сохранил он и впоследствии. Так, в 1823 году Оуэн предложил уничтожить ирландскую нищету посредством устройства коммунистических колоний, при чем составил подробный расчет издержек ее организации, текущих расходов и предполагаемых доходов. Так же точно и в окончательном его «плане будущего» техническая выработка деталей проведена с таким знанием дела, что, раз признав Оуэнов метод реформирования общества, уж очень немного можно возразить, с деловой точки зрения, против отдельных частностей.

Переход к коммунизму был поворотным пунктом в жизни Оуэна. До тех пор, пока он выступал, как простой филантроп, он познавал одно только богатство, одобрение, почести и славу. Он был популярнейшим человеком в Европе. Не только его товарищи-фабриканты, но и государственные люди и монархи сочувственно прислушивались к его голосу. Но когда он выступил с своими коммунистическими теориями, все переменилось. Три великих препятствия, казалось ему, стояли на пути к реформированию общества: частная собственность, религия и современная форма брака. Нападая на эти учреждения, он знал, что ему предстоит презрение официального общества, потеря социального положения. Но его невозможно было удержать от резкого выступления, и случилось то, что он предвидел. Изгнанный из официального общества, замалчиваемый прессой, разорившись, вследствие неудач коммунистических опытов в Америке, поглотивших все его состояние,—он обратился непосредственно к рабочему классу и в его среде действовал еще 30 лет. Все общественные движения, весь действительный прогресс, осуществившийся в Англии в интересах рабочего класса, связан с именем Оуэна. Так, в 1819 году, после пятилетних усилий он провел первый закон об ограничении женского и детского труда на фабриках. Он же председательствовал на первом конгрессе, объединившем тред-юнионы всей Англии в один громадный союз. Наконец, он организовал в качестве переходной стадии к полному коммунистическому строю общества: с одной стороны, кооперативные общества (производительные и потребительные товарищества), которые с тех пор дали, по крайней мере, практическое доказательство тому, что можно обойтись как без купца, так и без фабрикантов; с другой стороны, базары труда, как учреждения, предназначенные для обмена продуктов труда при посредстве трудовых бумажных денег, принимая за единицу измерения ценности—рабочий час. Эти последние учреждения должны были необходимо потерпеть неудачу, но они предвосхитили идею обменного банка Прудона, отличаясь от него лишь тем, что представляли не универсальную панацею от всех общественных бедствий, но только первый шаг к гораздо более радикальному преобразованию общества.

Таковы те люди, на которых суверенный г. Дюринг взирает с высоты своей «окончательной истины в последней инстанции» с презрением, примеры чему мы привели во введении. И это презрение, в известном смысле, имеет для себя достаточное основание: оно покоится, в сущности, на истинно ужасающем невежестве по отношению к сочинениям трех утопистов. Так, о Сен-Симоне говорится, что «основная его идея по существу была верна, и, если оставить в стороне некоторые односторонности, он и теперь может дать толчок к действительному творчеству». Несмотря, однако, на то, что г. Дюринг действительно, повидимому, держал в своих руках некоторые сочинения Сен-Симона, мы на протяжении всех 27 печатных страниц, которые посвящены ему, напрасно искали бы «основных идей» Сен-Симона, как прежде напрасно искали, что, собственно, «должна означать у самого Кенэ» его экономическая таблица; и, в конце концов, мы должны удовлетвориться фразой о том, что «возражение и филантропический аффект... с соответствующим напряжением фантазии господствовали над всем кругом идей Сен-Симона». У Фурье он знает и рассматривает только

изображенные в романтических деталях фантазии будущего, что, впрочем, «гораздо важнее» для констатирования бесконечного превосходства г. Дюринга над Фурье, чем для исследования того, как последний «мимомходом» пытается критиковать существующий строй». Мимомходом! Ведь почти на каждой странице в его произведениях блещат искры сатиры и критики вопиющих дефектов многопрославленной цивилизации! Это все равно, что сказать, что г. Дюринг только «мимомходом» провозглашает г. Дюринга величайшим мыслителем всех времен! Что же касается двенадцати страниц, посвященных Роберту Оуэну, то для них г. Дюринг не имеет абсолютно никаких других источников, кроме жалкой биографии филистера Сарганта, который, в свою очередь, не знал важнейших сочинений Оуэна о браке и о коммунистическом строе. И только поэтому, вероятно, г. Дюринг осмеливается утверждать, что у Оуэна «нельзя предполагать решительного коммунизма». Во всяком случае, если бы г. Дюринг держал хотя бы в руках «Book of the New Moral World», он нашел бы в этой книге резко выраженным не только самый решительный коммунизм, с равной обязанностью труда и равным правом на продукт, соответственно возрасту,—как всегда прибавляет Оуэн,—но также и вполне разработанную систему устройства коммунистической общины будущего с планами, чертежами и общими замечаниями. Впрочем, если «ценосредственное изучение подлинных сочинений представителей социалистических идей» ограничить, как это делает г. Дюринг, знакомством с заголовками или, в крайнем случае, эпиграфами к немногим из их сочинений, то ничего не остается, как только изрекать подобные плоские или прямо нелепые утверждения. Оуэн не только проповедывал «решительный коммунизм», но он также практиковал его в течение пяти лет (в конце 30-х и начале 40-х г.г.) в колонии Гармони-Голь, в Гемпшире, в которой коммунизм не оставлял желать ничего в смысле радикализма. Я лично знал некоторых бывших участников этого коммунистического эксперимента. Но обо всем этом, как вообще о деятельности Оуэна между 1836 и 1850 годами, Саргант абсолютно ничего не знал, а потому и «более глубокая историография» г. Дюринга остается по этому вопросу в дебрях невежества. Г-н Дюринг называет Оуэна «истинным чудовищем филантропической навязчивости». И хотя тот же г. Дюринг рассказывает нам о содержании книг, с которыми он едва знаком по заголовкам и эпиграфам, мы все-таки остерегаемся, в свою очередь, сказать, что он сам представляет «во всех отношениях истинное чудовище филантропической навязчивости», так как в наших устах это будет названо «руганью».

Утописты, как мы видели, были утопистами потому, что они не могли быть ничем иным в эпоху, когда капиталистическое производство было еще так слабо развито. Они припуждены были конструировать элементы нового общества из своей головы. Либо эти элементы еще не вырисовывались ясно для всех в недрах самого старого общества; набрасывая план нового здания, они были принуждены ограничиваться обращением к разуму, так как они еще не могли апеллировать к современной им истории. Если же теперь, почти через 80 лет после их выступления, г. Дюринг появляется на сцене с претензией вывести «руководящую» систему нового общественного строя не из наличного исторически развивавшегося материала, как его необходимый результат, а из своей суверенной головы, из своего чреватого окончательными истинами разума, то он, который повсюду чует эпитетов, сам является только эпитетом утопистов,—новейшим утопистом. Он называет утопистов «социальными алхимиками». Пусть так. Алхимия в свое время была необходима. Но с тех пор крупная промышленность развивалась скрывающаяся в капиталистическом способе производства противоречия в столи. вопиющие антагонизмы, что приближающийся крах этого способа производства может быть, так сказать, нащупан руками. Новые производительные силы могут сохраниться и развиваться далее лишь при введении нового, соответствующего их нынешней стадии развития способа производства. Постоянная борьба между двумя классами, созданными существующим способом производства, порождающим все большее и большее обострение классовых отношений,—охватила все цивилизованные страны и разгорается с каж-

дым днем, так что, наконец, уже достигнуто понимание этого исторического процесса и условий ставшего, благодаря ему, необходимым социального преобразования, а также и главных характерных свойств последнего. Если г. Дюринг и теперь фабрикует «утопию» нового общественного строя не из наличного экономического материала, а извлекает ее просто из своего высочайшего черепа, то далеко недостаточно сказать, что он занимается «социальной алхимией». Нет, он поступает хуже, чем тот, кто после открытия законов современной химии вздумал бы воскресить старую алхимию и пожелал бы воспользоваться атомным весом, молекулярными формулами, валентностью атомов, кристаллографией и спектральным анализом для открытия философского камня.

II. Очерк теории.

Материалистическое понимание теории исходит из того положения, что производство, а на ряду с ним и обмен продуктов, составляют основу всякого общественного строя, что в каждой исторической форме общественной жизни распределение продуктов, а вместе с ним и социальное расчленение на классы или сословия, происходит соответственно тому, что и как производится и как производимое обменивается. Вследствие этого, основные причины всех общественных изменений и политических переворотов нужно искать не в головах людей и не в их исторически меняющемся понимании вечной правды и справедливости, но в изменении способа производства и обмена; их нужно искать не в философии, а в экономике каждой данной эпохи. Возникающее сознание, что существующие общественные учреждения неразумны и несправедливы, что то, что считалось разумным, бессмысленно и, наконец, то, что признавалось благодеянием, приносит лишь вред,—все это является симптомом того, что в способах производства и в формах обмена, хотя и незаметно, произошли такие изменения, которым уже не соответствует основанный на прежних экономических условиях общественный порядок. Из такого понимания истории само собою вытекает положение, что средства для устранения обнаружившихся недостатков должны существовать в самих производственных отношениях, в их более или менее развитой форме. Эти средства не ищутся из головы, но отыскиваются посредством головы в наличных материальных условиях производства.

Что же можно сказать, исходя из только что сказанного, о современном социализме?

Существующий общественный строй—это стало уже почти общим местом—создан господствующим классом—буржуазией. Присущий буржуазии способ производства, называемый со времени Маркса капиталистическим способом производства, был несовместим с местными и сословными привилегиями, а также с крепостными оковами феодального порядка; буржуазия разрушила последний и создала на его развалинах буржуазный общественный строй, царство свободной конкуренции, свободу передвижения, равноправность товаровладельцев и все прочие буржуазные прелести: капиталистический способ производства мог теперь свободно развиваться. Созданные при господстве буржуазии производительные силы развились с неслыханной быстротой и в неслыханных размерах с того момента, когда, благодаря пару и машинам, прежняя мануфактура превратилась в крупную индустрию. Но как в свое время мануфактура и развившееся под ее влиянием ремесло вступили в конфликт с феодальными цеховыми оковами, так и крупная индустрия в своем полном развитии приходит в столкновение с теми границами, в которых держит ее капиталистический способ производства. Уже теперь новые производительные силы значительно переросли буржуазную форму их эксплуатации, и народившийся конфликт между производительными силами и способом производства не является просто мыслимым противоречием, возникшим в людских головах, как, например, конфликт между первородным человеческим грехом и божественною справедливостью; нет, он существует в действительности, объективно, вне нас

и независимо от воли и желания самих людей, которые его создали. Современный социализм есть не что иное, как умственное отражение этого материального конфликта, его идеальное выражение в головах именно того класса, который непосредственно от него страдает,—рабочего класса.

В чем же состоит этот конфликт?

До появления капиталистического производства, именно в средние века, существовало повсеместно мелкое производство на основе частной собственности работника на его средства производства: земледелие мелкого свободного или крепостного крестьянина и ремесло в городах. Орудия труда: земля, сельскохозяйственные орудия, мастерские, ручные орудия ремесленника, были средствами труда каждого отдельного человека, рассчитанными только для единичного употребления, для мелкого, кустарного, весьма ограниченного хозяйства. Они принадлежали, поэтому, обыкновенно, самим производителям. Скоординировать эти разрозненные мелкие средства производства, расширить, превратить их в могучий современный производительный рычаг,—это была настоящая историческая задача капиталистического способа производства и его представительницы—буржуазии. О том, как она выполнила эту задачу, начиная с XV-го ст., как производство прошло три ступени исторического развития—простой кооперации, мануфактуры и крупной индустрии—изложено обстоятельно Марксом в 4-й гл. его «Капитала». Но буржуазия не могла, как известно, сделать мелкие орудия труда могучими двигателями производительной силы, не превратив их из орудий отдельных личностей в орудия общественные, годные для применения к массовой работе. На место ручной прялки, ручного ткацкого станка, ручного молота—появились прядильная машина, механический ткацкий станок, паровой молот; на место отдельных мастерских—фабрика, объединяющая сотни, тысячи таких мастерских. Вместе с средствами производства и само производство превратилось из ряда функций отдельных личностей в ряд общественных, а продукты отдельных личностей—в общественные продукты. Пряжа, ткани, металлические товары—это теперь продукты фабричного производства, вырабатываемые общим трудом многих рабочих, через руки которых они должны пройти прежде, чем быть готовыми. Никто из рабочих не может сказать: это сделал я, это мой продукт.

Но там, где естественно развившееся разделение труда внутри общества является основной формой производства, там продукты принимают форму товаров, взаимный обмен которыми, купля и продажа, устанавливает известное определенное соотношение между отдельными производителями и дает им возможность удовлетворять свои разнообразные потребности. Так и было в средние века. Крестьянин, например, продавал сельскохозяйственные продукты ремесленнику и покупал, взамен этого, продукты ремесленника. Затем, в это общество единичных производителей, производителей товаров, проник новый способ производства. Вместо естественного, лишенного плана разделения труда, господствовавшего во всем обществе, явилось планомерное разделение труда, организованное на каждой отдельной фабрике; на ряду с мелким производством явилось общественное производство. Продукты обоих сначала продавались на одном и том же рынке приблизительно по одинаковой цене. Но планомерная организация была сильнее, чем естественно развившееся разделение труда, и очень скоро фабрики стали, поэтому, продавать продукты своего общественного труда дешевле, чем разрозненные мелкие производители. Мелкое производство вытеснялось из одной области вслед за другой; общественное производство революционизировало таким образом весь прежний способ производства. Но его революционный характер был так мало создаваем, что новый способ производства вводили, напротив, для поднятия и усовершенствования прежнего товарного производства. Оно и понятно, так как этот способ производства развивался в прямой зависимости от определенного уже бывшего налицо рычага производства и обмена товаров: торгового капитала, ремесла и наемного труда. Хотя общественное производство явилось, как новая форма

товарного производства, по для него остались в полной силе формы присвоения, присущие старому способу товарного производства.

При товарном производстве, как оно существовало в средние века, не могло быть вопроса о том, кому должен принадлежать продукт труда. Единичный производитель обрабатывал обыкновенно принадлежавший ему, часто самостоятельно произведенный, сырой материал — собственными орудиями труда, обыкновенно ручным трудом или трудом своей семьи. Ему не было надобности присваивать этот продукт, эа принадлежал ему самому. Право собственности на продукт покоилось, таким образом, на собственном труде. Если даже где и применялся чужой труд, то он играл обыкновенно побочную роль, и наемный рабочий в этом случае получал кроме заработной платы, еще другое вознаграждение; так, ремесленный ученик и подмастерье работали не только ради пропитания и платы, но и для обучения мастерству. Вместе с концентрацией средств производства в крупных мастерских и мануфактурах был заложен фундамент обобществления средств производства. Но эти обобществленные средства производства, а также продукты труда продолжали играть ту же роль, как и раньше, когда средства производства и продукты принадлежали отдельным единичным хозяевам. До этого владелец средств производства присваивал себе продукты потому, что они, по общему правилу, были продуктами его труда, а чужой вспомогательный труд был исключением; теперь же владелец средств производства продолжает присваивать себе продукты, хотя они и были произведены не его трудом, но исключительно чужим. Таким образом, общественно-производимые продукты стали присваиваться не теми, кто действительно приводил в движение средства производства и создавал продукты, а капиталистами. Средства производства и самое производство сделались по существу общественными, по к ним применялась форма присвоения, которая основана на частном производстве единичных личностей, когда каждый владеет своим собственным продуктом и выносит его на рынок для обмена. Способ производства подчинился этой форме присвоения, хотя он и подрывает ее¹⁾. В этом противоречии, которое придает новому способу производства его капиталистический характер, заключается в зародыше вся коллизия современности. Чем больше новый способ делается господствующим во всех важнейших отраслях производства и во всех экономически первенствующих странах и, вместе с тем, вытесняет мелкое производство до незначительных остатков, — тем ярче делается с каждым днем усиливающееся несоответствие общественного производства с капиталистической формой присвоения.

Первые капиталисты, как замечено выше, нашли форму наемного труда уже готовой. Но наемный труд был исключением, побочным делом, вспомогательным трудом, существовавшим еще в качестве переходной формы. Прежде, сельскохозяйственный рабочий, который время от времени занимался поделным трудом, имел обыкновенно два морга земли, доходами с которой он мог кое-как существовать. Цеховые уставы заботились о том, чтобы ученик мог сделаться впоследствии мастером. Но как только средства производства превратились в общественные и сконцентрировались в руках капиталистов, все это изменилось. Средства производства и продукты мелких единичных производителей все более и более обесценивались; последним ничего более не оставалось, как продавать свою рабочую силу капиталистам. Наемный труд, бывший прежде исключением, вспомогательным средством, сделался теперь правилом и основ-

¹⁾ Здесь не приходится подчеркивать то обстоятельство, что хотя форма присвоения и осталась тою же самой, но самый характер присвоения подвергся не менее производства, революционизирующему действию вышеописанного процесса. Присваивая ли я продукт собственного труда или продукт чужого труда, — это, конечно, два разные вида присвоения. Замечу мимоходом, что наемный труд, в котором в зародыше покоится весь капиталистический способ производства, уже очень стар; в отдельных проявлениях он существовал целые века наряду с рабством. Но явиться фактором капиталистического способа производства он мог лишь тогда, когда была создана определенная историческая конъюнктура.

ной формой всего производства; из побочного занятия он сделался теперь исключительным средством существования рабочего. Временный наемный труд превратился в постоянный. Количество постоянных наемных рабочих колоссально увеличилось, благодаря перевороту, одновременно происшедшему в феодальном строе, — упразднению феодальной дворян, изгнанию крестьян с их земельных участков и т. д. Возникла резкая противоположность: с одной стороны, капиталисты, в руках которых сконцентрировались все средства производства, с другой стороны, производители, не имеющие ничего, кроме своей рабочей силы. Противоречие между обобществленным производством и капиталистическим присвоением его продуктов проявилось в форме антагонизма между пролетариатом и буржуазией.

Мы видели, что капиталистический способ производства внедрился в общество товаропроизводителей, состоявшее из единичных производителей, между которыми общественная связь выражалась в обмене продуктов. Но каждое общество, покоящееся на товарном производстве, имеет ту особенность, что в нем производители теряют власть над своими собственными общественными отношениями. Каждый производит для себя, своими случайными средствами производства и для удовлетворения своих индивидуальных потребностей посредством обмена своих продуктов на продукты чужого труда. Никто не знает, какое количество его продуктов попадает на рынок, какое количество их будет вообще потреблено, никто не знает, существует ли действительная потребность в его продукте, будут ли его издержки покрыты и будет ли он вообще продан. Господствует анархия общественного производства. Но товарное производство, как и всякая другая форма производства, имеет свои собственные, присущие ему, неотделимые от него законы, и эти законы, несмотря на анархию, действуют в области производства. Они проявляются в единственной сохраняющейся общественной связи — в обмене и обнаруживают свое действие по отношению к единичным производителям, как принудительные законы конкуренции. Вначале они даже неизвестны этим производителям и выясняются им только путем долгого опыта. Они проявляются, таким образом, без участия производителей и помимо их воли, как слепо действующие законы, присущие форме производства. Продукт господствует над производителями.

В средневековом обществе, особенно в первых веках, производство было, по существу, приурочено для собственного потребления. Оно удовлетворяло только потребностям производителя и его семьи. Где, как в земледелии, существовали отношения личной зависимости, оно имело целью также удовлетворение потребностей феодальных господ. В виду этого, не существовало никакого обмена, и поэтому продукты не имели характера товаров. Семья крестьянина производила почти все, в чем она нуждалась: орудия и одежду так же, как и жизненные средства. И лишь в тех случаях, когда ей удавалось произвести излишек над собственным потреблением и обязательными натуральными податями феодальному господству, только тогда производились товары: этот излишек пускался в общественный обмен, предлагался для продажи, делался товаром. Городские же ремесленники, наоборот, уже с самого начала должны были производить для обмена. Но и они удовлетворяли большую часть своих потребностей сами: они имели сады и маленькие поля, они пасли свой скот в общественных лесах, которые доставляли им также необходимое топливо; женщины пряли лен и шерсть и т. д. Производство с целью обмена, товарное производство — было только в зачатке. Необходимым следствием этого было незначительное развитие обмена, ограниченный рынок, неподвижный способ производства, местная замкнутость от внешнего мира и местная сплоченность внутри, — марка в деревне, пех в городе.

Но с расширением товарного производства, особенно с появлением капиталистического способа производства, стали сказываться яснее дремавшие до сих пор законы товарного производства и их действие сделалось более могучим. Прежние связи ослабли, старые резкие границы производства исчезали, производители превращались все более и более в независимых, обособленных товаропроизводителей. Анархия общественного

производства выступила наружу и стала принимать все более и более крайний характер. Но главное орудие, посредством которого капиталистический способ производства усилил господствующую анархию в общественном производстве, было на самом деле прямой противоположностью такой анархии, — это растущая организация производства, в смысле его обобществления в каждой отдельной мастерской. Таким образом был положен конец старой устойчивости отношений. Во всех отраслях производства, где применялся новый способ, он не терпел на ряду с собой старых методов. Там, где он завладел ремеслом, ремесло исчезло. Поле труда сделалось полем борьбы. Великие географические открытия и следовавшая за ними колонизация расширили области сбыта и ускорили превращение ремесла в мануфактуру. Разгоревшаяся борьба между отдельными местными производителями разрослась затем в национальные и в торговые войны XVII и XVIII ст. Наконец, крупная индустрия и расширение мирового рынка сделали борьбу всемирной и в то же время придали ей неслыханно жестокий характер. В борьбе между отдельными капиталистами, как между целыми отраслями производства и целыми странами, вопрос о существовании решается или естественными преимуществами или созданными условиями производства. Победивший беспощадно устраняется. Это — дарвиновская борьба за существование, перенесенная с усиленною яркостью из природы в общество. И, с точки зрения естественного закона животного царства, это является высшею ступенью процесса развития человечества. Противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением проявляется, как противоположение между организацией производства в отдельной фабрике и анархией производства во всем обществе.

Капиталистический способ производства движется в этих двух формах противоречия, присущих ему и обусловленных причинами его собственного происхождения, — в том безвыходном «порочном круге», на который указал еще Фурье. Но Фурье в свое время не мог еще заметить того, что этот круг постепенно суживается, что движение представляет собою скорее спираль и может закончиться, как у планет, только столкновением с центром. Это — движущая сила общественной анархии производства все более и более превращает огромное большинство людей в пролетариев, но им же и суждено положить конец анархии производства. Та же движущая сила общественной анархии производства, при беспредельной способности машин к усовершенствованию, принуждает каждого отдельного капиталиста вводить усовершенствованные машины в своем производстве под страхом гибели. Но усовершенствование машин сокращает применение человеческого труда. Если введение и увеличение количества машин приводит к замене миллионов ручных рабочих немногими лицами, работающими при машинах, то улучшение машин, в свою очередь, знаменует вытеснением с фабрик лиц, работающих при помощи машин, и, кроме того, влечет за собою появление чрезвычайно многочисленной, превышающей среднюю потребность капитала, массы наемных рабочих, выделяющих из себя излишек рабочих сил, — эту промышленную резервную армию, как я ее назвал уже в 1845 г.¹⁾, армию, которую эксплуатирует капитал в то время, когда промышленность процветает, и которая выбрасывается затем на мостовую в неизбежно следующий за таким периодом кризис, — армию, являющуюся всегда свинцовой гирей на ногах рабочего в его борьбе за существование с капиталистами, которые пользуются ею для понижения рабочей платы до соответствующего потребностям капитала низкого уровня. Можно выразиться словами Маркса, что машина делается могущественным орудием борьбы капитала против рабочего класса, что орудие труда беспрестанно вырывает из рук рабочего средства существования, что собственный продукт рабочего превращается в орудие его порабощения. Таким образом, экономия в орудиях труда приводит к беспощадному расточению рабочей силы и к хищническому истреблению нормальных предпосылок трудовой деятельности: ма-

¹⁾ «Положение рабочего класса в Англии», стр. 109.

шина, это наиболее могучее средство для сокращения рабочего времени, превращается, в действительности, в жестокое орудие для превращения жизни рабочего и его семьи в простое средство для увеличения капитала, причем чрезмерный труд одного становится непосредственной причиной безработицы другого. Крупное производство, гонящееся по всему земному шару за новыми потребителями, у себя дома ограничивает потребление масс голодным минимумом и этим самым подрывает свой собственный внутренний рынок. «Закон, по которому относительный избыток населения, или промышленная резервная армия, находится постоянно в равновесии с размером и силой накопления капитала, — этот закон и приковывает рабочего к капиталу крепче, чем молот Гефеста приковал Прометея к скале. Этот закон обуславливает развитие нищеты, соответствующее накоплению богатства. Накопление богатства на одном полюсе производит в то же время на другом, т.-е. на стороне класса, производящего свой собственный продукт в виде капитала, ему не принадлежащего, — развитие нищеты, чрезмерного труда, рабства, невежества, одичания и нравственного вырождения». (Маркс, «Капитал», т. I). Ждать от капиталистического способа производства другого рода распределения продукта значило бы желать, чтобы электроды батареи оставили воду неразложившей при соприкосновении ее с батареей и чтобы на положительном полюсе не образовалось кислорода, а на отрицательном — водорода.

Мы видели, как доведенная до крайних пределов способность улучшения новейших машин создает, благодаря анархии производства в обществе, принудительный закон для отдельных капиталистов, требующий от них постепенного улучшения их машин, повышение их производительной силы, а, следовательно, и фактического расширения производства. Чрезвычайная способность крупной индустрии к расширению, в сравнении с которой таковая же возможность газа есть поистине детская забава, выступает теперь перед нами, как потребность в количественном и качественном расширении, которая как бы игнорирует все встречающиеся на ее пути противодействия. Противодействие расширению производства образуется потреблением и сбытом товаров, — рынками для продуктов крупной индустрии. Способность расширения рынков, экстенсивного и интенсивного, подчиняется совершенно другим, гораздо менее энергично действующим законам. Расширение рынка не может идти в ногу с расширением производства. Коллизия становится неизбежной, и так как она не может привести ни к какой развязке до тех пор, пока она не разрушит самый капиталистический способ производства, то она становится периодической. Капиталистическое производство порождает новый «порочный круг»..

В самом деле, с 1825 г., когда разразился первый всеобщий кризис, через каждые десять лет весь промышленный и коммерческий мир, производство и обмен всех цивилизованных народов, в том числе и зависимых от них более или менее варварских племен, — переживает критическое положение. Обращение останавливается, рынки переполняются, продукты лежат массами без покупателей, наличные деньги исчезают из обращения, кредит приостанавливается, фабрики безмолвствуют, рабочие массы нуждаются в средствах существования, потому что они произвели слишком много этих средств, банкротство следует за банкротством, аукционы за аукционами. Годами продолжается застой, производительные силы, как и продукты, растрачиваются и разрушаются массами, пока наконец, пагроможденные горы товаров, благодаря большому или меньшему обесценению их, не сбываются; тогда производство и обмен мало-помалу вновь становится на ноги. Затем, постепенно ход промышленности ускоряется, переходит в рысь, промышленная рысь в галоп, а последний, в свою очередь, в педобузданный карьер полной промышленной, коммерческой, кредитной и спекулятивной скачки с препятствиями; но, в конце-концов, эта скачка, после самых головокружительных прыжков, приводит промышленность вновь — к пропасти краха. И так далее, начиная с начала. С 1825 г. мы пережили 5 кризисов, и в данный момент (1877 г.) переживаем его в 6-й раз. Характер этих кризисов уже резко определился, и Фурье не

ошибся, когда он назвал метко первый из них *crise pléthorique* — кризисом изобилия.

В кризисах находит себе крайнее выражение противоречие между обобществленным производством и капиталистическим присвоенным. Товарное обращение моментально прекращается; средства обращения, депши, делаются препятствием к обращению; все законы товарного производства и товарного обращения становятся на голову. Экономическая коллизия достигает своего апогея: способ производства восстает против способа обмена, производительные силы — против способа производства, который их создал.

То обстоятельство, что общественная организация производства внутри отдельных фабрик развилась до такой степени, что делается несовместимой с развивающейся рядом с нею анархией производства в обществе, — это обстоятельство делается осязательным и для самих капиталистов, благодаря сильной концентрации капиталов, совершающейся во время кризисов, вследствие разорения многих крупных и, еще более, мелких капиталистов. Весь механизм капиталистического способа производства перестает функционировать под тяжестью им самим порожденных производительных сил. Он не может всю массу средств производства превратить в капитал. Они лежат без употребления и именно поэтому промышленная резервная армия должна оставаться безработной. Средства производства, средства существования и предлагающие свои руки рабочие, — все элементы производства и всеобщего богатства находятся налицо в изобилии; но именно «это изобилие делается источником нужды и недостатка» (Фурье), препятствуя превращению средств производства в капитал. В капиталистическом обществе средства производства не могут быть пущены в дело, не превратившись предварительно в капитал, в средство эксплуатации человеческой рабочей силы. Как призрак, стоит между рабочими, с одной стороны, и средствами производства и существования, с другой, — необходимость капитализации последних. Она одна препятствует соединению вещественных и личных двигателей производства; она одна не дает средствам производства рационально функционировать, а рабочим — работать и жить. Таким образом, во-первых, капиталистический способ производства доказывает собственную неспособность к дальнейшему управлению производительными силами; и, во-вторых, эти производительные силы сами требуют с возрастающей энергией устранения противоречия, освобождение их от капитализма и фактического признания их, как общественных производительных сил. Именно это противодействие, оказываемое могущественно развившимися производительными силами их капиталистическому характеру, и все растущая необходимость признания за ними роли общественного фактора, — все это более и более вынуждает самый класс капиталистов обращаться с ними, как с общественными производительными силами, поскольку это возможно внутри капиталистических отношений. Периоды промышленного подъема с их бесграничной кредитоспособностью так же, как и кризисы, благодаря столкновению крупных капиталистических предприятий, ведут к тем формам обобществления громадных масс средств производства, которые выступают теперь в различных видах акционерных обществ. Многие из производительных учреждений и средств сообщения сами по себе уже так грандиозны, как, напр., железные дороги, что исключают всякую другую форму капиталистической эксплуатации, кроме акционерной. Но на известной ступени развития и эта форма становится более не по силам капиталистам, и официальный представитель капиталистического общества, государство, вынуждено брать на себя управление производством¹⁾. Эта необходимость перехода в

¹⁾ Я говорю: вынуждено. Ибо только в том случае, если средства производства или сообщение фактически переросли форму акционерных обществ, так что переход их в руки государства стал экономически неизбежен, только в этом случае подобный переход даже в руки современного государства означает экономический прогресс, подъем на новую ступень, подготовляющую переход всех производительных сил в ведение общества. Между тем, в последнее время, с тех пор как Бисмарк бросился на путь «огосударствления», по-

государственную собственность некоторых крупных учреждений прежде всего сказалось относительно таких предприятий, как почта, телеграф и железные дороги.

Если кризисы показали неспособность буржуазии к дальнейшему управлению современными производительными силами, то превращение производительных учреждений и средств сношений в акционерные общества и государственную собственность обнаруживает ненужность буржуазии для этой цели. Все общественные функции капиталистов выполняют в таких случаях состоящие на жалованье служащие. Капиталист не выполняет уже никакой общественной функции, кроме собирания доходов, отрезывания купонов и игры на бирже, где различные капиталисты вырывают друг у друга капиталы. Как раньше капиталистический способ производства теснил рабочих, так как он теснит теперь и капиталистов, отбрасывая их, как и рабочих, в массу излишнего населения, хотя еще и не в промышленную резервную армию.

Но ни акционерные общества, ни государственная собственность не уничтожают капиталистического характера производительных сил. Относительно акционерных обществ это ясно без пояснений. Современное же государство представляет собою лишь организацию, созданную буржуазным обществом, с целью защищать все формальные условия капиталистического способа производства против посягательства как рабочих, так и отдельных капиталистов; оно даже и с формальной стороны является по существу капиталистической машиной, государством капиталистов, идеальным представителем всех общих интересов капитализма. Чем более оно забирает в свои руки производительные силы, тем более оно становится действительным капиталистом и резко выступает в роли эксплуататора граждан. Рабочие остаются наемниками, пролетариями, капиталистические отношения не уничтожаются, а обостряются. Но достигнув высшей степени обострения, эти отношения совершенно преобразуются. Государственная собственность на производительные силы не является орудием, пригодным для устранения существующего конфликта, но она скрывает в себе формальное средство, ключ к этому устранению.

Это устранение может произойти только тогда, когда общественная природа современных производительных сил будет действительно признана и когда, таким образом, способы производства, присвоения и обмена придут в согласие с общественным характером средств производства. А это станет возможным только тогда, когда общество открыто, без всяких колебаний овладеет производительными силами, управление которыми сделается невозможным при помощи какого-либо другого способа. Вместе с тем, общественный характер средств производства, который теперь направлен против самих производителей и периодически нарушает ход производства и процесс обмена, проявляясь, как слеподействующий закон природы, насильственно и разрушительно, — этот общественный характер средств производства будет с полным сознанием проявлен производителями и превратится из фактора разрушения и периодических катастроф в могущественный рычаг развития производства.

явился известного рода лже-социализм, там и сам вырождающийся даже в своего рода холопство, который объясняет, без дальнейших рассуждений, социалистическим всякий переход коммерческих предприятий в руки государства, даже переход à la Бисмарк. Таким образом если бы государственная монополия выделки табака была делом социалистическим, то Наполеона и Меттерниха можно было бы причислить к основателям социализма. Если бельгийское государство по совершенно обыденным финансовым и политическим соображениям взяло на себя постройку главных железных дорог или если Бисмарк без всякой экономической необходимости перевел в руки государства главные ж.-д. ветви Пруссии, с единственной целью лучше приспособить их на случай войны, превратить железнодорожный служебный персонал в стадо, голосующее в пользу правительства, а главное, чтоб создать себе новый источник дохода, не зависящий от парламентских постановлений, — то все это ни в каком смысле, ни сознательно, ни бессознательно, ни прямо, ни косвенно не представляет шага по пути к социализму. Иначе пришлось бы счесть за социалистические учреждения королевский торговый флот, королевскую фарфоровую фабрику и даже ротные швабры в армии.

Силы, действующие в обществе, проявляются совершенно так же, как и силы природы: слепо, насильственно и разрушительно до тех пор, пока мы их не знаем и, поэтому, не можем ими управлять. Но раз мы их узнали, поняли их действие, их направление и их влияние, — тогда уже от нас зависит все более и более подчинять их своей воле и посредством этого достигать своих целей. Это положение особенно применимо к современным могучим производительным силам. Пока мы упорно отказываемся понять их природу и их характер — а этому пониманию противится капиталистический способ производства и его защитники — до тех пор эти силы действуют, не смотря на нас, против нас, и подчиняют нас своему господству, как это мы подробно изложили выше. Но раз мы проникли в их семейства, мы можем превратить их в руках ассоциированных производителей из демониических господ в покорных слуг.

Таково различие между разрушительной силой электричества в блеске молнии и укрощенным электричеством, применяемым в телеграфе и в освещении, или различие между пожаром и огнем, действующим в интересах человека. Когда организуется сознательное и разумное пользование современными производительными силами, согласно выясненным их свойствам, общественная аппаратура производства сменится общественно-планомерным его регулированием, сообразно потребностям всех и каждого в отдельности; вместе с тем, капиталистический способ присвоения, порабощающий сначала производителей, а затем и присвоителей продуктов их труда, заменится формой присвоения, основанной на природе самих современных средств производства: с одной стороны, непосредственно-общественным присвоением, как средством для поддержания и расширения производства, а, с другой стороны, непосредственным индивидуальным присвоением, как средством существования и наслаждения.

Превращая все большую и большую массу населения в пролетариев, капиталистический способ производства создает и силу, которая должна совершить этот переворот под страхом собственной гибели. Вынуждая все более и более к превращению крупных обобществленных средств производства в государственную собственность, он сам указывает путь к совершению этого переворота.

Пролетариат овладеет государственной властью и превратит средства производства в государственную собственность. Но, вместе с тем, он прекратит и свое собственное существование как пролетариат, и уничтожит все классовые различия и классовые противоречия, а также и государство, как таковое. До сих пор существовавшее, основанное на классовых противоречиях общество нуждалось в государстве, как в организации, созданной эксплуатирующими классами для поддержания внешних условий производства и для насильственного угнетения и сдерживания эксплуатируемых классов в условиях данного способа производства (рабство, крепостничество и наемный труд). Государство было официальным представителем всего общества, формой его сплочения в обязательное целое, по оно играло такую роль лишь постольку, поскольку было государством того класса, который сам в данное время представлял собою все общество: в древние времена — государством граждан-рабовладельцев, в средние века — государством феодалов, в наше время — государством буржуазии. Когда же оно, наконец, сделается действительно представителем всего народа, оно само станет излишним. Как скоро ни один общественный класс не будет находиться в угнетенном положении, как скоро с классовым господством и основанной на современной анархии производства борьбой за личное существование и со всеми вытекающими отсюда коллизиями и эксцессами будет покончено, — тогда уже не будет никакой надобности в такой репрессивной силе, как государство. Первый акт, в котором государство явится действительным представителем всего общества в момент завладения средствами производства от имени общества, — он будет в то же время и его последним самостоятельным актом, как государства. Вмешательство государственной власти в общественные отношения станет все более излишним в одной области за другой, и само собой прекратится. Вместо управления личностями, организуется управление вещами и процессом производства. Государство не

«упраздняется», оно умирает. С этой точки зрения и надо оценивать фразу «о свободном народном государстве», как имеющую временное агитационное значение, но совершенно несостоятельную в смысле научном; она же дает точку опоры для рассмотрения и обсуждения требования анархистов, чтобы государство не сегодня-завтра было уничтожено.

С тех пор, как возник капиталистический способ производства, идея перехода всех средств производства в руки общества часто представлялась более или менее неясно отдельным личностям и целым сектам, как идеал будущего. Этот идеал стал возможным и мог сделаться исторической необходимостью лишь тогда, когда появились материальные условия для его осуществления. Как всякий другой общественный прогресс, переход всех средств производства в руки общества становится осуществимым не благодаря развившемуся пониманию того, что существование классов противоречит справедливости, равенству и т. д., но благодаря одному только желанию уничтожить эти классы, но благодаря известным новым экономическим условиям. Разделение общества на эксплуатирующий и эксплуатируемый классы, на господствующий и подчиненный, было необходимым следствием прежнего недостаточного развития производства. Пока совокупный общественный труд давал лишь немного более того, сколько необходимо было для существования всех, пока, следовательно, труд отнимал все или почти все время у громадного большинства членов общества, до тех пор это общество необходимо делилось на классы. На ряду с этим, поглощенный исключительно трудом, огромным большинством населения образовался освобожденный от непосредственно производительного труда класс, который брал на себя заботу об общих нуждах общества: заведывание работой, государственные обязанности, юстицию, науку и искусство и т. д. Закон разделения труда образует, таким образом, основу классового разделения. Но это не препятствует тому, чтобы это разделение на классы совершалось при помощи насилия, хищения, коварства и обмана и чтобы господствующий класс, раз он стоит у кормила правления, не упускал случая укреплять свое господство за счет рабочего класса и превращать управление общественными делами в эксплуатацию масс.

Но если, поэтому, разделение на классы имеет известное историческое оправдание, то лишь для данного периода, для данных общественных условий. Оно основывается на недостаточном развитии производства, и, вследствие этого, может быть совершенно устранено только при полном развитии современных производительных сил. В самом деле, уничтожение общественных классов имеет необходимой предпосылкой такую степень общественного развития, на которой существование не только того или другого определенного господствующего класса, но и господство какого-либо класса вообще, а следовательно и самых классовых противоречий, делается анахронизмом, устаревает. Таким образом, его предпосылкой является высшая степень развития производства, на которой присвоение особым классом в обществе средств производства и продуктов и вместе с тем, политического господства, монополии образования и умственного руководства, не только делается излишним, но и станет тормозом на пути экономического, политического и интеллектуального развития. Эта высота развития уже достигнута в настоящее время. Политическое и интеллектуальное банкротство буржуазии едва ли для нее самой является тайной, а ее экономическое банкротство повторяется правильно каждое десятилетие. При каждом кризисе общество задыхается под тяжестью своих собственных, не находящих применения производительных сил и продуктов и беспомощно стоит пред этим абсурдным противоречием, смысл которого заключается в том, что производителям нечего потреблять, потому что не хватает потребителей. Эластичность средств производства требует уничтожения оков, которые налагает на них капиталистический способ производства. Освобождение средств производства от этих оков является единственным предварительным условием непрерывного все ускоряющегося прогрессивного развития производительных сил, а, следовательно, на практике — и условием бесграничного возрастания самого производства. Но этого недостаточно. Общественное присвоение средств производства

устранит не только существующее теперь искусственное стеснение производства, но и положительное расхищение и опустошение производительных сил и продуктов, которые в настоящее время являются неизбежными спутниками производства и достигают своей кульминационной точки в кризисах. Далее, оно сделает свободной для общества массу производительных средств и продуктов устранением бессмысленной расточительности господствующего теперь класса и его политических представителей. Обобществление производства обеспечит всем членам общества существование не только материальное, вполне достаточное и постоянно улучшающееся, но и гарантирует им также свободное развитие и проявление их физических и духовных дарований. Накопление материальных условий для такого обобществления производства уже имеется налицо¹⁾.

Вместе с переходом средств производства в руки всего общества устранится товарное производство и, вместе с тем, господство продукта над производителями. Анархия внутри общественного производства заменится планомерной сознательной организацией. Борьба за личное существование прекратится. Только тогда выделится окончательно человек, в точном смысле этого слова, из животного царства, перейдет из зоологических условий существования в действительно человеческие. Все условия жизни, созданные людьми и угнетавшие до сих пор человека, сами подчинятся тогда людям и их контролю, и они впервые явятся сознательными, действительными господами природы, так как будут господами в своем собственном соединенном обществе. Законы их собственной общественной деятельности, которые до сих пор противопоставлялись им, как им чуждые, и потому господствовавшие над ними, будут применяться людьми с полным пониманием дела и согласно с их собственными интересами. Подчинение общественной организации, которое им до сих пор как бы навязывалось природой и историей, станет теперь их собственным свободным делом. Объективные и чуждые им силы, царившие до сих пор в истории, попадут под контроль самих людей.

Только тогда люди будут сами вполне сознательно творить свою историю, а производимые ими в движение исторические факторы станут все в большей и большей мере давать желанные для них результаты. Это будет прыжком человечества из царства необходимости в царство свободы.

Совершить этот освободительный акт — вот историческая задача современного пролетариата. Исследовать же его исторические условия и его характер и выяснить таким образом призываемому теперь к действию угнетенному классу условия и сущность его собственной деятельности, — это является задачей теоретического исследования пролетарского движения, научного социализма.

III. П р о и з в о д с т в о .

Приняв во внимание все предыдущее, читателю не покажется удивительным, что изложенные в последней главе основные черты социализма отнюдь не приходятся по вкусу г. Дюрингу. Наоборот. Он должен отвергнуть их, как превратное толкование, наравне с остальными «ублюдками исторической и логической фантастики», «пустыми концепциями», «спутанными и туманными представлениями» и т. д. Для него социа-

¹⁾ Несколько цифр могут дать приблизительное представление о громадной эластичности современных средств производства даже при условии капиталистического гнета, лежащего на них. По новейшему вычислению Джиффена, национальное богатство Великобритании и Ирландии достигало в круглых числах:

в 1814 г. — 2.200 мил. ф. ст. = 21 миллиарда рублей,

„ 1865 „ — 6.100 „ „ „ = 58 „ „

„ 1875 „ — 8.500 „ „ „ = 81 „ „

Что же касается опустошения средств производства и продуктов во время кризисов, то на втором конгрессе германских промышленников (в Берлине, 21-го февраля 1878 г.) общая потеря в одной только германской железной индустрии во время последнего краха была определена в 455 миллионов марок.

лизм вовсе не является необходимым результатом исторического развития, еще менее результатом грубо материальных, покоящихся на интересах желудка, экономических условий современности. У него дело поставлено было основательно. Его социализм является конечной истинной последней инстанцией, представляет «естественную систему общества», коренится во «всеобщем принципе справедливости», и если г. Дюринг все-таки вынужден считаться с условиями, созданными предыдущей грешной историей и современным положением вещей, чтобы улучшить последнее, то это, прежде всего, следует считать несчастьем для чистого принципа справедливости. Г. Дюринг создает свой социализм, как и все прочее, прибегая к помощи пресловутых двух субъектов. Стоит только этим двум марионеткам, вместо того, чтобы играть, как до сих пор, роли господина и слуги, провозгласить со сцены уравнение в правах во имя справедливости.—и Дюринговский социализм уже осуществлен в своей основе.

Поэтому, само собой разумеется, что для г. Дюринга периодически повторяющиеся промышленные кризисы совсем не имеют исторического значения, какое мы должны были признать за ними. Для него кризисы являются лишь случайными нарушениями «нормального хода вещей» и служат, самое большее, побудительным толчком к «развитию планомерно управляемого строя». «Обычный способ» объяснения кризисов перепроизводством совсем недостаточен для их «полного понимания». Впрочем, такое объяснение, «пожалуй, применимо к частным кризисам в отдельных областях». Так, напр., «переполнение книжного рынка изданиями сочинений, внезапно перепечатанных в большом количестве и годных для массового сбыта». Г. Дюринг может, во всяком случае, спокойно спать с отрадным сознанием того, что его бессмертные творения никогда не породят такого мирового несчастья. По его мнению, при больших кризисах «пропасть между запасами товаров и их сбытом делается все глубже и опаснее» не благодаря перепроизводству, а «благодаря отставанию народного потребления... благодаря искусственно созданному недостаточному потреблению... благодаря преградам, полагаемым естественному росту п а р о д н ы х п о т р е б н о с т е й (!)».

Но, к несчастью, недостаточное потребление масс, ограничение их потребления необходимым для поддержания жизни и для размножения—относительно не новое явление. Оно существует с тех пор, как появились эксплуатирующие и эксплуатируемые классы. Даже в те исторические моменты, когда положение масс было особенно благоприятно, напр., в Англии XV столетия, их потребление все-таки было крайне недостаточно, и вообще еще не было такого случая, чтобы массы имели возможность располагать для удовлетворения своих потребностей сполна продуктом своего годового труда. Если, таким образом, недостаточное потребление является существующим тысячелетия историческим фактом, который только в последние 50 лет особенно ясно обнаружился в происходящих кризисах, вызывающих застой в сбыте продуктов, вследствие их перепроизводства, то нужна была вся вульгарно-экономическая плоскость г. Дюринга, чтобы объяснять новую коллизию не н о в ы м явлением перепроизводства, а длящимся тысячелетия старым фактом недостаточного потребления. Это равносильно тому, как если бы в математике объяснять изменение отношения двух величин, одной постоянной и другой переменной, не тем, что изменяется переменная, но тем, что постоянная осталась неизменной. Недостаточное потребление масс является необходимой предпосылкой всякого, покоящегося на эксплуатации общественного строя, следовательно, и капиталистического; но только капиталистический способ производства доводит это явление до кризисов. Таким образом, хотя и правда, что недостаточное потребление масс является причиной кризисов, играя в них давно признанную роль, но это несколько не выясняет нам факта существования кризисов в настоящее время, как и причины, почему их не было ранее, до установления капитализма.

Г. Дюринг вообще имеет замечательное представление о мировом рынке. Мы видели, как он пытается объяснить происходящие в действительности частные промышленные кризисы примером воображаемого кризиса на лейпцигском книжном рынке, бурю на море—бурей в стакане воды, как и подобает настоящему немепному книжнику. Сп

предполагает далее, что нынешнее, руководимое предпринимателями производство, должно «находить себе сбыт, главным образом, в кругу имущих классов»; это ему не мешает, конечно, 16 страницами ниже признать главными современными индустриями железодельную и хлопчатобумажную, т.-е. как раз такие две отрасли производства, продукты которых в ничтожно малом количестве потребляются имущими классами и, преимущественно перед всеми другими, предназначаются для массового потребления. О чем бы нам ни пришлось его спрашивать мы слышим в ответ только пустую, полную противоречий болтовню о том и о сем. Возьмем, однако, пример из хлопчатобумажной промышленности. В сравнительно небольшом городе Ольдгеме, одном из дюжины занимающихся хлопчатобумажною промышленностью городов вокруг Манчестера, с населением от 50 до 100 тысяч,—в этом одном городе за четыре года, с 1872 до 1875, число веретен, занятых прядением одного только 32 №, возросло с 2½ до 5 миллионов, до количества, равного общей сумме веретен, находящихся в распоряжении хлопчатобумажной промышленности целой Германии, вместе с Эльзасом. Если принять во внимание, что расширение производства в остальных отраслях и центрах хлопчатобумажной индустрии Англии и Шотландии происходит почти в таких же размерах, то нужна значительная доза основательной закоснености для того, чтобы нынешнюю общую заминку в сбыте хлопчатобумажных пряжи и тканей объяснять недостаточным потреблением масс английского народа, а не перепроизводством английских хлопчатобумажных фабрикатов¹⁾.

Но довольно. Нельзя спорить с людьми, которые настолько несведущи в политической экономии, что принимают лейпцигский книжный рынок в смысле современной индустрии. Укажем, поэтому, только на то, что г. Дюринг, говоря о кризисах, «как об обычной игре между сильным напряженным и сменяющей его вялостью», внушает читателям мысль, что чрезмерная спекуляция «проистекает не только из-за планомерного ведения производства в частных предприятиях», но что «к причинам возникновения чрезмерного предложения следует отнести также необдуманность со стороны отдельных предпринимателей и недостаточную частную предусмотрительность». Но что же, в свою очередь, является «причиной возникновения» необдуманности и недостаточной предусмотрительности? Конечно, только непланмерность капиталистического производства, которая обнаруживается в беспорядочном размножении частных предприятий. Переводит какой-либо экономический факт на язык нравственных упреков для выяснения причин нового явления—тоже в значительной степени является «необдуманностью».

Покончим на этом с кризисами. После того, как в предыдущей главе мы разъяснили всю неизбежность их возникновения при капиталистическом способе производства и их значение, как кризисов самого способа производства, побуждающих к общественному перевороту,—после этого было бы бесполезно тратить слова против поверхностных взглядов г. Дюринга по рассматриваемому вопросу. Перейдем лучше к его положительным теориям, к его «естественной системе общества».

Эта система, построенная на «всеобщем принципе справедливости» и, таким образом, свободная от всякой зависимости от несносных материальных условий, проповедует федерацию хозяйственных коммун, признающих «свободу передвижения и обязательный прием новых членов, согласно определенным законам и нормам управления». Самая же хозяйственная коммуна является, прежде всего, «всеобъемлющим схематизмом, имеющим значение для истории человечества», и далека от «уклончивой половинчатости», как, напр., у какого-нибудь Маркса. Она означает «совокупность лиц, связанных между собой совместной деятельностью и совместным участием в доходе от предоставленных в их распоряжение публичным правом известного пространства земли и

¹⁾ Объяснение кризисов недостаточным потреблением дал впервые Симсонди, у которого оно имеет некоторый смысл. От Симсонди это объяснение заимствовал Ротбертус, у которого его списал г. Дюринг и, как всегда, весьма плоским манером.

группы производительных учреждений». Публичное право есть «право на вещь... в смысле чисто публицистического отношения к природе и производственной организации». Что это должно обозначать—над этим пусть поломают головы будущие юристы хозяйственной коммуны, мы же отказываемся от какой бы то ни было попытки объяснить это. Мы узнаем только то, что это право отнюдь не тождественно с «корпоративную собственностью рабочих обществ», которая не исключила бы взаимной конкуренции и даже эксплуатации наемного труда. При чем мимоходом упоминается, что понятие «общественной собственности», как оно употребляется Марксом, также «по меньшей мере неясно и двусмысленно, так как этот образ будущего все-таки представляется обозначающим не что иное, как корпоративную собственность отдельных групп рабочих». В данном случае мы снова имеем дело со столь часто употребляемыми г. Дюрингом «заслуживающими презрения приемами» подтасовки, вульгарные свойства которых (как выражается он сам) вполне достойны вульгарного слова—«омерзительный». Точно так же совершенным вымыслом, как и многие другие открытия г. Дюринга, является утверждение, что общинная собственность у Маркса «одновременно представляется индивидуальной и общественной собственностью».

Одно, во всяком случае, ясно: «публицистическое право» данной хозяйственной коммуны на ее средства производства является исключительным правом собственности, по крайней мере, по отношению ко всякой другой хозяйственной коммуне, а также и по отношению к целому обществу и государству. Но оно должно обуславливать собой «полную замкнутость от внешнего мира...», и между различными хозяйственными коммунами предполагается «свобода передвижения и обязательный прием новых членов, согласно определенным законам и порам управления», т. е. связь подобно «нынешней принадлежности к какому-нибудь политическому телу или участию в хозяйственных делах общины».

Таким образом, будут существовать богатые и бедные хозяйственные коммуны, уравнивание которых будет происходить путем притока населения к богатым из бедных коммун. Далее, г. Дюринг, намереваясь устранить конкуренцию продуктов между отдельными коммунами посредством организации национальной торговли, тем не менее, допускает существование конкуренции между отдельными производителями. Таким образом, вещи поставлены вне сферы конкуренции, люди же оставлены в зависимости от нее.

Но это, впрочем, еще не все, что предлагается нам для выяснения сущности «публицистического права». Двумя страницами далее, г. Дюринг объявляет нам: торговая коммуна простирается «так же далеко, как и та политически-общественная область, жители которой становятся объединенным субъектом права и в качестве таковых имеют в своем распоряжении общественные земли, жилища и производительные учреждения». Итак, оказывается, следовательно, что не отдельные коммуны распоряжаются общественным имуществом и средствами производства, а целая нация. «Публичное право», «право на вещь», «публицистическое отношение к природе» и т. п., все эти термины, «по крайней мере, неясно и двусмысленно», находятся в прямом противоречии с тем значением, которое придает им автор. В действительности все эти юридические выражения, насколько, по крайней мере, каждая отдельная хозяйственная коммуна представляет собою субъект права «одновременно индивидуальной и общественной собственности»,—являются образчиками публичного права и, следовательно, этого, имеющего «туманный двуликий образ», который мог создать опять-таки только г. Дюринга.

Во всяком случае хозяйственная коммуна распоряжается своими орудиями труда в целях производства. Как же идет это производство? Если судить по словам г. Дюринга, совсем по-старому, с тою разницею, что капиталиста заменяет коммуна, при чем каждому члену ее предоставлен свободный выбор профессии и устанавливается равная для всех обязанность труда.

Основой всех существовавших до сих пор способов производства было разделение труда, с одной стороны, внутри общества, с другой—внутри каждого отдельного

предприятия. Как относится к нему Дюринговская «социалитарная организация» («Socialität»)?

Результатом первого крупного общественного разделения труда было отделение промышленности от земледелия, а вместе с тем и города от деревни. Антагонизм, порожаемый этим экономическим фактом, по мнению г. Дюринга, по природе вещей «неустраним», хотя «вообще не вполне правильно представлять себе пропасть между земледелием и индустрией... не заполнимой. В действительности существует уже теперь до некоторой степени постоянное сближение между ними, которое в будущем, судя по всему, может значительно усилиться». Так, напр., земледелие и сельское хозяйство включили уже в свою область две индустрии: «сначала винокурение, а потом выделку свекловичного сахара...»; значение же спирта в этом отношении «скорее преуменьшается, чем преувеличивается». И «еслиб оказалось возможным, вследствие какого-нибудь открытия, преобразовать большое количество индустрий таким образом, чтоб явилась необходимость локализовать их производство в деревне и опираться непосредственно на производство местных сырых материалов», то этим самым была бы ослаблена противоположность между городом и деревней и «была бы приобретена самая широкая основа для развития цивилизации». Сверх того, «нечто подобное может также возникнуть и другим путем. Кроме технической необходимости, все большее значение приобретают социальные потребности, и если бы эти последние влияли на распределение человеческой деятельности, то невозможно было бы более оставлять в пренебрежении такие выгоды, которые проистекают из систематической тесной связи между работами деревни и делом технической переработки ее продуктов».

Но если к хозяйственной коммуне пристегиваются социальные потребности, то не поторопился ли автор наградить ее в полной мере вышеупомянутыми преимуществами соединения земледелия и индустрии? Г. Дюрингу следовало бы, по крайней мере, поделиться с нами с достаточной полнотой своим «точным пониманием» положения хозяйственной коммуны с сконцентрированной в ней промышленностью. Напрасное ожидание! Приведенные выше скудные, неясные, вращающиеся все время в сфере винокуренного и свеклосахарного производств и в областях действия прусского права общие места представляют собою весь научный багаж г. Дюринга по вопросу о противоположности интересов города и деревни в настоящем и будущем.

Перейдем к разделению труда, в частности. Здесь г. Дюринг уже немного «точнее». Он говорит о «личности, которая должна отдаться исключительно одного рода деятельности». Если даже идет речь о введении какой-нибудь новой отрасли производства, то все-таки возникает вопрос о том, возможно ли обеспечить определенному числу лиц, посвятивших себя производству одной вещи, также и необходимое для них количество жизненных средств (!). Далее, каждая отрасль производства в «социалитарной организации» «предъявит запрос на небольшое количество населения». И в «социалитарной организации», в результате, образуются группы лиц, «отличающиеся особым образом жизни,—особые экономические породы» людей. Таким образом, в сфере производства вовсе не предполагается отмена господствующей системы разделения труда. Впрочем, в существовавшем до сих пор обществе господствовало «ложное разделение труда»; но в чем заключается это ложное начало и чем оно будет заменено в хозяйственной коммуне, об этом мы узнаем лишь следующее: «что касается самого разделения труда, то мы выше уже сказали, что оно потеряет свое современное значение, как только станет приниматься во внимание наличность различных природных условий и личных способностей». Рядом с способностями будет играть роль и личная склонность. «Влечение к такой деятельности, которая требует проявления наибольшего количества способностей и воображения, будет покоиться исключительно на склонности к соответствующему занятию и на удовольствии, доставляемом занятием этим, именно, и никаким другим делом» (!) (занятие каким-нибудь одним делом!). Вместе с тем, в «социалитарной организации» возникает соревнование, и «само производство приобретает известный ин-

интерес; бессмысленное же производство, которое ценится теперь лишь как средство для получения барыша, не будет затем налагать свой отпечаток на все общественные отношения».

Во всяком обществе с естественно развивающимся производством — а современное является таковым — не производители господствуют над средствами производства, но средства производства господствуют над производителями. В такого рода обществе каждый новый рычаг производства необходимо преобразуется в новое средство порабощения производителей средствами производства. Это относится, прежде всего, к тому рычагу производства, который вплоть до возникновения крупной индустрии был наиболее могущественен, — к разделению труда. Уже первое большое разделение труда, отделение города от деревни, приговорило сельское население к тысячелетнему долговременному отлучению, а горожан — к порабощению каждого в отдельности его детальной работой. Оно уничтожило основу духовного развития первого и физического — вторых. Если крестьянин делается собственником земли, а городской ремесленник — своих орудий производства, то земля еще в большей степени порабощает крестьянина, а ремесло — ремесленника. С разделением труда был разорван на части и сам человек. В целях развития какой-нибудь одной его деятельности были принесены в жертву все прочие физические и духовные способности... Это подавление человека растет одновременно с развитием разделения труда, которое достигает высшей ступени в мануфактуре. Мануфактура разлагает ремесло на его отдельные детальные операции, на каждую из них указывает отдельному рабочему, как на обязанность всей его жизни, и приковывает его таким образом на всю жизнь к определенной детальной функции и определенному орудью труда. «Она калечит рабочего, превращает в какого-то уродца, чисто оранжерейным путем вызывая в нем развитие детальных навыков и подавляя целый мир производительных склонностей и способностей... Даже индивидуум раздвояется, превращаясь в автоматическое колесо, исполняющее одну частичную работу» (Маркс), — автоматическое колесо, которое во многих случаях достигает своего совершенства лишь путем полного физического и духовного калечения рабочего. Машинизм крупной индустрии превращает рабочего из машины в простой придаток к ней. «Пожизненная специальность управления частичным инструментом превращается в пожизненную же специальность служения детальной машине. Машинной злоупотребляют для превращения самого рабочего с раннего детства в составную часть детальной машины» (Маркс). И не только рабочие, но также и эксплуатирующие их, прямо или косвенно, классы, благодаря разделению труда, порабощены орудиями своей деятельности; бездушный буржуа — своим собственным капиталом и своею страстью к прибыли; юрист — своими закостеневшими правовыми воззрениями, которые господствуют над ним, как самостоятельная сила; «образованные классы» вообще — своею ограниченностью и односторонностью, составляющие результат физических и умственных недостатков, неразрывно связанных с их воспитанием, приспособленным к их специальности, к которой они приковываются на всю жизнь, хотя бы эта специальность и состояла в ничегонеделании.

Уже утописты вполне понимали, что система разделения труда калечит трудящийся класс, принуждая рабочего заниматься в течение всей жизни однообразным, механическим трудом, состоящим в повторении одного и того же акта. Устранение противоположности между городом и деревней требовали и Оуэн и Фурье, видя в нем основное условие для упразднения старой системы разделения труда. Согласно мнению обоих, население должно распределиться по стране группами в 1.600 — 3.000 человек, каждая группа занимает громадный дворец, в центре своей территории, и ведет общее хозяйство. И хотя Фурье местами говорит о городах, однако эти города состоят только из четырех или пяти таких, паходящих в недалеком расстоянии друг от друга дворцов. По плану этих двух утопистов, каждый член общества занимается как земледельцем, так и промышленностью. У Фурье главную роль играют ремесло и мануфактура, у Оуэна, напротив, крупная промышленность, и последний

требует введения силы пара и машин в работы домашнего хозяйства. Но и тот и другой особенно настаивают на том, чтобы организация земледелия и индустрии гарантировала населению возможно большее разнообразие в занятиях, и согласно с этим, — они требовали, чтобы воспитание подготавливало юношество для всесторонней технической деятельности. По мнению обоих, человек должен всесторонне развиваться, путем всесторонней практической деятельности, и труд должен вновь получить утраченную им, вследствие своего разделения, привлекательность, именно посредством такого разнообразия и вытекающей из него небольшой продолжительности каждого «этапа» (Sitzung) отдельной работы, употребляя выражение Фурье. Оба названные утописта неизмеримо выше по своим воззрениям г. Дюринга, заимствовавшего свои взгляды у эксплуатирующих классов, согласно которым противоположность между городом и деревней неустранима по природе вещей. Ограниченность такого образа мыслей видна уже из того, что известное количество «существ» приговаривается и в будущем обществе, несмотря ни на что, производить какой-нибудь один продукт. Это равносильно желанию увековечить существование особых «экономических пород» людей, отличающихся от других своим образом жизни и живущих по поводу того, что они вырабатывают именно эту, и не какую-нибудь другую вещь, следовательно, так глубоко опустившихся, что радуются своему собственному порабощению и вырождению в односторонний автомат. Противопоставленный «идиоту» Фурье, с его даже самыми безумно смелыми фантазиями, и «грубому, бедному и бесплодному» Оуэну, с его даже самыми убогими идеями, — г. Дюринг, не освободившийся еще от идеи порабощения людей разделению труда, все-таки представляется сравнительно с ними, пошлым и дерзким карликом.

Делаясь господином над всеми средствами производства, чтобы общественно-планомерно распоряжаться ими, общество должно уничтожить господствующее до сих пор порабощение людей их собственными средствами производства. Само собою разумеется, такое освобождение не может совершиться без того, чтобы не освободился от пут капитализма каждый отдельный член общества. В виду этого, старый способ производства должен быть изменен до основания, а, следовательно, должно исчезнуть и старое разделение труда, угнетающее как все общество, так и каждого отдельного его члена. Вместо разделения труда должна возникнуть такая организация производства, при которой, с одной стороны, никто не мог бы свалить на другого свою долю участия в производительном труде, как естественного условия человеческого существования, а с другой стороны, производительный труд, вместо того, чтобы быть средством порабощения, сделался бы средством освобождения, предоставляя каждой личности возможность развивать во всех направлениях и проявлять все свои способности как физические, так и духовные. Труд, следовательно, из тяжелой обязанности должен превратиться в удовольствие.

Все это в настоящее время отнюдь не фантазия и не благочестивое пожелание. При современном развитии производительных сил, для полного удовлетворения потребностей общества достаточно уже того увеличения производства, которое, вне сомнения, будет вызвано самим фактом обобществления производительных сил. Для этого достаточно устранения присущих капиталистическому способу производства затруднений, существующих нарушений нормального хода производства и бесполезного расточения продуктов и средств производства. И тогда же при всеобщем участии в работах всего общества, возможно будет сократить рабочее время до минимальных размеров.

Устранение старой системы разделения труда отнюдь не является таким требованием, которое может быть достигнуто лишь за счет уменьшения производительности труда. Напротив, оно без всякого ущерба может быть осуществлено именно в сфере крупной промышленности. «Машинное производство уничтожает необходимость закреплять, как это было в мануфактуре, распределение разнородных групп рабочих по разнородным машинам и приурочение одних и тех же рабочих к одним и тем же постоянным функциям. Так как общий ход фабрики зависит

не от рабочего, а от машины, то возможна постоянная перемена в персонале без прерыва в процессе труда... Наконец, быстрота, с которой человек в юношеском возрасте научается работать при машине, также устраняет необходимость воспитывать такой класс рабочих, которые были бы исключительно рабочими, занятыми при машинах». Несмотря на то, что капиталистический способ применения машин продолжает дальше развивать старое разделение труда с его окостенелыми частными функциями, хотя технически это стало излишним, — старая система разделения труда мало-по-малу превращается в анархизм. Технический базис крупной индустрии — революционен. Машинами, химическими процессами и другими способами, вместе с техническими основаниями производства, новейшая промышленность постоянно преобразовывает занятие работников и общественные комбинации рабочего процесса. Вследствие этого, она также постоянно преобразует деление труда внутри общества и бросает массы капиталов и рабочих из одной отрасли производства в другую. Отсюда видно, что, по самой природе своей, крупная промышленность требует перемены работы, непостоянства занятий, всесторонней подвижности рабочего... Мы уже видели, как это абсолютное противоречие... разрешается непрерывным принесением в жертву рабочего класса, безграничным расточением рабочих сил и господством общественной анархии. Это отрицательная сторона. Между тем, как перемена работы является теперь только могущественным законом природы и проявляется со слепо разрушающею силою закона природы, повсюду встречающегося препятствия, — сама крупная промышленность, вследствие своих собственных катастроф, делает вопросом жизни, как признание перемены занятий, — а следовательно и многосторонности рабочего, — всеобщим социальным законом, так и преобразование отношений сообразно нормальному осуществлению этого закона. Она делает вопросом жизни устранение того безобразия, которое представляет собою нищенствующее население, содержащееся в резерве на случай перемены в потребностях капитала, и замену его абсолютною годностью человека для всех изменяющихся требований труда; замену социализированного индивидуума, — представляющего собою лишь орган для специальной общественной функции, — индивидуумом вполне развитым, который одинаково способен на все разнообразные общественные занятия» (Маркс, «Капитал»).

Научив нас преобразовывать в технических целях более или менее повсюду существующее молекулярное движение в движение масс, крупная промышленность в значительной степени освободила промышленное производство от местных рамок. Сила воды была связана с местом, сила пара стала свободной. Если сила воды, находящейся в деревне, неизбежно связана с нею, то сила пара отнюдь не обязательно связана с городом. Только капиталистическое применение концентрирует ее предпочтительно в городах и преобразует фабричные села в фабричные города, но этим самым создаются условия, могущие подорвать самое производство. Первая потребность паровой машины и главная потребность почти всех отраслей производства крупной промышленности — это наличность сравнительно чистой воды. Между тем фабричный город превращает всякую чистую воду в вонючее болото. Таким образом, поскольку концентрация в городах является основным условием капиталистического производства, постольку же каждый отдельный капиталист постоянно стремится, по необходимости, перевести свое производство из города в сферу сельского производства. Этот процесс можно наблюдать в подробностях в текстильных округах Ланкашира и Йоркшира; капиталистическая крупная промышленность содействует там образованию новых больших городов, а рядом с этим фабрики постоянно перекочевывают из города в деревню. То же самое и в округах металлургической промышленности, где, впрочем, те же результаты порождают частью другие причины.

Уничтожить этот новый порочный круг, это постоянно вновь возникающее противоречие современной промышленности опять-таки возможно лишь с упразднением ее капиталистического характера. Только общество, способное гармонически приводить в движение свои производительные силы, согласно единому общему плану, в состоянии

организовать их так, что будет возможно равномерно распределить крупные промышленные предприятия по всей стране, сближая фабричное производство с сельско-хозяйственным, как это необходимо для развития и сохранения промышленных сил.

Устранение противоречия между городом и деревней должно совершиться не только в интересах индустриального и земледельческого производств, но также для установления общественной гигиены. Только с соединением города и деревни в одно целое возможно устранить нынешнее отравление воздуха, воды и почвы, и только при этом хилые городские массы населения смогут добиться такого положения, что их отбросы, вместо того, чтобы порождать между ними болезни, станут полезным материалом в общей лаборатории природы и будут содействовать успеху сельского хозяйства.

Капиталистическая промышленность уже поставила себя в независимое положение относительно тесных рамок, в которых находится местное производство необходимых для нее сырых продуктов. Текстильная промышленность перерабатывает преимущественно привозное сырье. Испанская железная руда перерабатывается в Англии и Германии, испанская и южно-американская медная руда — в Англии. Каждая каменноугольная копь снабжает горючим материалом промышленные округа, находящиеся далеко за границами его собственного производства. На всем европейском материке паровые машины питаются английским, местами немецким и бельгийским каменным углем. Освобожденное от пут капиталистического производства, общество сможет пойти еще дальше в этом направлении. Порождая новое поколение всесторонне развитых производителей, понимающих научные основы всего промышленного производства и изувичших практически, каждый в отдельности, весь ряд отраслей производства от начала до конца, оно может создать новую производительную силу, которая с избытком покроет расход по перевозке из самых отдаленных пунктов сырья и горючих материалов.

Уничтожение поводов к отделению города от деревни, с точки зрения возможности осуществления равномерного распределения крупной промышленности по всей стране, не может представляться, поэтому, утопией. Цивилизация, конечно, оставила нам, в лице крупных городов, наследие, покончить с которым будет стоить много времени и усилий. Но с ним необходимо покончить, и это будет сделано, хотя бы это был очень продолжительный процесс. Независимо от гадания, какая участь постигнет германское государство, созданное прусской нацией, Бисмарк мог лечь в могилу с гордой уверенностью, что его задушевное желание наверно осуществиться — погибнут крупные города.

Теперь, после всего сказанного, можно уже вполне оценить по достоинству детский лепет г. Дюринга о том, как общество овладеет всей совокупностью средств производства, не уничтожая до основания старого способа производства и, прежде всего, не устраняя старого разделения труда; и о том, как предполагаемый им переворот совершится, лишь только «станут приниматься во внимание» «естественные условия и личные способности», при чем, однако, как и до сих пор, целые массы человеческих существ останутся прикованными к производству какого-нибудь одного продукта и на целые «населения» будут предъявляться требования отдельных отраслей производства, одним словом, по его проекту, человечество, как и до сих пор, будет состоять из известного числа различным образом искалеченных «экономических пород», каковы «ломовики», «архитекторы»!.. Таким образом, общество в целом будет господином средств производства, каждый же отдельный его член останется рабом производства, получив только право избрать свободный род орудия, припринковленного для его порабощения. Трудно также представить себе, на каком основании г. Дюринг считает, вообще, отделение города от деревни «неустранимым по природе вещей» и допускает, в этом отношении, лишь ничтожный паллиатив в специфически прусских отраслях производства — винкурении и приготовлении свекловичного сахара, когда, в тоже самое время, он сам, г. Дюринг, ставит затем рассеяние промыш-

ленности по всей стране в зависимости от будущих открытий и от принуждения соединять промышленное производство непосредственно с добычей сырья, — сырья, которое, кстати, уже и теперь производится во все растущем отдалении от индустрии, нисколько не мешая этим ее процветанию. Свое убожество г. Дюринг пытается прикрыть милостивым обещанием, что социальные потребности все-таки, в конце-концов, приведут к связи земледелия с индустрией, даже вопреки экономическим соображениям, хотя бы это было сопряжено с большими жертвами.

Конечно, для того, чтобы понять, что те революционные элементы, которые должны устранить старое разделение труда, вместе с отделением города от деревни, и преобразовать все производство, — уже находятся в зародышевом состоянии в условиях производства современной крупной индустрии и встречают препятствие для своего дальнейшего развития лишь в нынешнем капиталистическом способе производства, — для того, чтобы понять это, необходимо иметь более широкие горизонты, чем те, которые созданы в сфере действия прусского земского права, где водка и свекловичный сахар считаются главнейшими продуктами индустрии и о торговых кризисах судят только по делам лейпцигского книжного рынка. Для этого надо изучать настоящую крупную индустрию в ее историческом развитии и ее современном действительном положении, именно в той стране, которая является ее родиной и в которой она достигла своего классического развития. И в таком случае, конечно, никому не пришло бы в голову относиться отрицательно к современному научному социализму и придавать значение специфически прусскому социализму г. Дюринга.

IV. Распределение.

Мы уже видели выше, что Дюринговская экономия сводится к положению: капиталистический способ производства вполне хорош и может оставаться непоколебленным, но капиталистический способ распределения является злом и должен быть уничтожен. В виду этого, Дюрингова «социалитарная организация» представляет собою не что иное, как фантастическое обоснование этого положения. Не открыв никаких дефектов в способе производства капиталистического общества и желая, поэтому, сохранить прежнее разделение труда во всех его существенных чертах, г. Дюринг не может сказать ни одного путного слова о производстве внутри своей хозяйственной коммуны. Конечно, производство — это область, в которой дело идет о реальных фактах, и тут нет простора даже для «рациональной фантазии», и полет свободного духа, встретив препятствие, легко может завершиться позорным фиаско. Напротив того, распределение, которое, по мнению г. Дюринга, не находится ни в какой связи с производством и определяется не способом производства, а актом свободной воли, — представляет удобную почву для возделывания «сопальной алхимии».

Обязанности участвовать в производстве соответствует одинаковое право на потребление, которое, как в хозяйственной коммуне, так и в торговой коммуне, обнимающей собою некоторое число первых, является основой организации. Здесь «труд выменивается на другой труд по одинаковой оценке... Затрата труда и его возмещение представляют здесь действительное равенство количеств труда». И притом, это «уравнение человеческих сил» сохраняет свое значение независимо от того, сколько отдельные личности произвели продуктов, больше или меньше, и даже в том случае, когда они случайно совсем ничего не произвели, ввиду того, что надо рассматривать всякого рода деятельность, поскольку она требует затраты времени или сил, как производительный труд, а, следовательно, и игру в кегли и прогулки. Далее, обмен продуктами прекращается между отдельными личностями, так как община является собственницей всех средств производства, а, следовательно, также и всех продуктов; он будет совершаться, с одной стороны, — между каждою хозяйственною коммуною и ее отдельными членами, и с другой — между различными хозяйственными и торговыми коммунами.

«Именно хозяйственные коммуны замещают внутри своих собственных пределов мелкую торговлю вполне планомерной торговлей». Точно так же будет организована торговля в крупных размерах. «Система свободного хозяйственного общества... будет, поэтому, громадным учреждением для обмена, операции которого будут производиться при посредстве данных, как предварительное условие, благородных металлов. Уверенность в непреодолимой необходимости такого обмена отличает нашу схему от всех тех туманных воззрений, от которых еще не освободились наиболее рациональные формы ходячих в настоящее время социалистических представлений».

В целях этого обмена хозяйственная коммуна, как первая присвоительница общественного продукта, назначает «для каждого рода предметов общую цену», согласно средним издержкам производства. «В настоящее время, так называемые, издержки производства... служат для определения ценности и цены, тогда же (в «социалитарной общине») эту роль будут играть... оценки количеств потраченного труда. Эти оценки, которые, согласно принципу, признающему равные права за каждой личностью и применяемому также и в хозяйственной области, — сведутся, в конечном счете, к зависимости от числа участвовавших лиц в работе и будут служить, вместе с тем, основанием для определения цен, соответствующих естественным отношениям производства и общественному праву оценки. Производство благородных металлов, как и в настоящее время, останется определяющим элементом для установления ценности денег... Из этого видно, что в измененном общественном строе, как для ценностей, так и для тех отношений, в которых взаимно замещаются продукты, не только не утрачивается, но лишь впервые правильно устанавливается принцип определения и оценки». Прославленная «абсолютная ценность», наконец, реализуется.

Но с другой стороны, коммуна должна будет также предоставить каждой отдельной личности возможность покупать у нее произведенные продукты; выплачивая каждому члену ежедневно, еженедельно или ежемесячно, в качестве эквивалента за его труд, определенную сумму денег, одинаковую для всех. «Поэтому, с точки зрения социалитарной организации, безразлично, говорить ли о том, что заработная плата должна исчезнуть, или же о том, что она должна стать исключительной формой экономических доходов». Но одинаковые заработные платы и одинаковые цены обуславливают «количественное, если не качественное равенство потребления» и тем самым экономически осуществляют «всеобщий принцип справедливости». Что же касается до определения высоты этой заработной платы будущего, то о ней г. Дюринг говорит только, что «одинаковый труд обменивается на одинаковый труд». За шестичасовой труд будут, поэтому, выплачивать сумму денег, овеещающую в себе как раз шесть рабочих часов.

Однако, отнюдь не следует смешивать «всеобщий принцип справедливости» с тем грубым равенством под одно, которое так восстанавливает буржуа против всякого, в том числе и первобытного рабочего коммунизма. Он далеко не так неумолим, как это кажется с первого взгляда. «Принципиальное равенство прав в экономической области не исключая того, что, на ряду с удовлетворением требований справедливости, будет иметь место добровольное выражение особой признательности и почета... Общество чтит само себя, отличая выше поднявшиеся виды деятельности тем, что наделяет их умеренным увеличением потребления». И г. Дюринг тоже чтит сам себя, когда он, соединяя голубиную невинность с змеиной мудростью, так трогательно заботится об умеренном увеличении потребления для всех Дюрингов будущего.

Вместе с тем, в социалитарной коммуне радикально устраняется капиталистический способ распределения. Ибо «если предположить, что, при наличии такого положения вещей, кто-нибудь и будет иметь в своем частном распоряжении излишек средств, то он не в состоянии будет приискать для их никакого капиталистического применения. Ни отдельная личность, ни группа лиц не станут приобретать эти излишки для производства иначе, как путем обмена или покупки, но никогда не станут платить за них проценты или выплачивать прибыль». И, поэтому, совершенно допустимо

«согласное с принципом равенства наследования имущества». Оно неизбежно, ибо «наследование в какой-нибудь форме всегда будет необходимым спутником семейного принципа». И право наследования также «не может привести к накоплению громадных состояний, так как при коммунистических порядках образование собственности не может уже иметь целью создание средств производства и возможности существования исключительно в качестве рентьера».

Таким образом хозяйственная коммуна вполне налажена. Посмотрим же теперь, как она ведет свое хозяйство.

Мы предполагаем, что все проекты г. Дюринга вполне осуществлены и что, между прочим, хозяйственная коммуна выплачивает каждому своему члену за его ежедневный шестичасовой труд денежную сумму, в которой воплощено также шесть часов труда, положим 12 марок. Равным образом, мы предполагаем, что цены точно соответствуют ценностям, т.-е., согласно нашим предположкам, заключают в себе ценность сырья, изнашивания машин и орудий труда и выплаченной заработной платы. Хозяйственная коммуна со ста работающими членами производит, в таком случае, ежедневно товаров ценностью в 1.200 марок, а в год, состоящий из 300 рабочих дней, ценность в 360.000 марок, и выплачивает такую же сумму своим членам, из которых каждый делает, что ему угодно, с приходящимися на его долю 12 марками ежедневно или 3.600 марок в год. В конце года, как и через сто лет, коммуна не богаче, чем в самом начале. В течение всего этого времени она ни разу не будет в состоянии предоставить некоторый излишек потребления для г. Дюринга, если она не захочет растратить для этого фонд своих средств производства. Накопление совершенно забыто. Хуже того. Так как накопление является общественною необходимостью и сохранением денег дана удобная для него форма, то организация хозяйственной коммуны побуждает своих членов непосредственно к частному накоплению и этим самым ведет к своему собственному разрушению.

Как избежать этого противоречия в природе хозяйственной коммуны? Она могла бы найти выход в излюбленном «обложении пошлиной», в надбавке в цене, и продавать свой годовой продукт вместо 360.000 марок за 480.000. Но так как все остальные хозяйственные коммуны находятся в таком же самом положении и, потому, должны сделать то же, то каждая из них, при обмене с другой, должна оплачивать ровно столько «пошлин», сколько налагает она сама, и «дань», таким образом, будет целиком ложиться на ее собственных членов.

Или же коммуна решит это дело гораздо проще, именно—будет выплачивать каждому члену за шестичасовой труд менее, чем он стоит, предположим только эквивалент четырехчасового труда, т.-е. вместо 12 марок ежедневно—только 8 марок, оставляя при этом цены товаров неизменными. В этом случае коммуна прямо и открыто сделает то, к чему в предыдущем случае замаскировано стремилась косвенным путем: она образует марксовскую прибавочную ценность, в 120.000 мар. ежегодно, чисто капиталистическим образом, т.-е. не оплачивая по полной ценности труд своих членов и, в то же время, продавая им по полной ценности товары, которые они могут приобретать только у нее. Хозяйственная коммуна, таким образом, только в том случае может составить резервный фонд, если она, сняв с себя маску, выступит, как «облагороженная» truck system¹⁾, покоящаяся на самом широком коммунистическом основании.

Итак, одно из двух: или хозяйственная коммуна «обменивает равные количества труда на равные», и в таком случае не может накапливать фонд для поддержания и расширения производства, предоставляя это только частным лицам, или же она образует такой фонд, и в таком случае не обменивает «равные количества труда на равные».

Так обстоит дело с сущностью обмена в хозяйственной коммуне. Как же с формой? Обмен облегчается посредством металлических денег, и г. Дюринг не мало кичится

¹⁾ Truck-system называется в Англии, одинаково хорошо известная и в Германии система, при которой фабриканты сами имеют лавки и заставляют своих рабочих покупать, нужные им товары в этих лавках.

«историческим значением» такой формы обмена в коммуне. Но он не понимает, что, в сношениях между коммуной и ее членами, эти «деньги» отнюдь не являются деньгами, и должны функционировать совсем не в этом качестве. Оне служат настоящими сертификатами труда, т.-е. говоря языком Маркса, их роль ограничивается тем, что оне констатируют «только индивидуальное участие производителей в общей работе и их индивидуальный запрос на определенную часть совокупного продукта, назначенную для потребления», и в этой своей функции являются «столь же мало деньгами, как какой-нибудь театральныи билет». Оне могут, поэтому, быть заменены каким угодно знаком: так, напр., Вейтлинг заменяет их «коммерческой книгой», в которой на одной стороне отмечаются рабочие часы, а на другой причитающиеся за них средства жизни и наслаждения. Одним словом, в сношениях хозяйственной коммуны с ее членами деньги функционируют просто, как оуэновские «отмечающие число рабочих часов деньги» (Arbeitsstundengeld), — это тот «признак», на который с такою важностью сверху вниз смотрит г. Дюринг и который он сам, однако, сделал элементом хозяйства будущего. Куском ли бумаги, костяшкой ли счетов или куском золота будет марка, обозначающая количество исполненных «обязанностей в производстве» и приобретенных за это «прав на потребление», — все это совершенно безразлично для поставленной цели. Для других же целей не безразлично, — как это будет ниже показано.

Если, таким образом, металлические деньги уже в сношениях хозяйственной коммуны с ее членами функционируют не в качестве денег, а как замаскированные трудовые марки, то еще менее оне пригодны для функции денег при обмене между различными хозяйственными коммунами. Здесь, если принять предпосылки г. Дюринга, металлические деньги совершенно излишни. Прежде всего, совершенно достаточно простой бухгалтерии для регулирования обмена продуктов известного количества труда на продукты равного им труда, а, затем, гораздо проще в этом случае, взять для измерения труда — время, а за единицу — рабочий час, чем предварительно переводить рабочие часы на деньги. Обмен, в данном случае, является чисто натуральным обменом; все превышения требований легко и просто выравниваются путем перевода на другие коммуны. Но если коммуна действительно обречена на дефицит по отношению к другим коммунам, то все «существующее во вселенной золото», хотя бы оно и обладало свойством «природных денег», не в состоянии избавить эту коммуны от необходимости покрытия этого дефицита путем увеличения собственного труда, если только она не желает впасть в долговую зависимость от других коммун. Впрочем, пусть читатель все время не упускает из виду, что мы здесь отнюдь не занимаемся конструированием будущего. Мы просто, взяв в основание предположения г. Дюринга, выводим из них неумолимые логические следствия.

Итак, ни в обмене между хозяйственной коммуной и ее членами, ни в обмене между отдельными коммунами золото, которое «по самой природе своей является деньгами», не может осуществить своей природной функции, хотя г. Дюринг и приписывает ему выполнение этой роли в «социалитарной организации». При таком положении нам приходится поставить вопрос, не предназначена ли иная роль для денег в названной организации. На этот вопрос не может быть иного ответа, кроме утвердительного. Хотя г. Дюринг и дает каждому право на «количественно одинаковое потребление», но он не в состоянии принуждать к тому кого бы то ни было. Наоборот, он горд тем, что в его социалитарной организации каждый может делать со своими деньгами то, что хочет. Он не имеет в виду воспрепятствовать тому, чтобы некоторые из членов коммуны делали сбережения, а другие не довольствовались выдаваемой им платой. Он делает это даже неустрашимым, открыто признавая в праве наследства общую собственность семьи, откуда вытекает далее обязанность родителей содержать детей. Этим, несомненно, системе количественно одинакового потребления наносится весьма чувствительная брешь. Холостяк прекрасно и весело живет на свой ежедневный заработок в восемь или двенадцать марок, тогда как вдовцу с восемью несовершеннолетними детьми весьма туго приходится при таком заработке. Затем, коммуна, оставляющая

без дальнейших рассуждений деньги в качестве платежного средства, тем самым открыто дает возможность приобретения этих денег не только собственным трудом. Но и олет. Правда, в проекте г. Дюринга об этом ничего не сказано, но дело в том, что в его коммуне даны все условия для того, чтобы металлические деньги, играющие как бы исключительно роль трудовой марки,—могли выступить и в роли настоящих денег. Для этого нужен лишь случай; побудительными же причинами для этого должны явиться, с одной стороны, образование сокровищ, с другой—задолженность. Нуждающийся делает заем у накапливающего деньги. И эти деньги, раздаваемые в ссуду, станут, вследствие этого, снова тем, чем они являются в современном обществе, т.-е. общественным воплощением человеческого труда, действительной мерой труда, всеобщим средством обращения. Против этого «законы и нормы управления» всего света так же бессильны, как против таблицы умножения или химического состава воды. И так как накапливающий деньги в состоянии вынудить у нуждающегося уплату процентов, то вместе с функционирующими в качестве платежного средства металлическими деньгами восстановится само собою и ростовщичество.

До сих пор мы рассматривали, какое будет действие сохраняемых металлических денег в Дюринговской хозяйственной коммуне лишь в сфере ее влияния. Но вне этой сферы, в остальной негодной части мира, не находящейся под влиянием идей г. Дюринга, экономическая жизнь будет идти по старому пути. Золото и серебро останутся, таким образом, на мировом рынке, сохраняя свойство всемирных денег, всеобщего крупного и платежного средства, служа воплощением абсолютного общественного богатства. И это свойство благородного металла явится для отдельных членов хозяйственной коммуны новым мотивом к накоплению сокровища, к обогащению, к ростовщичеству, мотивом свободно и независимо лавировать между коммуной и находящимися вне ее границ миром и превращает на мировом рынке в капитал, накопленное отдельными лицами богатство. Ростовщики коммун очень скоро сделаются торговцами денег, банкирами, а затем и владельцами средств производства, хотя бы эти последние еще много лет фигурировали номинально, как собственность хозяйственной и торговой коммуны; в конце же концов, эти банкиры станут и всеми признанными господами хозяйственной и торговой коммуны. «Социалистарная организация» г. Дюринга в самом деле весьма существенно отличается от «туманных представлений» других социалистов. Она не преследует никакой другой цели, кроме возрождения класса крупных финансистов; под их контролем и для их кошельков коммуна должна изнурять себя на работе, если вообще она когда-нибудь образуется и будет существовать. И единственным для нее средством спасения может явиться то, что собиратели сокровищ предпочтут бежать из коммуны, захватив с собою всемирные деньги.

При весьма распространенном в Германии незнании со старыми социалистическими учениями, какой-нибудь невинный юноша может задать вопрос, не дали ли бы, напр., трудовые марки Оуэна повода к подобному же злоупотреблению. Хотя мы здесь не намерены распространяться о значении этих трудовых марок, все же не мешает, для сравнения Дюринговского «всеобъемлющего схематизма» с «грубыми, бледными и убогими идеями» Оуэна, заметить следующее. Во-первых, такое злоупотребление трудовыми марками Оуэна стало бы неизбежным с превращением их в действительные деньги: между тем, надо заметить, г. Дюринг предполагает именно ввести действительные деньги, но в то же время хочет воспрепятствовать тому, чтобы они функционировали иначе, чем простые трудовые марки. Таким образом, нельзя отрицать опасности злоупотребления трудовыми марками Оуэна; что же касается до оружий обмена г. Дюринга с их имманентной, независимой от человеческой воли, природой денег.—они, конечно, с самого начала явились бы источником злоупотреблений, хотя г. Дюринг и хочет им навязать иную роль, в силу своего собственного непонимания природы денег. Во-вторых, трудовые марки являются у Оуэна лишь переходной формой к полной общности имущества и свободному пользованию общественными ресурсами и сверх того, пожалуй, еще одним из средств уверить британскую публику в

возможности осуществления коммунизма. Если таким образом возможные злоупотребления могут принудить оуэновское общество отменить трудовые марки, то это, несомненно, было бы шагом вперед к намеченной цели и могло бы только поднять коммуны на более высокую ступень ее развития. Наоборот, стоит в Дюринговской хозяйственной коммуне уничтожить деньги, и она тотчас не только потеряет свое «значение для истории человечества» и лишится наиболее существенной своей прелести, но и должна будет, прекратив свое существование, упасть в область тех туманных представлений, откуда извлек ее г. Дюринг, напрасно потратив на это много труда и рациональной фантазии¹⁾.

Как же могли возникнуть все эти странные пелености и заблуждения, в рамки которых ставится хозяйственная коммуна г. Дюринга? Просто благодаря туману окутывающему в голове Дюринга понятия ценности и денег и заставляющему его, в конце концов, стремиться к открытию ценности труда. Но так как г. Дюринг отнюдь не является монополистом подобных туманных представлений в Германии, а наоборот, имеет много конкурентов, то мы намерены «заставить себя на минуту заняться распутыванием того клубка», который он здесь запутал.

Единственная цепость, которую знает политическая экономия, есть ценность товаров. Что такое товары?—Продукты, произведенные в обществе более или менее раз'единенных частных производителей, т.-е. прежде всего частные продукты. Но эти частные продукты только тогда становятся товарами, когда они производятся не для потребления самих производителей, но для потребления других, т.-е. для общественного потребления; они вступают в общественное потребление путем обмена. Частные производители находятся, таким образом, в общественной связи между собой, образуют общество. Их продукты, будучи частными продуктами каждого в отдельности, являются, следовательно, в то же время, но непредвиденно и как бы против воли их, также и общественными продуктами. В чем же состоит общественный характер этих частных продуктов? Очевидно, в двух свойствах: во-первых, в том, что все они удовлетворяют какой-нибудь человеческой потребности, имеют потребительную ценность не только для своего производителя, но и для других; и, во-вторых, в том, что они, будучи продуктами различных отдельных видов труда, являются одновременно с этим продуктом простого человеческого труда вообще. Поскольку они обладают потребительною ценностью для других, постольку они могут вообще вступить в обмен; поскольку же в них заключается человеческий труд вообще, простое применение человеческой рабочей силы, постольку они могут приравняться в обмене, будучи равными или неравными в этом отношении, друг к другу, соответственно заключающемуся в каждом из них количеству этого труда. В двух однородных частных продуктах, при неизменных общественных отношениях, может заключаться неодинаковое количество частного труда, но всегда обязательно одинаковое количество человеческого труда вообще. Неискусный кузнец может сделать пять подков в то время, в которое искусный сделает десять. Но общество не воплощает в ценность случайную неспособность отдельной личности; оно признает человеческим трудом вообще только труд, обладающий среднюю нормальную ловкостью работника. Одна из пяти подков первого кузнеца представляет, поэтому, в обмене не большую ценность, чем одна из произведенных в то же время десяти подков второго. Поскольку частный труд является общественно-необходимым, постольку он и включает в себе человеческий труд вообще.

Таким образом, говоря, что товар имеет данную определенную ценность, я говорю: 1) что он представляет из себя общественно-полезный продукт; 2) что он произведен за частный счет отдельною личностью; 3) что он, будучи продуктом частного

¹⁾ Мимоходом заметим: г. Дюрингу совершенно неизвестна роль, которую играют трудовые марки в оуэновском коммунистическом обществе. Он знает эти марки—по Сарганту—лишь постольку, поскольку они фигурируют в естественно неудавшемся „Labour Exchange Bazaar“, в попытке перейти с помощью некоего „естественно“ трудового обмена из современного общества к коммунистическому.

лица, в то же время, как бы без ведома и против воли производителя, является продуктом целесообразного общественного труда, представляя собою в процессе обмена только известное количество такого труда; 4) что это последнее количество определяется не непосредственным трудом, затраченным на производство данного товара, а путем сравнения этого товара, рабочего времени, с другими товарами. Если я, таким образом, говорю, что эти часы стоят столько же, сколько этот кусок сукна, и что ценность каждого из них равна пятидесяти маркам, то я говорю этим: в часах, в сукне и в этих деньгах воплощено одинаковое количество общественного труда. Я констатирую таким образом, что воплощенное в них общественное рабочее время общественно измерено и найдено равным. Но не прямо, абсолютно, как в других случаях, измеряют рабочее время—рабочими часами или днями и т. д., но косвенным путем, при помощи обмена, значит относительно. Я не могу, следовательно, выразить это определенное количество рабочего времени, воплощенного в данном товаре, прямо в рабочих часах, число которых, как в приведенном примере, остается мне неизвестным, но только косвенным путем, относительно,—в каком-нибудь другом товаре, который представляет одинаковое с первым количество общественного рабочего времени. Часы стоят столько же, сколько кусок сукна.

Но товарное производство и товарный обмен, принуждая общество прибегать к такому косвенному пути, заставляют его, вместе с тем, стремиться к возможно большему упрощению этого процесса. Они выделяют из общей плебейской массы товаров один более благородный товар, в котором раз навсегда выражается ценность всех других товаров,—товар, который приобретает значение непосредственного воплощения общественного труда — денег, и, поэтому, непосредственно и безусловно выменивается на все другие товары. Деньги уже заключаются в зародышевом состоянии в понятии ценности и они являются лишь разившеюся ее формой. Когда ценность товаров по отношению к самим товарам выражается в деньгах, тогда в общество, производящее и выменивающее товары, вступает новый фактор, — фактор с новыми общественными функциями и влиянием. Упомянув об этом лишь мимоходом, мы не будем вдаваться в подробное изложение роли денег в современном обществе.

Политическая экономия товарного производства отнюдь не является единственной наукой, имеющей дело только с относительно известными факторами. В физике мы тоже не знаем, сколько отдельных молекул газа находится в его данном объеме, при известном давлении и температуре. Но мы знаем, поскольку верен закон Бойля, что данный объем какого-нибудь газа содержит ровно столько молекул, сколько и равный ему объем произвольно взятого другого газа, при одинаковом давлении и температуре. Мы можем, поэтому, сравнивать между собою, по их молекулярному содержанию, самые различные объемы разных газов, при различных давлениях и температуре; и если мы примем за единицу 1 куб. метр газа при 0° Ц. и 760 мм. давления, то этой единицей мы и станем измерять молекулярное содержание. В химии, равным образом, нам неизвестны атомные веса отдельных элементов. Но мы знаем их относительно, пользуясь тем, что нам известны их взаимные отношения. Итак, товарное производство и политическая экономия, его изучающая, пользуется относительными выражениями для неизвестных им количеств труда, заключающихся в отдельных товарах, путем сравнения этих товаров по их относительному трудовому содержанию, точно так же как химия создала для своих целей относительное выражение величин неизвестных ей атомных весов, сравнивая отдельные элементы по их атомному весу и выражая атомный вес одного элемента в числе кратном другого (сера, кислород, водород). И как товарное производство принимает золото в качестве абсолютного товара, делая его всеобщим эквивалентом других товаров, мерой всех ценностей, так точно химия берет водород в качестве химических денег, принимая его атомный вес=1 и сводя атомный вес всех остальных элементов на водород, на кратное его атомного веса.

Однако, товарное производство вовсе не исключительная форма общественного производства. В древних индийских общинах и в южно-славянских семейных общи-

нах продукты не превращаются в товары. Члены общины соединяются в общество непосредственно для производства, работа распределяется согласно обычаю и потребностям, продукты же, поскольку они тратятся непосредственно на потребление, не превращаются в товары. Непосредственное общественное производство, как и прямое распределение, исключают всякий товарный обмен, а, следовательно, и превращение продуктов в товары (по крайней мере, внутри общины), а вместе с тем и превращение их в ценности.

Коль скоро общество вступает во владение средствами производства и применяет их в непосредственно обобщественном производстве, — труд каждого отдельного лица, как бы ни был различен его специфически полезный характер, становится сам по себе и непосредственно общественным трудом. Для того, чтобы определить в таком случае количество заключающегося в продукте общественного труда не надо теперь прибегать к косвенному пути, ежедневный опыт непосредственно указывает, какое количество его необходимо в среднем. Общество может просто учесть, сколько часов труда воплощено в паровой машине, в гектолитре пшеницы последнего урожая, в ста квадр. метрах сукна известного качества. Ему не может прийти в голову, поэтому, выражать заключающиеся в продуктах количества труда, которые ему тогда непосредственно и абсолютно известны, — еще, сверх того, посредством относительной, неопределенной и недостаточной, по неизбежной раньше, как крайней средство, мерой, — выражать их в третьем продукте, и притом не в его естественной, адекватной, абсолютной мере, а в рабочей мере. Это так же было бы бесполезно, как химику выражать атомные веса разных элементов косвенным путем, в их отношении к атому водорода, в том случае, если бы он умел выражать вес атомов абсолютно, в их адекватной мере, именно в их действительном весе, в миллиардных частях грамма. Общество не станет приписывать продуктам, при вышеуказанных условиях, какой-нибудь ценности. Оно не будет констатировать тот простой факт, что сто квадратных метров сукна потребовали для своего производства, напр., тысячу часов труда косвенным и бессмысленным способом, говоря, что это сукно обладает цепностью в тысячу рабочих часов. Разумеется, в данном случае общество должно знать, сколько труда требует каждый предмет потребления для своего производства. Оно должно будет выработать план производства, сообразуясь со средствами производства, к которым, в частности, принадлежат также и рабочие силы. Степень полезности различных предметов потребления, приравненных друг к другу согласно необходимым для их воспроизведения количествам труда, определить окончательно этот план. Люди сделают тогда все очень просто, не прибегая к услугам знаменитой «ценности»¹⁾.

Понятие ценности является наиболее всеобщим и потому наиболее полным выражением экономических условий товарного производства. В понятии ценности поэтому заключаются и зародыше не только деньги, но и все развивающиеся при дальнейшем ходе формы товарного производства и товарного обмена. В том, что ценность есть выражение заключающегося в частных продуктах общественного труда, лежит уже возможность различия последнего от заключающегося в самом продукте частного труда. Если, таким образом, какой-нибудь частный производитель продолжает производить старым способом, в то время как общественный способ производства прогрессирует, то невыгода становится для него весьма чувствительной. То же явление происходит, когда совокупность частных производителей какого-нибудь определенного рода товаров произведет превосходящее общественную потребность количество последних. Вследствие того, что ценность каждого товара не может выразиться иначе, как в ценности другого товара, и только в обмене на него может быть реализована, в при-

¹⁾ Что выше упомянутое приравнение степени полезности и затрат труда при регулировании производства является всем, что остается в коммунистическом обществе от понятия ценности, об этом я говорил уже в 1844 г. („Германско-Французские Ежегодники“, стр. 95). Но научное обоснование этого положения, как видит читатель, стало возможным лишь после „Капитала“ Маркса.

веденных выше случаях произойдет одно из двух: или вообще не состоится обмен товаров, или же реализуется не вся ценность данного товара. Наконец, если выступает на рынок специфический товар—рабочая сила, то его ценность определяется как и ценность всякого другого товара, сообразно с общественно-необходимым для ее производства рабочим временем. В форме ценности продуктов, поэтому, уже находится в зародыше вся форма капиталистического производства, противоречие между капиталистами и наемными рабочими, промышленная резервная армия и кризисы. Желать уничтожения капиталистического способа производства при помощи восстановления «истинной ценности», — это то же самое, что стремиться к уничтожению католицизма путем восстановления «истинного» папы; или же в обществе, в котором производители, наконец, станут господствовать над своими продуктами, — стремиться к восстановлению экономического фактора, могущего явиться наиболее действительным средством порабощения производителей продуктами их собственного труда.

Если производящие товары общество развивает последовательно присущую товарам, как таковым, форму ценности в форму денег, то выступают наружу и другие различные, еще скрытые в ценности, зародыши. Ближайшим и наиболее существенным результатом является всеобщее распространение товарной формы. Даже производившимся до сих пор для непосредственного собственного употребления продуктам деньги навязывают товарную форму и вовлекают их в обмен. Вместе с тем, товарная форма и деньги проникают во внутреннее хозяйство объединенных непосредственно для производства общин, рвут связи общины одну за другой и превращают членов общины в группу отдельных частных производителей. Деньги прежде всего вводят, как это можно наблюдать в Индии, вместо общинной обработки земли — индивидуальную культуру; потом они приводят к тому, что пахотная земля, находящаяся в общественной собственности, разбивается на отдельные участки, с периодически повторяющимися переделами, а затем и к окончательному разделу земли (напр., в общинах по Мозелю; это же явление начинается и в русской общине); наконец, господство денежного хозяйства вынуждает к такому же разделу еще оставшихся общинных лесов и лугов. Какие бы другие причины, коренящиеся в развитии производства, ни содействовали этому процессу, все же деньги остаются наиболее сильным средством воздействия на общинный быт. И с той же самой естественной необходимостью деньги, наперекор всем «законам и нормам управления», должны будут уничтожить и Дюринговскую хозяйственную коммуну, если она когда-нибудь осуществится.

Мы уже видели выше (Политическая экономия, VI), что говорить о ценности труда—значит впадать в противоречие. Так как труд, при известных общественных отношениях, производит не только продукты, но и ценности, и эти ценности измеряются трудом, то он так же мало может иметь особую ценность, как тяжесть, в качестве таковой, — особый вес, или теплота — особую температуру. Но характерной особенностью путанных социальных представлений всех мудрецов «истинной ценности» является утверждение, что в современном обществе рабочий получает неполную «ценность» за свой труд и что социализм призван устранить это. В таком случае прежде всего надлежит установить, что такое ценность труда; и это делают, пытаются измерить труд не его адекватной мерой — временем, но его продуктом. Рабочий должен получать «полный продукт своего труда». Не только продукт труда, но и самый труд должен быть вымениваем непосредственно на продукт, час труда на продукт другого часа труда. Но тут тотчас же возникает «опасное» затруднение. Если весь продукт будет распределяться между рабочими, тогда главнейшая прогрессивная функция общества — накопление — атрофируется или будет предоставлена деятельности и производству каждого в отдельности. Но если отдельные личности, как предполагается, могут делать, что хотят, с своими «доходами», тогда общество в лучшем случае останется столь же богатым или бедным, каким оно и было. Итак, накопленные в прошедшем средства производства централизуются в руках общества только для того, чтобы в будущем все накопленные средства производства снова рассеять по рукам

отдельных личностей. Своим собственным предпосылкам наносится удар, они доводятся до чистого абсурда.

Живой труд, деятельная рабочая сила, должен вымениваться на продукт труда. В таком случае, он — товар, равно как и продукт, на который он должен быть выменен. А если так, то ценность этой рабочей силы определяется не продуктом ее, но воплощенным в ней общественным трудом, т.-е. согласно современному закону заработной платы.

Но ведь этого-то как раз и не должно быть. Живой труд, рабочая сила, по их мнению, должен быть выменен на его полный продукт, т.-е. он должен обмениваться не по его экономической ценности, но по его потребительной стоимости. Таким образом выходит, что закон ценности должен применяться ко всем другим товарам, а между тем он отвергается по отношению к рабочей силе. И эта сама себя уничтожающая путаница является квинт-эссенцией теории «ценности труда».

«Обмен труда на труд на основании равной оценки», поскольку это выражение вообще имеет смысл, значит, что продукты равных количеств общественного труда вымениваются друг на друга. Этот закон ценности является основным законом именно товарного производства, следовательно, также и высшей формы последнего — капиталистического производства. Он проявляется в современном обществе таким способом, каким только и могут проявляться экономические законы в обществе частных производителей,—как закон, лежащий в вещах и их отношениях и не зависящий от воли или стремлений производителей, т.-е. как слепо действующий естественный закон. Возводя этот закон в основной закон своей хозяйственной коммуны и желая, чтобы она проводила его с полным сознанием, г. Дюринг делает основной закон современного общества основным законом своего фантастического общества. Он хочет сохранить современное общество, но без его отрицательных сторон. Он стоит совершенно на той же почве, как и Прудон. Подобно последнему, желая устранить отрицательные явления, возникшие благодаря превращению товарного производства в капиталистическое, он полагает возможным уничтожить эти явления при помощи основного закона капиталистического производства, существование которого как раз и порождает эти отрицательные явления. Как и Прудон, он хочет заменить действительные следствия закона ценности фантастическими.

Но как бы гордо ни выступал в рыпарский поход наш современный Дон-Кихот на своем благородном Россинанте, на «всеобщем принципе справедливости», сопровождаемый своим храбрым Санчо Панса — Абрагамом Энс — для завоевания шлема Мамбрина, «ценности труда», — мы все-таки опасаемся, что домой он не привезет ничего иного, кроме старого знаменитого таза пирульника.

V. Государство, семья, воспитание.

В двух последних главах мы почти вполне исчерпали экономическое содержание «новой социалистической формы» г. Дюринга. И если стоит еще о чем-нибудь упомянуть, так это о том, что «универсальная широта исторической точки зрения» отнюдь не помешала ему принять в соображение свои специальные интересы, помимо известного уже нам «незначительного излишка потребления». Так как старое разделение труда продолжает существовать в «социалитарной организации», то хозяйственный коммуне предстоит считаться, на-ряду с ломовиками и архитекторами, также и с литераторами по профессии, отчего и возникает вопрос, как в таком случае поступить с авторским правом. Этот вопрос занимает г. Дюринга больше, чем какой-либо иной. Всюду, напр., при упоминании о Луи-Блане и Прудоне читателю попадаетеся в глаза авторское право, которое, наконец, трактуется вдоль и поперек на протяжении девяти страниц «Курса» и счастливо спасается в тихом пристанище «социалитарной организации» под видом таинственной «оплаты труда», с умолчанием, впрочем, о том, приводит ли она к некоторому увеличению нормы потребления или нет.

Глава о положении блох в естественной системе общества была бы в такой же мере уместна и во всяком случае менее скучна, чем глава об авторских правах.

Относительно государственного строя будущего «философия» устанавливает обстоятельный регламент. В этом вопросе Руссо, хотя и «единственный имеющий значение предшественник» г. Дюринга, заложил все же недостаточно глубокое основание: его более глубокий преемник, конечно, рассматривает этот вопрос основательнее, усердно разбавляя Руссо водою, а также заменяя его мысли безвкусной мешаниной, составленной из обрывков гегелевской философии права. «Суверенитет индивидуума» образует основу Дюринговского государства будущего. При господстве большинства он не будет подавлен, напротив, при этом только условия он и восторжествует. Как это произойдет? Очень просто. «Если предположить соглашения каждого с каждым во всех направлениях и если эти соглашения имеют своей задачей оказание помощи при несправедливых обидах,—в таком случае, и только в таком, окажется на лицо могучая сила, способная охранять право от нарушений, и тогда оно не будет корениться в простом насилии массы над отдельною личностью или большинства над меньшинством». С легкостью жонглеры философия действительности обходит неразрешимые затруднения, и если читатель скажет, что он не стал от этого умнее, то г. Дюринг ему ответит, что нельзя так легко относиться к этому вопросу, ибо «малейшая ошибка в понимании роли общей воли повела бы к отрицанию суверенитета индивидуума, а только из этого суверенитета (!) и происходит действительное право». Г. Дюринг обращается с своей публикой как раз так, как она заслуживает. Он мог бы даже быть еще бесцеремоннее; студенты, слушающие курс философии действительности, наверно, не обратили бы на это внимание.

Суверенитет же личности, главным образом, заключается в том, что «отдельная личность абсолютным образом подчиняется государству», но это подчинение находит себе оправдание лишь постольку, поскольку оно «действительно служит естественной справедливости». Для этой цели существует «законодательство и судебная власть», которые должны быть неразрывно связаны друг с другом; и, на-ряду с ними, — оборонительный союз, осуществляемый в войске или исполнительном органе, предназначенных для обеспечения внутренней безопасности. Таким образом, в будущем новом государстве, построенном на коммунистических началах, будут по-старому функционировать и армия, и полиция, и жандармы. Г. Дюринг уже не раз высказывал себя бравым пруссаком; здесь он подтверждает свое родство с тем образцовым пруссаком, который, по словам покойного министра фон-Рохова, «носит в груди своей жандарма». Но жандарм социалитарной коммуны будут не так опасны, как нынешние. Что бы не учинили они над суверенной личностью, она всегда будет иметь одно утешение: «справедливость или несправедливость, которую она тогда может встретить при некоторых обстоятельствах, со стороны свободного общества, — никогда не может быть даже немного хуже, чем то, что принесло бы с собой естественное состояние». И далее, заставив нас еще раз наткнуться на неустранимое авторское право, Дюринг убеждает нас в том, что в его новом государстве будет существовать «само собой разумеется, вполне свободная и всем доступная адвокатура». Ныне изобретенное свободное общество» будет все более смешанным. Архитекторы, ломовики, литераторы, жандармы и к тому же еще и адвокаты! Это «солидное и критическое царство мысли» точь-в-точь похоже на различные неземные царства различных религий, где верующий вновь встречает преображенным все то, что услаждало его в земной жизни. Но г. Дюринг ведь принадлежит к государству, в котором «всякий может спастись на свой лад». Чего же больше желать?

Что нам желательно, — это, впрочем, здесь безразлично. Речь идет о том, что желательно г. Дюрингу. Последний же отличается от Фридриха II тем, что в его государстве будущего отнюдь не всякий может спастись «на свой лад». В конституцию этого государства будущего значится: «в свободном обществе не должно быть никакого культа, и бо каждый из его членов будет стоять выше детского первобытного предста-

вления о том, что где-либо в природе есть существо, на которое можно воздействовать путем жертв или молитв». «Правильно понятая социалитарная система должна, по-этому..., упразднить все направленные к духовному колдовству стремления и, вместе с тем, все главные начала культа. «Религия будет запрещена».

В настоящее время каждая религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, отражением, в котором земные силы принимают форму сверхъестественных. В начале истории этому отражению подвергаются прежде всего силы природы; при дальнейшем развитии появляются у различных народов другие самые разнообразные и пестрые их олицетворения. Этот первоначальный процесс, при помощи сравнительной мифологии, по крайней мере, по отношению к индо-европейским народам, — прослежен до проявления его в индийских ведах, а также обнаружен, в частности, у индусов, персов, греков, римлян, германцев, и, поскольку хватает материала, у кельтов, литовцев и славян. Но скоро, на-ряду с силами природы, выступают также и общественные силы, — силы, которые противостоят человеку и господствуют над ним, оставаясь для него такими же чуждыми и обладающими видимой естественной необходимостью, как и силы природы. Фантастические образы, в которых сначала отражались только таинственные силы природы, теперь приобретают значение общественных атрибутов и становятся представителями исторических сил¹⁾. На дальнейшей ступени развития вся совокупность естественных и общественных таинственных сил переносится на одного всемогущего бога, который, в свою очередь, является лишь отражением абстрактного человека. Так возник монотеизм, бывший исторически последним продуктом позднейшей греческой вульгарной философии и воплотившийся в иудейском, исключительно национальном, Иегове. В этом удобном, пригодном и для всех подходящем образе, религия может продолжать свое существование, как выражение непосредственного чувства в осязательной форме, существующего отношения людей к господствующим над ними, непонятым для них естественным и общественным силам до тех пор, пока люди фактически находятся под гнетом этих сил. Мы уже неоднократно говорили, что в современном буржуазном обществе люди подчинены созданным ими самими экономическим отношениям, произведенным ими самими средствами производства, как какой-то таинственной силе. Фактическое основание религиозной рефлексивной деятельности продолжает таким образом существовать, а вместе с нею и самый религиозный рефлекс. И если буржуазная экономия обнаруживает правильный взгляд на причинную зависимость этого внешнего господства, то дело ничуть не изменяется. Буржуазная экономия не в состоянии ни противодействовать кризисам вообще, ни спасти отдельного капиталиста от убытков, от безнадежных долгов и банкротства, ни избавить отдельного рабочего от безработицы и нищеты: человек предполагает, а бог (т.-е. внешнее господство капиталистического производства) располагает. Простого познания, хотя бы это шло дальше и глубже знания буржуазной экономики, недостаточно, чтобы подчинить обществу общественные силы. Для этого необходимо прежде всего общественное действие. И если предположит, что это действие воспоследовало и что общество путем вступления во владение всей совокупностью средств производства и планомерного их употребления, освободило себя самого и всех своих членов от того рабства, в котором они до сих пор находятся, благодаря им самим произведенным, но противостоящим им, в качестве непреодолимых внешних сил, средствам производства,—т.-е. если предположить, таким образом, что человек не только еще замышляет обладать, но и действительно

¹⁾ Этот позднейший двойственный характер богов просматривала сравнительная мифология, односторонне характеризующая их, как отражение естественных сил, что привело к распространявшейся позднее путанице в мифологии. Так, у некоторых германских племен бог войны обозначается по древне-норманд. Тир, древне-верхнегерманск. Цно, соответствует, таким образом, греческ. Зевс, лат. Юпитер, вместо Диунитер; у других—Эр, Эор, соответствует греческому Арес, лат. Марс.

располагает общественными силами, то лишь в таком случае исчезнет последняя внешняя сила, до сих пор еще отражающаяся в религии, а вместе с тем и само религиозное отражение, по той простой причине, что тогда уже нечего будет отражать.

Но г. Дюринг не расположен ждать момента, когда религию постигнет такая естественная смерть. Он поступает основательнее. Он превосходит самого Бисмарка (*überbismarckt den Bismarck*), предлагая издать строгие майские законы не только против католицизма, но и против всех религий вообще; направляя своих жандармов будущего на религию, он увенчивает ее, благодаря этому, ореолом мученичества и обеспечивает ей тем самым более продолжительное существование. Куда мы ни посмотрим, всюду специфически прусский социализм.

После того, как г. Дюринг искоренит, наконец, в коммунах религию, — человек, «опирающийся только на самого себя и природу и достигший познания своих коллективных сил, может смело идти по всем тем путям, которые ему указывают ход вещей и его собственный характер». Посмотрим же для разнообразия, какой «ход вещей» смело может воспринять из рук г. Дюринга «опирающийся на самого себя» человек. Первый момент в ходе вещей, когда человек готовится стать опорой самому себе, — это его рождение. Потом, во время своего натурального несовершеннолетия, он остается на попечении «естественной воспитательницы детей», матери. «Этот период мог бы протираться, как в древнем римском праве, до возмужалости, т.-е. до 14 лет». Только в случае недостаточного уважения авторитета матери со стороны более взрослых невоспитанных мальчиков, — устранить этот недостаток должны отцовская власть с помощью общественных воспитательных мер. Возмужав, ребенок поступает под «естественную опеку отца», если только таковой имеется на-лицо, и «этот факт родства не оспаривается»; в противном случае, община назначает опекуна.

Как мы знаем, г. Дюринг считает вполне возможным заменить капиталистический способ производства общественным, не преобразуя самого производства; так же точно он воображает, что возможно отделить современную буржуазную семью от ее экономической основы, не изменяя вместо с тем ее формы. Эта форма представляется ему священной, изътой из действия законов эволюции в такой степени, что сохранения для семьи на вечные времена «древнее римское право», хотя и в немного «облагороженном» виде, предполагает, рядом с этим сохранить для нее и «наследственное право», а следовательно, и все prerogatives «экономической единицы», обладающей самостоятельным имуществом. В семейном вопросе очевидно, утописты стоят неизмеримо выше г. Дюринга. У них, на-ряду с свободным соединением людей в общество и преобразованием частной домашней работы в общественную промышленную деятельность, непосредственно придан общественный характер и воспитанию юношества, а вместе с тем, — действительно свободный характер взаимным отношениям членов семьи. Наконец надо вспомнить, что еще Маркс указал («Капитал», 115 стр. и сл.) на то, как «крупная промышленность, благодаря значительной роли, предоставляемой ею женщинам, подросткам и детям обоего пола в общественно-организованных процессах производства вне домашнего обихода, создает новую экономическую основу для высшей формы семьи и для отношений между собою обоих полов».

«Каждый социал-реформаторский фантазер», — говорит г. Дюринг, — «имеет, естественно, на-готове соответствующую своей новой социальной жизни педагогику». С этой точки зрения, сам г. Дюринг представляется «настоящим монстром» среди социал-реформаторов-фантазеров. Школе будущего он уделяет столько же внимания, как и авторскому праву, если не меньше. Он обладает окончательно выработанным планом организации школ и университетов не только для всего «обозримого будущего», но также и для переходного периода. Мы же, с своей стороны, ограничимся лишь обзором наук, которым предполагается обучать юношество обоего пола в совершенной социалистической организации последней инстанции.

Всеобщая народная школа дает своим ученикам «все, что может обладать привлекательностью само по себе и принципиально важно для человека», знакомя их с «основами и главными выводами наук относительно миро- и жизни-понимания». Там, прежде всего их будут обучать математике, и именно так, что круг всех принципиальных понятий и способов, начиная с простого счисления и сложения и заканчивая интегральным исчислением, будет «вполне исчерпан». Это отнюдь, однако, не значит, что в этой школе действительно будут производиться интегральные и дифференциальные исчисления; совсем напротив. Нет, там будут изучать в действительности совершенно новые элементы математики в целом (Gesamtmathematik), содержащие в зародыше как обыкновенную элементарную, так и высшую математику. И хотя г. Дюринг уверяет, что «содержание учебников» этой школы будущего, «в своих главных чертах, вырисовывается схематически перед его глазами, но все же, к сожалению, ему до сих пор не удалось открыть эти «элементы математики в целом»; а то, чего он не в состоянии сделать, «следует, в самом деле, ожидать только от свободных и взрослых сил нового общественного строя». Но если виноградные гроздья математики будущего еще слишком зелены, зато астрономия, механика, физика и естественные науки будущего не представят особых трудностей для преподавания и устранят «следы всякой школьной выучки», при чем ученики в особенности легко будут усваивать «ботанику и зоологию, придерживаясь, вопреки современным теориям, предпочтительно описательных способов изложения». Так говорится в «Философии», стр. 417. Г. Дюринг и до сего дня знает, впрочем, только одну «предпочтительно описательную ботанику и зоологию». Вся органическая морфология, охватывающая собою сравнительную анатомию, эмбриологию и палеонтологию органического мира, незнакома ему даже по названию. В то время, как за его спиной возникают в области биологии целыми дюжинами совершенно новые науки, его детский ум все еще черпает «возвышенные современные образовательные элементы естественно-научного способа мышления» из естественной истории для детей Раффа, и на основании этого материала он октроирует конституцию органического мира для всего «видимого будущего». Химия, как и при обсуждении других вопросов, совершенно отсутствует в школьной программе.

Что касается до эстетической стороны воспитания, то г. Дюринг намерен издавать все вновь. Существовавшая до этих пор поэзия для этого не годится. Там, где запрещены все религии, само собою разумеется, не могут быть терпимы в школе обычно употребляемые прежними поэтами «мифологические или религиозные образы». Равным образом должен быть воспрещен «поэтический мистицизм, к которому, напр., был сильно склонен Гёте». Таким образом, г. Дюрингу самому, волей-неволей, придется изготовить «поэтические образцы», соответствующие «высшим запросам примирившейся с разумом фантазии», и нарисовать пастоящий идеал, «обозначающий завершение мира». Лишь бы только он не замедлил с этим!

Подростающему гражданину будущего государства не предстоит особых мучений с филологией. «Изучение мертвых языков совершенно оставлено... а изучение живых иностранных языков будет делом второстепенным». Только там, где сношения между народами выразятся в передвижениях пародных масс, иностранные языки должны быть усвоены каждым в легкой форме, смотря по нужде. Для достижения «действительно образовательного результата при изучении языков» придумана своего рода всеобщая грамматика, и особенно для этого дела должна послужить «материя и форма родного языка». Национальная ограниченность современного человека является еще слишком космополитической для г. Дюринга. Он хочет уничтожить и те два рычага, которые при современном строе дают хотя некоторую возможность стать выше органиченной национальной точки зрения,—одновременно упразднить и знание древних языков, открывающее, по крайней мере, лицам разных стран, получившим классическое образование, общий более широкий горизонт, и знание языков новых, при помощи которого люди различных наций понимают друг друга и благодаря которому могут ознакомиться с тем, что происходит вне их собственной сферы жизни. Напротив того, грам-

матика родного языка должна основательно вызубриваться. Но «материя и форма родного языка» только тогда могут быть поняты, когда проследивают его возникновение и постепенное развитие, а это невозможно, если оставлять без внимания, во-первых, его собственные омертвевшие формы и, во-вторых, родственные живые и мертвые языки. Это последнее, казалось бы, могло грозить вторжением в запрещенную область. Напрасный страх. Г. Дюринг, изгнав из своего учебного плана всю современную историческую грамматику, оставляет, ведь, для обучения языкам в своей школе только старо-франкскую, выкошенную в стиле древней классической филологии, техническую грамматику, со всей ее казуистикой и произвольностью, порождаемыми отсутствием в ней исторического основания. Ненависть к старой филологии доводит его до того, что все самое дурное, что можно в ней найти, он делает «центральной точкой имеющего действительно образовательное значение изучение языков». Очевидно, нам приходится иметь дело с филологом, никогда не слыхавшим об историческом языкознании, так сильно и плодотворно развившемся в последние 60 лет, и, поэтому, отыскивающим «современные повышенные образовательные элементы» языкознания не у Боппа, Гримма и Диа, но у, «блаженной памяти, Гейзе и Беккера.

Но и после «этой» науки молодой гражданин государства будущего еще долго не может быть «предоставлен самому себе». Для этого нужно заложить в его душе более глубокий фундамент, при помощи «усвоения последних философских основ». Но такое углубление... «не представляет собою гигантской задачи», так г. Дюринг открыл для этого легкий и свободный путь. В самом деле, «если очистить то немногое точное знание которым может гордиться всеобщая схематика бытия, — от ложных, схоластических побрякушек, и если решиться признавать вообще истинным только «удостоверенную» (господином Дюрингом) «действительность», то элементарная философия станет доступной и юношеству будущего. «Стоит вспомнить в высшей степени простые применения, благодаря которым мы придали понятию бесконечности и его критике неизвестное до тех пор значение», — чтобы «не отказаться от надежды, что, при помощи современного углубления и уточнения, столь просто установленные элементы универсального понимания пространства и времени свободно могут сделаться предметом подготовительных знаний... и, таким образом, наиболее основательные мысли (г. Дюринга) не могли бы играть второстепенной роли в универсальной образовательной систематике нового общества». Само себе равное состояние материи и сосчитанная бесконечность призваны «не только поставить человека на ноги, но и заставить уразуметь собственными силами, что, так называемый, абсолют находится у него под ногами.

Итак, как видит читатель, народная школа будущего, в сущности не что иное, как именного «облагороженная» прусская Pannalia, в которой греческий и латинский языки заменены некоторым увеличением чистой и прикладной математики и, главным образом, элементами философии действительности, и в этой школе немецкая педагогика вновь почтительно возвращается к Беккеру. Действительно, нет оснований «отказаться от надежды», почему бы оказавшиеся, после нашего рассмотрения в высшей степени школьными «познания» г. Дюринга во всех затронутых им отраслях знания, или, лучше сказать, почему бы вообще то, что осталось от них после предварительной основательной «очистки», — «не перешло бы, в конце концов», оптом и в розницу «в ряд элементарных знаний», тем более, что оно никогда и не покидало этого поприща. Конечно, г. Дюринг одним ухом слышал, что в социалистическом обществе труд и воспитание будут соединены и для этого предполагается обеспечить подрастающим поколениям всестороннее техническое образование; и вот этот-то план своим обычным и своеобразным способом принаравливается г. Дюрингом к социалитарной коммуне.

Как мы видели, существующее теперь разделение труда, в своих существенных чертах, сохраняется в Дюринговом производстве будущего, а тем самым уничтожается и необходимость практического применения в его пределах и широкого технического

школьного обучения, отнимается у него всякое значение для самого производства. Таким образом, школа г. Дюринга, по понятным причинам, игнорирует гимнастику, существенные цели науки и превращается в бесполезную, в роде толчения воды. В защиту своей школы г. Дюринг мог придумать только несколько банальных фраз, в роде след.: «юноши, как и старики, должны работать в серьезном смысле этого слова». Но, по истине, плачевной оказывается эта неимеющая значения и бессодержательная болтовня при сравнении ее хотя бы с следующим местом из «Капитала», стр. 508—515, где Маркс развивает положение, что «из фабричной системы, как это можно в подробности проследить у Роберта Оуэна, возникли зародыши будущего воспитания, при котором для всех детей свыше известного возраста будут соединены производительный труд с учением и гимнастикой, не только как способ увеличения общественного производства, но как единственный способ производства всесторонне развитых людей».

Не будем касаться вопроса об университете будущего, в котором философия действительности составит ядро всего знания и в котором, рядом с медицинским факультетом, в полном расцвете будет продолжать свое существование также и юридический; оставим в стороне также «специальные профессиональные заведения», о которых нам сообщают лишь то, что они должны иметь значение только для двух-трех предметов. Затем, предположим, что юный гражданин будущего «предоставлен, наконец, самому себе» по окончании всех школьных курсов и что он уже в состоянии заняться присвоением себе жены. Какой путь открывает ему здесь г. Дюринг?

В виду важности размножения для укрепления, отбора и смещения, равно как и для развития возникающих вновь особенностей, следует искать основные корни человеческих или нечеловеческих качеств, главным образом, в полном общении и подборе и, сверх того, еще в заботе, направленной на обеспечение или предупреждение определенного исхода родов. Суд над дикостью и тупостью, господствующими в этой области, следует предоставить практически позднейшей эпохе. Впрочем, следует выяснить с самого начала, даже при существующем гнете рассудков, что гораздо важнее—удавшийся или неудавшийся природе или человеческой предусмотрительности качественный характер рождений, чем их численность. Во всяком случае, во все эпохи и при всяком правовом строе совершалось тайное уничтожение уродов в огромных размерах; ...но лестница, ведущая непосредственно до уродства, граничащего с потерей человеческого образа, имеет много ступеней. Если принимают меры против появления такого человека, который оказался бы только плохим созданием, то это представляет, очевидно, плюс». Точно так же в другом месте говорится: «Философскому разуму не трудно будет признать право неродившегося еще мира на возможно лучшую композицию... Момент сочетания (Konseption) и, во всяком случае, момент рождения дают повод для применения в этом отношении предохранительных мер». И далее: «Греческое искусство и идеальное представление человека в мраморе не в состоянии будет сохранить свое прежнее историческое значение, когда будет разрешена менее художественная, но зато более важная для жизненных судеб миллионов задача—усовершенствование образования человека из плоти и крови. Этот род искусства не просто пластический, и его эстетика не состоит из созерцания мертвых форм...» и т. д.

Наш гражданин будущего падает с облаков. Что при вступлении в брак дело идет не просто о пластическом искусстве и не о созерцании мертвых форм, это он знал, конечно, и без г. Дюринга; но последний, ведь, обещал ему, что оно будет свободно шествовать по всем путям, которые перед ним откроют ход вещей и его собственный характер для того, чтобы найти сочувствующее женское сердце с присвоенным ему телом. «Нет»!—гремит ему ответ «более глубокая и строгая мораль». Прежде всего надо устранить ту дикость и тупость, которые царят в области полового подбора, и воздать должное праву вновь рождающегося мира на возможно лучшую композицию. В торжественный момент брака,—на лиц, вступающих в него, возлагается обязанность усовершенствовать образование человека из плоти и крови, чтобы, так сказать, стать Фидием в этом отношении. Как приступить к этому? В приведенных таинственных

выражениях г. Дюринга нет ни малейшего указания на это, хотя последний сам говорит, что это дело «искусства». Быть-может, г. Дюринг набросал уже перед своими глазами схематическое «руководство к этому искусству», в роде тех, образцы которых в изобилии циркулируют в настоящее время в немецкой книжной торговле? Во всяком случае, тут он переносит наше воображение из сферы социалитарной коммуны на одну из сцен «Волшебной флейты», при чем, однако, франкмасонский поп Зарастро едва ли может назваться «жрецом второго класса», по сравнению с нашим более глубоким и строгим моралистом. Опыты, которые проделывал этот поп над любовными парами своих адептов, представляют просто детскую игру по сравнению с тем наружным осмотром, к которому г. Дюринг вынуждает своих обоих суверенных индивидов, прежде чем позволить им вступить в состояние «нравственного и свободного брака». Так, может случиться, что какой-нибудь «поставленный на собственные ноги» герой романа будущего, Тамино, и твердо опирается на так называемый абсолютизм, но одна из его физических опор отступает на одну-две ступени от прямой линии, так что злые языки называют его колченогим; или одна из возлюбленнейших героинь будущего, Тамина, не вполне твердо стоит на упомянутом абсолюте, благодаря легкому отклонению в сторону правого плечика, каковое перемещение зависть людская называет легким горбиком. Что делать тогда? Воспретит ли им наш глубокий и строгий Зарастро практику искусства по усовершенствованию образования человека из плоти и крови или же захочет применить к ним свои «предохранительные меры»? Не знаю, но держу пари, что влюбленная пара всегда предпочтет бежать от Зарастро-Дюринга, чтобы поспешить заключить законный брак, не внимая его мудрым советам.

Постойте! восклицает г. Дюринг. Вы меня не поняли! Дайте мне высказаться. «При наличии более возвышенных истинно-человеческих побудительных мотивов... принявшее облагороженно-человеческий характер половое возбуждение, которое является в виде с т р а с т н о й л ю б в и, представляет в своей двухсторонности лучшую гарантию удовлетворительного супружества, также и по отношению к плодам его. Второстепенным результатом будет, что из само по себе гармонических отношений получится дитя соответствующей красоты. Отсюда опять-таки следует, что всякое принуждение в сфере любви должно действовать вредным образом» и т. д. И, таким образом, все разрешается к наилучшему в наилучшей из социалитарных коммун. Колченогий и горбатая страстно любят друг друга, а потому в своей двухсторонности представляют наилучшую гарантию достижения гармонического «второстепенного результата»; а далее все идет, как в романе: они объясняются в любви, счастливо вступают в брак, рожают детей и проч., одним словом, все более глубокие и строгие моральные вопросы разрешаются для них по всем правилам обыденной жизни.

Каких благородных вообще взглядов держится г. Дюринг относительно женского вопроса, явствует из следующего его обвинения современного общества: «Проституция в обществе, основанном на угнетении и продаже человека человеку, признается естественным дополнением принудительного брака, созданным в пользу мужчин, и тот факт, что такого же преимущества для женщин не может существовать, представляет весьма понятный, хотя и роковой факт...» Ни за что на свете не желал бы я получить благодарность, которая выпадает на долю г. Дюринга со стороны женщин за этот комплимент. Кроме того, разве г. Дюрингу совершенно неизвестен не очень-то исключительный тип Альфонса? Он, ведь, сам был когда-то в чине референдаря и живет в Берлине, где, между прочим, еще в мои времена, 36 лет тому назад, референдарии, не говоря уже о лейтенантах, довольно часто находились в сношениях с такими господами.

Да позволено будет мне примирительно расстаться с нашей темой, которая часто должна была казаться достаточно сухой и скучной. Поскольку нам приходилось обсуждать отдельные спорные пункты, наш приговор был связан объективными, неоспоримыми фактами; согласно с этими фактами приходилось довольно часто высказываться

резко и даже жестоко. Теперь, когда вопросы, касающиеся философии, экономики и социалитарной коммуны, достаточно разобраны и перед нами обрисовалась вся физиономия г. Дюриппа, о котором нам раньше приходилось судить только по отдельным частностям,—теперь можно поставить на первый план соображения гуманности, и да будет нам позволено некоторые непонятные научные промахи автора свести к его личным качествам и резюмировать наш общий приговор таким образом: «невменяемость, созданная манией величия».